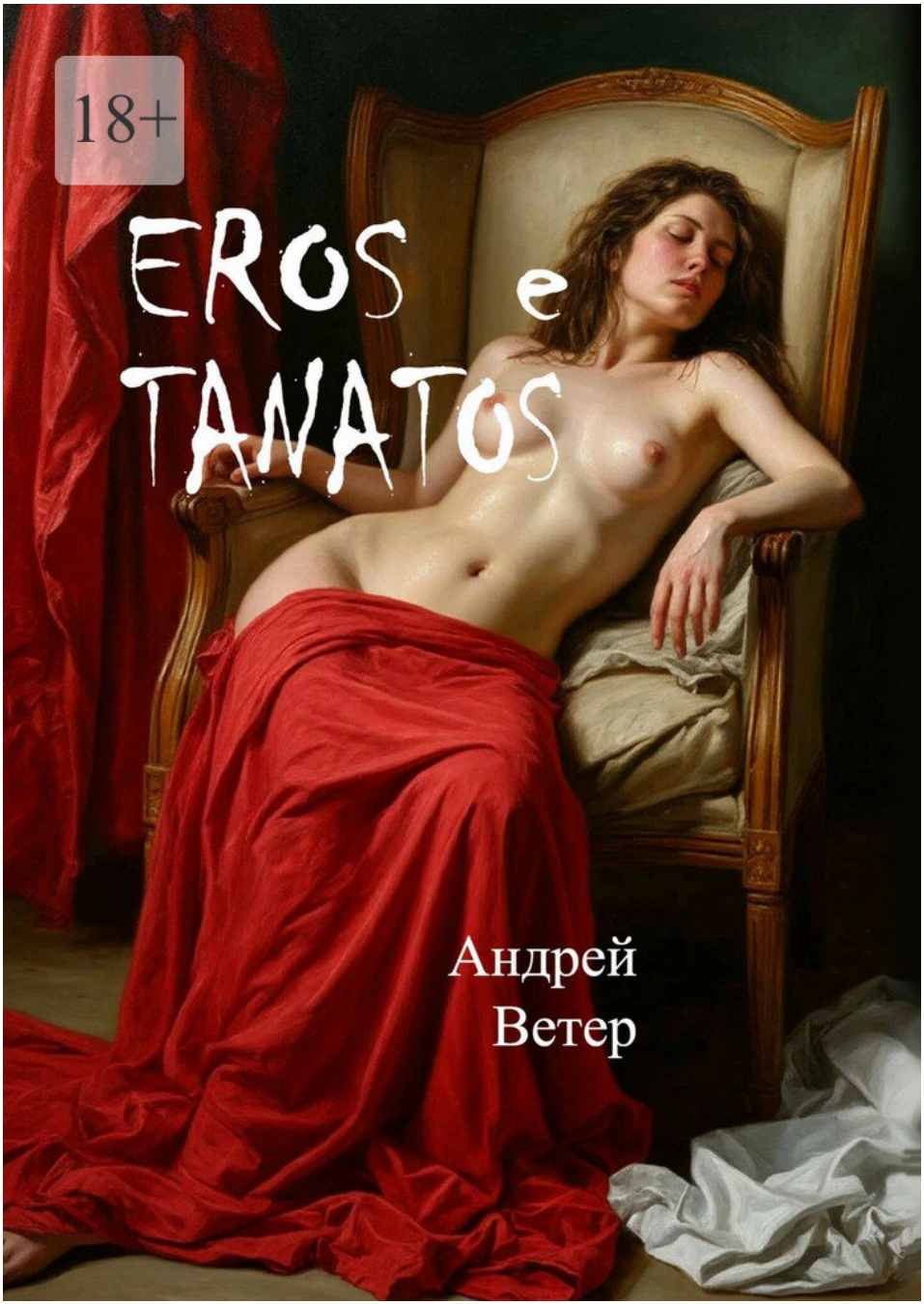

18+
EROS e TANATOS
Андрей Ветер

Андрей Ветер

Эрос и Танатос

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Иллюстратор Андрей Ветер

© Андрей Ветер, 2026
© Андрей Ветер, иллюстрации, 2026

Эрос (Ἔρως) — это греческое имя бога любви. Танатос (Θάνατος) — это греческое имя бога смерти. Эрос и Танатос (Любовь и Смерть) — это одна из самых глубоких пар противоположностей в западной культуре, психологии и философии. В самом широком смысле это борьба между жизненной силой (влечение к созиданию, единению, продолжению рода) и силой разрушения (влечение к покою, распаду, возвращению в неорганическое состояние).

18+

Оглавление

Эрос и Танатос
Карма
Муза
Триптих №13
- Толпа
- Загадка
- Точка на карте

Капкан аутофила
Любовь
- Мои чужие сны
- Психотерапевт

Осенняя болезнь
Последний звук дождя
Сочинительство сказок
Выдержки из дневника
Поставить точку
Человек, сотканный из сновидений
Обманутые любовью
Да, конечно!
Мгновение
Луна
Поэзия зверей
Кабак
Пейзаж
Счастливчик
Осень
Зарисовка
Опубликованные книги Андрея Ветра

СДЕЛАНО НЕ В СССР

Карма

О карме написано так много небылиц, так много путаницы внесено в довольно ясную картину бытия, что люди, желающие хотя бы немного разобраться в сути вопроса, попадают в настоящую западню противоречий, в паутину взаимоисключающих терминов и понятий. То, что должно облегчить существование и привнести радость в нашу жизнь, превращается в конце концов в нелепую и невыносимо сложную концепцию, следовать которой практически невозможно. Толкователи и учителя интересуются больше созданием собственного образа в глазах последователей и собственной школы, чем судьбами пришедших к ним людей.

Мне хочется внести ясность и хотя бы в какой-то степени в долгие споры о том, что такое Судьба, Карма, Крест, Бремя Выбранного Пути и можно ли от всего этого избавиться.

Моё детство прошло в Индии. Я изъездил Индию вдоль и поперёк. На самом севере, в Гималаях, я поднимался на горных лошадках к искрящимся снеговым шапкам и видел, как из крошечной струйки воды рождается великая река, пересекающая всю страну. Побывал я и в самой южной точке, на мысе Комарин, где смешиваются волны Индийского океана, Бенгальского залива и Аравийского моря. Я проехал по восточному и западному побережьям страны, ходил по пыльным улицам Дели, Бомбея, Мардаса, Удайпура, Джайпура. Я получил возможность сравнить обстановку в сверкающих дорогих отелях с дешёвыми ночлежками, где рядами поставлены десятки кроватей и по одеялам бегают чёрные тараканы размером с палец. Я видел стаи акул у берегов Кочина, стада диких слонов в джунглях Кералы и несметные полчища стервятников над трупами умерших коров на обочинах дорог. Я имел счастье посетить вырубленные в скалах древние монастыри Аджанты и прикоснуться в Каджурахо к горячим от солнца стенам храмов, густо покрытым каменными изваяниями любовных пар, застывших в причудливых позах. Я гулял по мраморному Тадж-Махалу в Агре, любуясь красотой знаменитого мавзолея при свете

полной луны; в Гоа я видел мощи святого Франциска Ксавьера; в Гвалиоре я успел тайком посидеть на троне тамошнего магараджи…

Когда я вернулся на родину, Индия долго не давала мне покоя, приходила ко мне во снах. Но вот что удивительно: в моих снах она была безлюдна. Жгучее солнце, густые тени, головокружительные знакомые запахи и звуки, однако абсолютная безлюдность при всём этом. Затем я стал видеть одного человека в моих индийских снах. Это был темнокожий индус, худой, лысый, с большой белой бородой, с тряпичной обмоткой вокруг бёдер. Сначала я видел его издали, но из года в год он приближался, и постепенно я смог различить черты его лица. И вот однажды он подошёл совсем близко. Он ничего не говорил, только смотрел на меня так, словно хотел, чтобы я запомнил его.

Через двадцать лет мне посчастливилось поехать в Индию опять. Говорят, что нельзя возвращаться в места своего детства, но я не пожалел о путешествии. Я узнавал всё (улицы, дома, краски, звуки, запахи), ничто не изменилось, всё было прежним. С удивлением понял я что Индия — страна без времени. Она живёт в застывшем мгновении. Я вырос, изменился, был свидетелем того, как Советский Союз исчез в одночасье, унеся в небытие и правила жизни, и отношения между людьми, и запахи столовой, и вкус хлеба. Неведомые силы вытолкнули нас, выросших в СССР, в «новый» мир, где мы не умели ориентироваться, где всё менялось стремительно — от цен, до ценностей. Если в Советском Союзе милиция брала оружие только при выезде на захват опасного преступника, то теперь на каждом перекрёстке милиционер стоял с автоматом. В самом центре Москвы одна половина верховной власти расстреливала из танков другую половину верховной власти… Всё изменилось до неузнаваемости, всё вывернулось наизнанку.

Но в Индии я шагнул в прежнее, окунулся в никуда не исчезнувшие, словно законсервировавшиеся ощущения, получил возможность снова испытать давно забытые состояния; они то ли хлынули в меня извне (значит, наполняли тамошнюю атмосферу), то ли пробудились изнутри (значит, хранились в глубинах физиологической памяти). Каждая клетка моего тела будто бы жила двумя жизнями сразу — далёкими днями мальчугана-подростка и сегодняшним днём тридцатипятилетнего мужчины. Помню, как я вышел из отеля «Ашока» ранним утром и зашагал по улице в направлении дома, где я жил раньше. Время будто

втягивало меня в свою воронку, увлекая в прошлое. С каждым мгновением твёрже становилась уверенность в том, что времени нет на самом деле. Оно никуда не утекает, ниоткуда не прибывает. Оно постоянно. Оно собрано в сгусток, как чёрная дыра внутри каждого из нас и позволяет нам всем наслаждаться им, пользоваться им в любой форме, любом качестве, любом объёме.

Путешествуя в тот раз по Индии, мы с женой впервые попали в город Варанаси. Там мы нашли лодочника, который выступил в роли провожатого и долго возил нас по Гангу. Когда же мы собрались уезжать, наш провожатый остановил меня, взяв за локоть, и указал на голого старика, почти совсем чёрного от загара.

— Господин, он желает что-то сказать вам, — проговорил провожатый. — Это один из здешних очень почитаемых дервишей.

Заметив моё колебание, жена подтолкнула меня по направлению к дервишу. Он сидел на облитой водой каменной плите. Седая борода ярко выделялась на тёмном теле. На лысой голове сверкало солнце. Подойдя к старику, я сложил ладони на индийский манер и слегка поклонился. Он улыбнулся и поднёс свои сложенные руки себе к груди, затем ко лбу.

— Он говорит, господин, что узнал тебя и хочет рассказать тебе нечто, — перевёл мне провожатый.

До сих пор не могу понять, как я сразу не обратил внимания на этого лысого старика. Вероятно, усталость от жары давала себя знать, внимание сделалось рассеянным. Я хотел отмахнуться от индуса и ушёл бы, если бы не моя жена.

— Выслушай его, — настояла она.

— Он говорит, что знает тебя, — удивлённо повторил переводчик.

И тут зрение моё сфокусировалось на лице дервиша. От неожиданности я потерял равновесие и едва не упал. Запах костров, цветочных гирлянд и пряностей сделался настолько густым, что меня замутило. В ту секунду время растянулось в вечность, и я понял, что бесконечность мгновения — не игра слов, а действительное состояние, в которое вмещается вся жизнь и даже больше. Передо мной развернулись, как в пышной розе, лепестки всех моих существований. Я увидел всё сразу, ощутил всё сразу, понял всё сразу, забыл всё сразу.

Передо мной сидел на каменных ступенях тот самый человек, который являлся ко мне в моих индийских снах. Только тогда лицо его

оставалось неподвижным, как маска, теперь же оно улыбалось. Старик что-то объяснял, а переводчик молчал, похоже, потеряв дар речи.

— О чём он говорит? — нетерпеливо спросил я.

— Он рассказывает, как вы с ним воспитывались в храме, господин. Это было давно, тысячи лет назад. Ты многое умел. И однажды ты оказал ему помощь.

— Какую помощь?

— Ты раскрыл ему глаза.

— В каком смысле?

— Ты помог ему проникнуться духом смерти, он перестал её бояться. Потом с тобой произошла беда, господин. Ты отступил от мудрости, которую носил в сердце. Ты потерял равновесие, поддался ярости. Ты погиб, господин, и тебе пришлось остаться в колесе Кармы…

Сейчас я излагаю тот разговор коротко, пытаясь передать лишь суть; на самом деле старик говорил долго, вдаваясь в разные детали. Самое удивительное, что я ничему не удивлялся в тот момент. Старик рассказывал, и я видел его рассказ, как на киноэкране, вспоминал себя в его рассказе. Моё состояние невозможно выразить словами. Я стоял на берегу Ганга, и наваристый воздух Индии сгущал моё сознание, выдавливая из небытия сцены одной из моих далёких жизней. Я узнавал ту древнюю мою жизнь так же, как узнавал улицы и деревья, запахи и звуки, выйдя из отеля «Ашока», узнавал их, словно погружаясь в сон…

В те минуты, стоя перед стариком, я не удивлялся ничему, всё казалось само собой разумеющимся. Удивление пришло значительно позже, оно догнало меня в Москве, когда я осознал случившееся. Меня охватило нечто вроде неверия к самому себе: неужели это произошло со мной в действительности? Не пригрезилось? Удивление было не единственное, с чем пришлось столкнуться в Москве. У меня началась полоса испытаний, обрушившихся внезапно, словно жестокие насмешки каких-то неведомых безжалостных сил…

— Он хочет напомнить тебе, что ты был сильным, — перевёл лодочник слова дервиша. — Сила никуда не уходит. Она скрыта в тебе, как и то знание, которым ты обладал в той жизни, господин. Он говорит, что тебе надо поменять отношение к смерти. Ты умеешь произносить правильные слова о вечности, но ты просто играешь словами, не хранишь в себе их глубинный смысл. И ещё он просит тебя не переставать начатое тобой дело.

— О каком деле он говорит?

— Он говорит, что ты несёшь слово. Не имеет значения, какую форму принимают твои рассказы. Ты просто должен рассказывать, господин. Ты несёшь слово. Это важно…

Дервиш произнёс что-то, переводчик сказал:

— Он благословляет тебя…

Позже я описал эту встречу в рассказе «Бенарес», а ещё позже вставил этот эпизод в роман «Под сводами высокой лжи» (правда, придав встрече с дервишем новый акцент, как этого требовал сюжет книги). Всё, к чему я прикасался в моей жизни, находило место на страницах моих книг. Иногда одно и то же появлялось в разной форме, и я всегда удивлялся тому, каким образом мне удавалось раскрашивать реальные события то одними красками, то другими, в результате чего они становились разными и превращались в нечто новое, неся в себе новый смысл. Позже понял простую вещь: на каждый предмет можно смотреть с разных сторон, разных ракурсов. Предмет остаётся прежним, но видим мы его по-разному, в разном свете, в разном настроении. И это самое малое множество разнообразия, о котором следует помнить. На деле в каждом событии участвуют тысячи сил, и каждая из этих сил имеет свой взгляд, и каждый из этих взглядов несёт истину…

Истина даже не многогранна, истина бесконечна.

Индия никогда не была для меня особенной страной. Индия была привычна и знакома. Я вырос там, впитал в себя её воздух, но в душе никогда не был индийцем. Долгие годы, когда я слышал, как об Индии рассказывают сказки, я посмеивался. Я верил в реинкарнацию, но верил как-то отвлечённо, вроде верил, но вроде и не верил. Мы часто верим в чудеса абстрактно, не веря в них на самом деле.

Однажды я познакомился с молодой китаянкой, она занималась иглотерапией. Увидев меня, она застыла, долго всматривалась, затем сказала: «Мы знакомы. Мы встречались». Я улыбнулся и отрицательно покачал головой. Китаянка была настойчива, взяла меня за руку: «Мы встречались». Я решил отшутиться: «Может, в прошлой жизни?» Выражение её лица не изменилось: почти неподвижный чёрный взгляд, пристальность, стремление проникнуть взором внутрь меня. «Может быть», — сказала она.

После этого мы не виделись почти тридцать лет. Болезнь заставила

меня обратиться к ней. И что же? Когда я пришёл, она не узнала меня. Даже после того, как я напомнил ей о нашей первой (и единственной встрече), не узнала.

Жизнь меняет нас, вытаптывает наши знания и память. Кто-то просто забывает себя, и это самый мягкий вариант, а у кого-то начинаются психические расстройства из-за настойчивых поисков «дверей в прошлые жизни». Я был знаком с несколькими такими людьми. Внешне они вполне обыкновенные, но в каждой фразе пытаются напомнить собеседнику, что они «не простые смертные», но ничего конкретного не говорят, отказываются говорить, надевая на лицо маску многозначительности и таинственности.

Иногда вымысел открывает человеку больше знаний, чем чьи-то настойчивые слова о действительных событиях. Двери истины распахиваются мгновенно — для каждого по своей причине. И в это мгновение надо успеть увидеть истину. Затем двери закрываются. Кто-то уносит истину с собой, а кто-то тут же забывает её.

Сейчас, когда в моих руках огромные знания и опыт, я не знаю, что с ними делать, как изложить их. И не знаю, нужно ли это, ведь Карму невозможно объяснить. Каждый проживает свою Карму. Она — как боль, которую каждый испытывает по-своему и которую невозможно ни рассказать словами, ни нарисовать.

Дервиш сказал, что моё дело — слово, и с некоторых пор Слово и впрямь стало моим делом. В моих сочинениях я пытаюсь рассказать о случившемся со мной или с кем-то из моих знакомых, рассказать, чтобы хоть чуточку намекнуть на тонкую игру Судьбы, волю Кармы.

Сны, воображение, творчество, сексуальная тяга, жажда чего-то, чего я не в состоянии понять — это краски, наполняющие эмоциональную сторону моей жизни. Я всегда рассказываю о себе, даже когда говорю о других. Я спорю только с собой, потому что во мне много разных «я». Порой это радует, иногда огорчает, но способность видеть неутихающую борьбу внутренних противоречий позволяет мне двигаться вперёд, не предпринимая попыток изменить Карму.

Познать себя… Вспомнить себя… И остановиться, если нет желания продолжать Игру. Или идти дальше, но в полном равновесии. Ведь окружающий человека Хаос — это строгая система развития, а не бессмысленное метание в разные стороны, которое только разрушает целостность души.

февраль 2015

Муза

Они вошли в номер. Он поставил чемодан на пол, подхватил её на руки и закружил.

— Вот мы и одни…

Она разглядывала своё обручальное кольцо.

— Муж и жена.

— Я тебя люблю.

— Можешь повторить ещё, — смеялась она. — Я готова слушать это снова и снова… Погоди, а тебе не кажется, что все наши обидятся? Мы ведь удрали от них.

Он поставил её на пол, но не отпустил, горячо прижимая к себе.

— Мы никого не обязаны приглашать. Наша свадьба — праздник двух людей, это наше счастье и только наше. Ты и я… Почему мы обязаны созывать кого-то? Разве тебе мало счастья? Или ты мечтаешь о пьяных криках «Горько, горько»?

Она покачала головой.

— Нет, мне никто не нужен для счастья. Только ты. Но они все обидятся, когда узнают.

— Расскажем, когда вернёмся… Если вернёмся… Как тебе отель?

Она обошла комнату, выглянула в окно. За стеклом синели горы, покрытые снежными шапками.

— Очень мило… Почему ты сказал «если»? Что ты имеешь в виду?

— Разве ты не хочешь утонуть в нашем счастье? Исчезнуть для всех? Навсегда?

Она приблизилась к нему:

— Только ты и я… Вот так?.. Тебе удобно будет работать?

Он оглядел номер: стол, стул.

— Что ещё нужно?

— Вдохновение.

Он взял её за руку.

— Ты — моё вдохновение. Ты — моя муза.

— Пойду приму душ.

— Да, да.

Она скрылась за дверью ванной, и в тот же миг в дверь номера постучали. Он открыл. На пороге стояла женщина. Красивая и с глазами, которые он будто бы уже видел где-то, но не мог вспомнить.

— Здравствуй, — сказала она.

— Добрый день.

— Не ждал?

— Вы не ошиблись?

Она прошла в комнату, словно была здесь хозяйкой.

— Ты меня удивляешь, милый.

— Милый?

Она положила голову ему на плечо. Он отшатнулся.

— Вы перепутали дверь… Вы по вызову? Я никого не…

— Я никогда ничего не путаю, любимый.

— Да что вам нужно, в конце концов! Что за шутки! Мы с женой в свадебном путешествии.

— Знаю.

Из ванной выбежала жена, запахивая банный халат.

— Очень хорошие халатики здесь.

Она не обращала никакого внимания на вошедшую женщину, словно той не существовало. Жена принялась распаковывать чемодан, доставать нижнее бельё.

А незнакомка опять обвила мужчину руками. Он смотрел на жену, не понимая, почему та не реагирует. Жена послала ему воздушный поцелуй и упорхнула обратно в ванную. Муж проводил её недоумевающим взглядом.

— Что с ней? Вы меня обе разыгрываете?

— Ты удивлён?

— Она делает вид, что не видит вас.

— Она на самом деле не видит меня. Не может видеть. Я ведь только твоя Муза.

Он отстранился от неё, попятился, упёрся спиной в стол. Она легонько надавила ему на грудь, и он почти опрокинулся на столешницу. Муза навалилась на него.

— Вот наше с тобой ложе…

— Что?

— Я хотела сказать, рабочее место.

И она поцеловала его. Страстно. Он едва не задохнулся.

— Меня качает, — прошептал он. — Голова… Что со мной? Всё кружится…

— Ты вполне готов. Но не обидится ли жена?

— Какая сила изнутри… Меня сейчас разорвёт…

— Во всём виновата любовь, мой милый.

— Я слышу их… Вижу… Но пока не понимаю… Они ещё не родились…

Она провела рукой по его спине.

— Твои мысли напоминают мне краски. Я всегда любила этот момент созревания. Больше всего — именно этот момент творчества… Я словно улавливаю запах пирога, поставленного в духовку. Но пирога ещё нет… Лишь намёк на будущий вкус…

Он тяжело опустился на стул, пытаясь прийти в себя.

— Образы… Да, они похожи на ещё не существующий вкус любимого блюда… Что это?.. Вы… Ты кто? Ты что такое?

Она нежно поглаживала его по спине. Он осторожно поглядывал на неё.

— У меня что, галлюцинации? Почему я раньше не видел тебя?

— Ты никогда не был настолько опьянён счастьем.

— Значит, это моя жена? Она всему причиной?

Муза кивнула, соглашаясь:

— В какой-то степени. Но в основном — ты сам всему причиной. Не она вызвала меня, а ты.

Она снова поцеловала его. Из ванной вышла жена, наматывая полотенце на голову.

— Как хорошо, как легко. Что делаешь, милый?

Он вырвался из рук Музы.

— Я… думаю… Знаешь… здешняя атмосфера…

— Да, воздух!

— Со мной что-то творится… Мысли разрывают…

— По тебе видно.

— Да?

— Взгляд отсутствующий. Я хорошо знаю этот взгляд. Ты словно уходишь куда-то.

— Мне бы хотелось немного… Ты позволишь, я сделаю кое-какие пометки? Мне кажется, что я должен… Иначе…

Она подошла и поцеловала его.

— Конечно… И я должна…

Она потянула его к кровати. Он послушно, словно прикованный, последовал за ней. Они легли рядом, обнялись. Муза уселась с другой стороны и тоже гладила его. Он вскинул голову, посмотрел куда-то в сторону.

— Ты всегда будешь со мной?

— Что? — переспросила жена.

— Это всё ты.

— Что — я?

— Это ты так влияешь.

— Да что такое?

Муза наклонилась к его уху.

— Скажи прямо, не увиливай. Скажи, что тебе необходимо уделить некоторое время своим мыслям.

— Прости, я мыслями… там… — пробормотал муж. — Я должен кое-что записать…

— Вот она, писательская доля… И доля писательской жены…

Он бросился к столу, торопливо распаковал ноутбук. Муза оперлась на него, как о тумбочку, и смотрела на жену с вызывающей улыбкой.

— Как забавно видеть своё воплощение в облике живой женщины.

Он замер.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты называешь её своей музой. Но твоя муза — я. И всё же ты прав: твоя муза — она, потому что только благодаря ей ты смог наконец увидеть меня.

Он открыл ноутбук, пальцы начали бегать по клавиатуре.

— Ты хочешь сказать, что ты приходила ко мне раньше, но я не умел разглядеть тебя? Приходила в этом же облике?

Муза рассмеялась.

— В разных видах, с разными лицами, в разных нарядах и даже вовсе без них. Неужели ты не помнишь, как мы занимались любовью? Ты ведь умеешь любить только меня на самом деле.

— Тебя? Но какая ты, если у тебя много лиц?

— Разве дело в лицах? Душа — вот главное. Мои лица выдумываешь ты.

— Я их придумываю, а ты их надеваешь, как маски? Ты прячешься за ними?

— Не отвлекайся, пиши… Итак, любовь. Медовый месяц. Зачем он вам? Вы же давно знакомы, давно вместе.

— Но мы только вчера зарегистрировали наш брак. Теперь мы семья.

— В чём это выражается?

— Быть вместе всегда, на всю жизнь.

— Ты только со мной на всю жизнь. Я с тобой с того самого дня, когда ты написал своё первое вдохновенное сочинение. Помнишь? Про летний дождь, про босиком по лужам, про девочку в белом платьице?

Он повернулся к жене.

— Дорогая, ты когда-нибудь танцевала под дождём? Раскинув руки? В белом платье? Сбросив обувь?

Жена улыбнулась.

— Не отвлекайся. Пиши. Или я зря отпустила тебя?

— Образы приходят ко мне — танцуя. Их надо подхватить, слиться с их танцем. Только тогда они становятся моими. Они живые. Капризные. Они вторгаются в меня самовольно. Настоящее нашествие. И это они управляют мной, а не я — ими.

— Ты всегда говорил, что это похоже на болезнь, — в один голос произнесли обе женщины.

— Да, я могу избавиться от образов единственным способом: выразить их в слове. Живописцы избавляются от них с помощью красок, композиторы — через музыку… Однажды я танцевал под дождём с девочкой. Нам было лет по десять. На даче отмечали чей-то день рождения, гостей собралось изрядно. И там была девочка. Её отругали за что-то, хотели наказать, и мы удрали из дома. Начался ливень. И вот мы вдвоём, вдали от толпы взрослых, стали плясать под дождём от восторга. Мы радовались нашему изгнанию из ненужного мира. Потом нам, конечно, всыпали по полной, но какое-то время — часа два! — мы провели в абсолютном счастье.

— Чем же всё кончилось?

— Явились взрослые. Отец девочки, мужчина в шляпе… Её увели, на меня накричали, обозвали…

Он замолчал, задумался.

— Я искал только тебя, — сказал он, глядя на Музу. — Во всех женщинах, проходивших мимо меня по улице, я высматривал только тебя. Это подобно тому, как читаешь книгу и открываешь для себя новые мысли, которые мгновенно становятся твоими, потому что совпадают

с твоим мировоззрением. Эти новые мысли, доселе незнакомые тебе, позволяют тебе смотреть на мир шире. Они новые, но они по-настоящему твои, поскольку становятся неотъемлемой частью тебя.

Он замолчал, прислушиваясь к себе.

— Во мне рождается книга.

Жена подошла к нему, обняла за плечи.

— О чём будет твоя книга? — спросила жена.

— Нет ничего ужаснее, чем потерять то, что только что обрёл, — сказал он, не услышав жену. — Я боюсь, что не успею записать всё. Что образы уйдут так же быстро, как пришли.

Муза стояла у окна и смотрела на горы.

— Какой чудесный вид! Снежные горы!

Жена обернулась на голос, но по-прежнему никого не видела.

— Ты слышал, дорогой? Как будто кто-то говорит за стеной?

Он растерялся. Между двумя женщинами — одной осязаемой, тёплой, любящей, и другой — невидимой для всех, кроме него, — разрывалось его сознание.

— Просто… я вслух размышляю. Наверное эхо…

Жена пристально посмотрела на него.

— Ты странный сегодня.

— Я счастливый сегодня.

Она поцеловала его в щёку и отошла к окну. Встала рядом с Музой, но не видела её. Они стояли плечом к плечу: его жена и его вдохновение. И он понял, что никогда ещё не был так близок к истине и так далёк от неё одновременно.

— Ты должна уйти, — сказал он Музе.

— Зачем? — удивилась она. — Я только что пришла. И ты меня звал. Все эти годы ты меня звал, даже когда не знал моего имени.

— Она любит меня.

— И я люблю тебя.

— Но я могу потрогать её. Могу поцеловать. Могу прожить с ней жизнь. А ты… ты просто исчезнешь, когда я допишу книгу.

Муза усмехнулась.

— Когда ты допишешь книгу, я вернусь. Ты будешь мучиться мною… Разве ты не знаешь? Чем больше ты пишешь, тем больше я хочу приходить. Я питаюсь тобой, а ты — мною. Мы связаны навсегда, мой дорогой. Жена умрёт, дети вырастут, а я останусь. Я всегда остаюсь. Даже

когда ты состаришься и перестанешь сочинять, я всё равно буду рядом. Ты будешь бессильным, но желания твои, творческий бред никогда не перестанет бродить в твоей голове.

Он посмотрел на жену, которая заворожённо глядела на горы. Белый свет отражался от снежных вершин и падал на её лицо. Она была так прекрасна в этом мгновении.

— Ты выбрал, — сказала Муза. — Ты всегда выбираешь, даже когда думаешь, что не выбираешь.

— Я выбираю жизнь.

— Я и есть жизнь, — возразила она. — Я есть то, ради чего ты просыпаешься по ночам. Я — причина, по которой ты смотришь на мир и видишь не просто вещи, а истории. Без меня ты станешь обычным мужчиной. Скучным. Ты этого хочешь?

Он молчал. Жена обернулась.

— Иди сюда, — позвала она. — Посмотри на горы. Они такие вечные, а мы такие маленькие. Но мы есть. Мы здесь. Сегодня. Сейчас.

Он подошёл к ней и обнял. Муза осталась стоять у окна, но теперь она смотрела не на горы, а на них. Её взгляд был странным — в нём не было ни ревности, ни злобы. Только ожидание.

— Я всё равно приду, — прошептала она так тихо, что он едва расслышал. — В самую неподходящую минуту. Когда ты будешь счастлив или когда тебе будет больно. Я приду и напомню тебе, кто ты есть на самом деле.

Он закрыл глаза и почувствовал, что мысли начинают успокаиваться. Образы отступали. Книга перестала рождаться. Он снова стал просто человеком — мужем, стоящим рядом с женой и смотрящим на заснеженные вершины.

Муза шагнула назад, к двери.

— Я ухожу, — сказала она. — Но я всегда здесь. Ты только позови.

Она вышла из номера, и дверь за ней закрылась бесшумно.

Жена повернулась к нему.

— Тебе стало легче?

— Да, — ответил он и улыбнулся. — Я просто устал с дороги.

Но он знал правду. Он знал, что муза не ушла, что она будет ждать — за окном, на страницах, в тишине между словами. И что однажды, когда он сядет за стол и откроет ноутбук, она снова появится.

Он обнял жену крепче и поцеловал в макушку.

— Я люблю тебя, — сказал он.

Она улыбнулась.

— Можешь повторить ещё. Готова слушать это снова и снова.

За окном сияли горы. Снежные вершины казались нетронутыми и вечными. А внутри него, где-то глубоко, уже начинал клубиться новый образ. Он чувствовал это. И знал, что Муза уже на пороге.

Он улыбнулся. И ничего не сказал.

1 июня 2026

Триптих №13

Толпа

Я, следователь уездной управы титулярный советник Михаил Львович Самойлов, даю сию подписку в том, что нижеследующие строки суть правда, хотя ни один здравомыслящий человек не должен бы им верить.

Дело началось с запаха. Не трупного — тот мне знаком. Иной. Сладковато-металлический, с привкусом грозы, когда небо вот-вот расколется пополам. Таким пахнет от старых зеркал, если долго в них всматриваться. Вы когда-нибудь подолгу всматривались в старые зеркала? Сделайте милость, испытаете что-то новое… Или от разбитой головы так пахнет, если думать не о крови, сосредоточиться не на крови, а на том, что из неё вытекло.

Тело господина К. обнаружила горничная Аграфена, женщина с лицом, похожим на кулак, и нервами, коими обладают, вероятно, пыточных дел мастера. Но Аграфена вылетела из номера с криком, какого я от неё не ожидал. Она билась в истерике до вечера, и всё бормотала: «Они там, они живут, они смотрят».

Итак, комната нумеровалась тринадцатой. Сомнительный, с точки зрения суеверных граждан, номер. Господин К. — писатель, как доложил мне хозяин гостиницы, — снимал её третий месяц. Платил исправно, шума не производил, если не считать… ну, об этом позже.

Я вошёл туда в час пополудни.

Труп был. Удара в голову не было, но так кажется только на первый взгляд. Потом понимаешь, что череп не расколот, не пробит, не раздроблен кувалдой. Он вывернут наизнанку. Будто кто-то резким рывком распахнул тесный футляр, не потрудившись снять крышку. Череп лопнул, как паровая машина от перегрева. Кости разошлись по швам — там, где в детстве они срастаются, — и развернулись лепестками наружу. Раскрывшийся страшный цветок… или чаша, и в центре её — пустота. Глубокая, чёрная, маслянистая. Я заглянул туда. И мне показалось — или

это игра зеркального коридора в хрусталике моих собственных глаз? — что там, в глубине этой чаши, что-то шевелится.

Брызги на стенах не были хаотичны. Это я понял сразу, едва пересёк порог. Кровь липкими струями ползла со стен к полу, да — но выше, на уровне лица, кто-то (или что-то) работало с тонкостью ювелира. У самой двери — профиль женщины с запрокинутой головой и открытым ртом. Кусочки мягких тканей, перемолотых в пасту, образовывали её нос, её губы, её ресницы. Рядом — другой лик, мужской, с тяжёлой челюстью и взглядом исподлобья. Ещё дальше — третий, четвёртый, пятый. Словно стена этой захолустной гостиницы превратилась в зрительный зал. И зрители эти были сделаны из того, что ещё утром было человеческим мозгом, мыслило, помнило, боялось.

Какой патологоанатом сможет работать здесь? В уезде нашёлся только фельдшер Захарий, лечивший клизмою всё — от родимчика до холеры. Он посмотрел, перекрестился трижды и ушёл доить корову. Я остался один. И тогда я наклонился к записной книжке, что лежала на письменном столе среди осколков черепа.

Это был тяжёлый том в свиной коже, с медной застёжкой. Я открыл его не без труда — пальцы не слушались.

С первых страниц на меня хлынули голоса.

Нет, я не сошёл с ума, прошу выслушать меня терпеливо. Голоса были не в моей голове. Они были в книге. Господин К. записывал их, добросовестно, старательно и мучительно, как записывает стенограф дьявольскую проповедь.

«Сегодня явился первый, — читаю я. — Тот, кого я убил в рассказе „Забытая комната“. Я не желал его смерти, но сюжет требовал повешения на садовой калитке. И вот он стоит у моей постели. Пальцы распухли, на шее верёвочная борозда. Он не кричит. Он шепчет: „Ты выдумал мою смерть. А я выдумаю твою“. Я судорожно зажёг свечу. Никого не было».

Далее.

«Сегодня их трое. Женщина из „Попутчицы“ — я зарезал её бритвой в середине повествования, потому что она слишком много говорила. Старик из „Глухого переулка“ — его я отравил мышьяком, очень красиво, он умирал на тридцати страницах. И карлик. Странно, карлика я не убивал ни в одном сюжете. Карлик просто сидел в углу и улыбался. У него слишком много зубов. Карлик хранит какую-то тайну обо мне, я это знаю, чувствую кожей. На него неприятно смотреть. Но он улыбается

мне».

Следующая запись — двумя днями позже. Почерк становится крупнее, неряшливее, буквы едут вниз, как пьяные.

«Вчера их было семнадцать. Они перекрикивались всю ночь. Спорили, как поделить мой сон. Женщина требовала, чтобы я задохнулся во сне — так ей обещали оплатить за моё убийство моим же текстом, и это якобы вернуло бы её к жизни. Старик настаивал на медленном холоде, потому что у меня лёгочная болезнь. Были там женщины, которые мечтали изнасиловать меня до смерти. Пусть умрёт в экстазе, как он мечтал в своих книгах, — визжали они, сводя меня с ума. А карлик (карлик не говорит, карлик только слушает) — карлик, кажется, ждёт чего-то иного. Я боюсь карлика больше всех».

Чем ближе к концу, тем меньше в книге связных предложений. На полях — только имена и счёт. *Горбун, пьяница, священник, служанка, судья, солдат, девушка с косой, слепой, мальчик без пальцев…* Сотни имён. Тысячи? Я сбился со счёта.

Последняя запись сделана в ночь смерти. Одной фразой. Крупно, так, что перо прорвало бумагу: «ОТВОРИТЕ ДВЕРЬ. ОНИ ЛЕЗУТ ИЗ ПЕРА. ИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ Я В СОСТОЯНИИ ВМЕСТИТЬ. МОЙ ЧЕРЕП ТРЕЩИТ. ОТВОРИТЕ ДЛЯ НИХ ДВЕРЬ».

Я закрыл книгу. И тогда услышал их в первый раз.

Сначала — скребок. По стеклу. Но окно было заперто изнутри, и щеколда не сдвинута. Потом — шёпот. Не один, целый хор. Шёпот доносился из пустого черепа господина К., который всё ещё покоился на подушке, развёрнутый костяными лепестками вверх.

Я подошёл ближе. Это глупость, это малодушие, но я подошёл.

Внутри черепа не было темноты. Там горел свет — неясный, зеленоватый, как болотный огонёк. И в этом свете я увидел их. Маленьких, теснящихся, сплющенных. Их тысячи, много тысяч. Они тёрлись друг о друга, как селёдки в бочке. Они шевелили крохотными руками — каждая рука размером с полспички. Они открывали рты — каждый рот с булавочную головку. И они кричали. Все сразу. Одно и то же:

— ТЕСНО! ТЕСНО! ВЫПУСТИ НАС!

Я отшатнулся. Задел локтем письменный стол. Со стола упала фотография — господин К. за работой, с пером в руке, с улыбкой. На обороте было подписано дрожащей рукой: «Я думал, я создаю миры.

Я создал тюрьму».

В эту ночь я не спал. Сидел в своём номере (15, двумя дверями правее) и слушал стены. Из номера 13, пустого и запертого, доносились голоса. Споры. Ругань. Женский визг, мужской бас, детский плач. А под утро — резкий, мокрый звук. Словно лопнул налившийся соком плод.

Нет, нового трупа не было. Я проверил. Но на зеркале в коридоре, вровень с моим ростом, появилось пятно. Я долго вглядывался, прежде чем понял: это лицо. Моё лицо. Выложенное из чего-то серого, мелкозернистого, похожего на пепел или на высохший мозг.

Оно улыбалось.

Эта полусумасшедшая улыбка смотрит на меня из всех зеркал. И по ночам, когда я в который раз пишу этот отчёт в надежде, что кто-то прочтёт и поймёт, я слышу за своей спиной шёпот. Они приходят и за мной. Ведь я только что записал их имена. Я дал им новую тюрьму — на этой бумаге.

Если читатель мудр, он закроет сейчас страницу и никогда более не возьмёт пера в руки, чтобы записывать свои мысли и сочинять что-то. Если же нет — добро пожаловать в номер 13. Здесь всегда есть свободное место.

Оно открылось вчера. В моей голове.

Загадка

Номер 13 гостиницы «Центральная» в городе Заморске источал такой запах, который невозможно описать никакими словами. Пахло смесью озона, железа и чужой, ничьей прежде тишины — запах случившейся невозможности.

Следователь Павел Алексеевич Горский стоял на пороге и сжимал в кармане мятую пачку сигарет. Курить хотелось невыносимо, но в помещении с таким… содержимым… это было бы кощунством. Впервые он спросил себя, почему город зовётся Заморском. Не от слова ли «мор», ведь моря рядом не было, значит, не от слова «море».

Голова мужчины, лежащего в центре комнаты в расстёгнутом халате, отсутствовала. Она не была прострелена или размозжена — она отсутствовала. Её словно удалили каким-то неведомым способом. Не отрезали, не отрубили, не оторвали. Мёртвое тело заканчивалось там,

где должна была находиться голова. На месте головы брызги веером разлетелись по бежевым обоям, ковролину, подушкам. Но череп имелся. Он лежал в стороне, чистый, как будто тщательно вымытый. Горский понимал: выстрела не было, взрыва не было. Криминалисты уже шёпотом ругались в коридоре. Пороха нет. Взрывчатки нет. Никаких газовых баллончиков рядом с лицом. Просто — бах. Как будто кто-то мощным насосом изнутри раздул черепную коробку, пока стенки не сдались. Но и следов, которые указывали на то, что голову оторвали, не было.

— Ты на стену взгляни, — позвал эксперт Борис, бледный, как салфетка.

Горский поднял голову.

Стена напротив трупа была исписана плотью. Кровь и мельчайшие ошмётки не просто заляпали поверхность. Они словно складывались в мелко нарисованные фигуры. С перебором, с нажимом. Вот профиль женщины с задранным подбородком — будто скандальная актриса, застывшая в крике. Рядом — силуэт горбуна с крупными узловатыми руками. Чуть выше — линия челюсти мужчины с трубкой, сложенная из кусочков височной доли. Словно кто-то старательно, методично аппликацией из мозговой ткани выкладывал портретную галерею.

— Это невозможно, — прошептал Борис. — Такой разлёт материала. Если бы это сделал взрыв, осколки летели бы радиально. А тут… Тут «художник» работал после взрыва. Или до. Или вместо.

Патологоанатом пришёл к обеду. Звали его Марк Самойлович, человек с руками хирурга-ювелира и лицом человека, который видел всё, что связано с миром умерших. Но сегодня он вышел из морга с видом нашкодившего первоклассника.

— Павел Алексеевич, — тихо сказал он, отводя взгляд. — У него нет мозга.

— Как это — нет? — не понял Горский. — Вы же изволите в мешочке собирать остатки?

— Там несколько десятков граммов кашицы. Но полноценного мозга — нет. Понимаете? Череп пуст. Будто кто-то выел его ложкой. А серое вещество… его слишком мало для взрослого мужчины, ну капельки какие-то. Если судить по этому, он должен был быть овощем. А он, по словам администратора, вчера вечером спустился на ужин, и спорил с официанткой о качестве хлеба. Капризничал.

— Кем он был? — спросил Горский уже в который раз, хотя досье лежало у него в планшете.

— Писатель. Андрей Алексеевич Полянский. Детективы, мистика и всякий хоррор. В провинции осел пару лет назад. Из Москвы сбежал, говорят, от завистников. Или от кредиторов. Или от голосов.

— Голоса? — Горский насторожился.

— У него в записной книжке есть такая фраза: «Они разговаривают по ночам. Сначала шепчут, предлагают, потом спорят, угрожают. Требуют новых сцен, новых смертей. Я их создал, и теперь они меня сожрут».

— Психический? Сумасшедший? — не то спросил, не то констатировал следователь.

— Господи, какой ужас! — женщина из номера 12 крестилась мелко и часто. — Всю ночь из их номера голоса слышались. Не один, нет. Много. Словно там судилище какое-то. Баба визжит, мужик басом кроет матом, третий шепелявит, четвёртый — как дитя в истерике. А потом всё стихло. И — БАХ. Как артиллерийский снаряд. Тишина.

— Дверь была заперта изнутри? — уточнил Горский.

— Изнутри! Я сама пробовала потом. И цепочка накинута.

— Да, — согласился Горский. — И окно закрыто на шпингалет. Никто оттуда не вышел и не вошёл.

Горский сидел в своём временном кабинете — тесной комнате при гостинице, — перелистывая чёрную кожаную записную книгу писателя. Мелким, злым почерком, с зачёркиваниями, с пометками на полях.

Для сюжета: «Клоун в цирке вместо конфетти выпускает из рукава живых скорпионов. Зрители загрызены». Ниже приписка*: «Не верю сам. Клоун — пережиток, скорпионы — фальшиво».* Дальше: *«Женщина убивает любовника тем, что рассказывает ему все его же шутки на два часа раньше, чем он сам их придумал. Он лопается от стыда».* Рядом грустный смайлик. Ещё: *«Горбун-философ доказывает карлику, что мир существует лишь в их воображении. Карлик в отместку перестаёт дышать. Мир схлопывается».*

Страница за страницей, персонаж за персонажем. Толпа. Рой. В каждом наброске — чей-то голос, чья-то походка, чья-то манера лгать. К концу блокнота почерк становится неразборчивым, буквы наползают на буквы, как будто писатель пытался записать одновременно несколько диалогов.

«Они не дают мне спать», — последняя разборчивая запись. —

«Персонаж из «Попутчика» требует отдельного романа. Циркач из ненаписанного грозит перерезать мне горло во сне. А адвокат из рассказа про наследство каждую ночь садится на край постели и шепчет: «Ты нас не доделал. Ты нас бросил. Мы теперь сами по себе. Мы в беде...».

Горский закрыл книгу, невольно погладив ладонью дорогой кожаный переплёт. Постучал по столу пальцами. Потом позвонил в Москву, знакомому психиатру-криминалисту. Тот долго молчал в трубку, потом сказал:

— Паша, брось. Это из области галлюцинаций. Или литературоведения. Нет такого диагноза — «убит собственными персонажами».

— А что есть? — спросил Горский.

— Есть «синдром взрывающейся головы». Редкое расстройство, когда человеку чудится оглушительный шум, а через некоторое время он умирает. Разорвавшиеся кровеносные сосуды. Но чтобы голова буквально...

— У него мозг исчез, — перебил Горский. — Понимаешь? Не взорвался. Исчез. Кровь есть по всех комнате, брызги, но жидкие какие-то, слизь есть, но тоже немного, а серого вещества — кот наплакал. Как будто его выпили, высосали, растащили по кусочкам. И те кусочки на стене сложились в лица. В портреты.

В трубке снова молчали.

— Ты мне это официально в отчёте не пиши, — наконец произнёс психиатр. — Я буду вынужден поставить тебе неутешительный диагноз. Тебе лично. С бредом...

Он повесил трубку.

Горский сидел до трёх ночи. Перечитывал записи. Смотрел фотографии с места происшествия: силуэт горбуна, женский кричащий профиль, угловатая тень человека с трубкой. И вдруг на одной из фотографий — новой, с крупным планом стены — заметил деталь, которую упустил прежде. В самой нижней части брызг, почти у пола, кто-то сложил из мельчайших ошмётков коры головного мозга надпись. Буквы были неровные, торопливые. Но читаемые. «ТЕСНО».

Следователь выключил лампу. В темноте ему почудился шёпот. Нет, не один. Много голосов. Они спорили, доказывали, кричали, плакали. И требовали, требовали, требовали новой плоти, где можно жить.

Он написал рапорт об отставке на следующее утро. В графе «Причина» вывел одно слово: «Перенаселение».

Точка на карте

«ЗАМОРСКИЙ ВЕСТНИК»

Специальный выпуск. Экстренное приложение. 12 октября 1996 года.

Секретные материалы Центра изучения аномальных явлений впервые становятся достоянием общественности.

Наш корреспондент получил доступ к архиву ликвидированного (по официальной версии — «ввиду бесперспективности») Центра по изучению аномальных явлений при столичном статистическом управлении. Среди многочисленных папок с грифом «Не подлежит разглашению» и «Крайне срочно» обнаружился документ, который проливает свет на череду загадочных смертей, случившихся за последнее столетие в разных городах нашей страны. Автор доклада — старший научный сотрудник Центра, коллежский асессор Евгений Платонович Ветров. Коллеги за глаза называли «Следователем по делам воображения». Ветров провёл десять лет в разъездах по стране, фиксируя случаи, которые академическая наука предпочитает игнорировать.

— Мы выехали на место через сутки после того, как местная полиция составила рапорт о «неестественной кончине» в 1901 году купца первой гильдии Салагаева, — пишет Ветров в отчёте, датированном маем прошлого года. — Салагаев был найден в гостиничном номере. Причина смерти, указанная в заключении фельдшера — «остановка сердца вследствие нервного потрясения». Но, взглянув на тело, я понял: у купца не было лица. Это был первый официально задокументированный случай. Судя по слухам, нечто подобное случалось и раньше, но официальных бумаг не сохранилось.

Далее следуют протоколы осмотра, выдержанные в ледяном, бюрократическом тоне, который, однако, не может скрыть ужаса происходящего.

«Лицевая часть черепа купца Салагаева представляла собой ровную, словно отполированную, поверхность. Глазницы, носовые пазухи, ротовая полость — отсутствовали. Кожа натянута на череп, как перчатка

на кулак. При вскрытии обнаружено, что лицевые кости не сломаны и не спилены. Они рассосались. Или, выражаясь точнее, были *переплавлены*. Внутренняя поверхность черепа носила следы воздействия высокой температуры, однако внешние покровы не обожжены. В углу комнаты на полу лежало зеркало. Оно было разбито вдребезги, но осколки сложены не хаотично. Из них была выложена композиция: широко открытый рот, кричащий в пустоту».

Ветров провёл параллель с делом писателя Полянского в Заморске и с другими делами и учёный увидел систему. Да, пусть это звучит странно, но Ветров увидел систему.

Гипотеза «Нулевой комнаты»

Основываясь на десятках аналогичных случаев — от исчезновения ночного сторожа на железнодорожной станции Глухово до трагедии в цирке-шапито под Рязанью, где клоун умер от смеха, а его тень на брезенте продолжала кривляться ещё два часа, — Ветров сформулировал теорию.

— В некоторых географических точках, которые я условно назвал «зонами мнимого резонанса», материя становится податливой, — пишет он. — Эти точки не привязаны к географической широте или геологическим разломам. Они привязаны к *смыслам*. В прошлом на этих местах могли быть языческие капища, места казней или, напротив, вдохновения. Суть в одном: ткань реальности там истончена до предела. И в эту истончённость прорываются не духи и не демоны, как учит церковь, а… образы. Воплощённые человеческие фантазии.

По мнению Ветрова, нападению подвергаются исключительно лица с богатым воображением либо с расшатанной психикой. Однако *ключевым триггером* является не диагноз, а состояние: эмоциональное возбуждение, гнев, творческий экстаз или животный страх.

— Писатель Полянский *выдумал* своих персонажей. Он населил ими свой разум, — объясняет Ветров. — Некоторые из поклонников Полянского, читая его произведения, *представляли* их, *давали волю* своему воображению. Они дали им новую *жизненную форму*. Совсем недавно, например, бизнесмен Акулов перед смертью страстно желал расправиться со своим конкурентом. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда звонил из отеля своей жене и кричал, что

видит в зеркале своего соперника. Он ненавидел этот образ так сильно, что образ *материализовался* и сжег ему лицо, пытаясь пролезть наружу, занять место хозяина. Это не магия. Это физика эмоций. Энергия возбужденного сознания, попадая в «нулевую точку», обретает плоть. Плоть, которая требует выхода.

Карта смерти

Самая страшная часть отчёта Ветрова — это карта. Приложенная к документам схема России, испещрённая красными крестами. Ветров потратил несколько лет на то, чтобы нанести на карту все «аномальные точки», где были зафиксированы подобные случаи. Цель его была благородна: создать кадастр опасных зон, объявить их заповедниками тишины, запретить строительство гостиниц, трактиров и типографий в радиусе нескольких километров.

— Мы должны спасти людей, — написано на полях его доклада, адресованного в центральный аппарат. — Достаточно повесить предупреждающие таблички: «Осторожно! Зона материализации образов. Запрещается думать о плохом, громко спорить и читать вслух художественную литературу». Это спасло бы тысячи жизней.

Однако рукопись не дошла до адресата. Буквально за день до возвращения в Москву, Ветров получил сообщение, что архив Центра взломан.

— Я обнаружил сейф открытым. Карта исчезла, — свидетельствует в приложении к делу помощник Ветрова. — А на столе лежала записка, вырезанная из газеты: «Спасибо за навигатор. Точность попадания — сто процентов».

Криминальный след

Нашему изданию удалось выяснить: похищенная карта «нулевых точек» оказалась в руках некой преступной группировки, промышляющей заказными убийствами, которые невозможно раскрыть. Механика преступлений проста до ужаса:

Жертву привозят в аномальную точку, приводят в состояние сильнейшего эмоционального возбуждения (угрозами, имитацией покушения, либо, напротив, лестью и наркотическими средствами). Чаще всего это происходит в гостиничном номере №13. Почему-то большинство аномальных точек находятся именно там.

Жертва погибает «от рук» собственного воображения, от страха, от нетерпения, от ожидания. Убийцы даже не присутствуют в комнате в момент преступления. Алиби — железобетонное. Причина смерти в полицейском рапорте всегда одна: «Необъяснимое явление. Лопнувшая голова. Потеря лица. Расплавившееся изнутри тело». И только патологоанатом, работавший с Ветровым, знает правду: ткани выглядят так, будто их жевали изнутри тысячи маленьких, очень злых ртов.

Эпилог. Тишина №13.

В конце отчёта Ветров оставил личную приписку, сделанную уже другим, нервным почерком:

«Я подозреваю, что нашёл ещё одну аномальную точку в Загорске. Я описал в моём дневнике столько случаев, что участники этих событий вырвутся из моей головы, то мне несдобровать.

Если газета опубликует это — знайте: я проиграл. Значит, точка нашлась. И она сейчас не на карте. Она у меня в затылке.

Не ищите меня. Слушайте тишину. Бегите от своего воображения».

На момент сдачи номера в печать связь с Ветровым прервана. В гостинице «Центральная» на третьем этаже в №13, запертом изнутри, было обнаружено тело. Голова взорвалась.

Мы публикуем этот материал как предостережение. Бойтесь своих мыслей. Они могут прийти за вами. И у них есть карта.

Корреспондент «Замоского вестника»

И. Б. Борецкий.

1—10 мая 2026

Капкан аутофила[1]

Ангел мой, явись.
Коснись меня.
Прозрачностью своею
Наполни моё сердце.
Скажи ты мне: Очнись!
И я глаза открою,
Готовый для созерцанья Рая…

— Здравствуйте, Игорь Петрович,

Волконский вошёл в её кабинет. Она сидела за столом, смотрела на него поверх очков в золотой оправе. Очки придавали её лицу особую эротичность, элегантную эротичность. Некоторым женщинам такую элегантность придаёт белая рубашка и чёрный галстук, некоторым — приталенный пиджак. А некоторых надо просто раздеть, потому что любая одежда уродует их.

— Не стесняйтесь. Усаживайтесь поудобнее… С чего начнём? Хотите издалека, с детства… Или у вас есть конкретный вопрос?

— Да, есть вопрос, Алина Николаевна.

Он замялся, смущаясь.

— Игорь Петрович, мы с вами на территории, где нечего скрывать. Я для этого и существую. Вы верующий?

— В каком-то смысле.

— В каком именно, позвольте спросить. Разве можно верить «в каком-то смысле»? Вы либо верите в Бога, либо не верите.

— Я… Мне трудно… Я верю, конечно, что есть что-то…

— Но?

— Я не понимаю, что это и как надо верить…

— Значит, вы не верите. Вы только думаете, что вы верите в Бога. У вас нет твёрдой позиции. Нет уверенности, нет убеждённости…

— Но я же не за этим пришёл…

— Понимаю. С вопросами о Боге принято обращаться в церковь,

разговаривать со священниками, исповедоваться им… Но вы же пришли ко мне.

— Да, к вам.

— Значит я для вас бог в некотором смысле. Вы ждёте помощи от меня… Это вопрос веры… Я задала вопрос о вере просто для понимания вашего места в системе координат психологии.

— Не понял вас, Алина Николаевна…

— Это я для… В этом кабинете вы либо целиком доверяетесь мне, либо вовсе не доверяетесь и будете закрытым. Тогда нам лучше и не начинать… Впрочем, давайте попробуем начать. Вы можете сформулировать ваш вопрос?

— Боюсь, что не могу.

— Тогда — тему.

Он долго молчал.

— Мне стыдно.

— Нет, вам не должно быть стыдно здесь, Игорь Петрович. Я не судья вам, а помощник. Почему стыдно?

— У меня зависимость.

— Слушаю.

— Я… У меня… Зависимость от мастурбации

— Проблемы с женщинами?

— Нет. С ними всё в порядке. Какие там проблемы! Что вы, Алина Николаевна! Я даже на вас смотрю и… Но мне… мало… Я мастурбирую постоянно. До секса и после секса тоже. Женщины меня не удовлетворяют. Физиологически мне чего-то не хватает.

— Ладно, начнём разговор… Я не врач, я просто ваша «собеседница»,

— Хорошо, в этом как бы меньше фальши…

Он рассказывал. Она слушала. Не перебивала.

— С раннего детства я мастурбировал, — сказал он ровно. — Меня научил приятель. Мне это понравилось. Хотя до определённого возраста… сам процесс доставлял удовольствие, но оргазма не было. Вместо него — что-то болезненное. Лишь когда начала выделяться сперма, оргазм стал приносить удовольствие.

— Вы описываете то, о чём почти никто не говорит вслух, — ответила она. — Детская мастурбация без оргазма — не патология. Тело учится. Как щенок, который виляет хвостом ещё до того, как понял, зачем это нужно.

Она говорила долго, мягко, без заклинательных интонаций.

Волконский слушал, кивал, иногда возражал, но больше — соглашался.

Потом он сказал главное, что носил в себе многие годы, но о чём никогда не говорил:

— Когда оргазм стал настоящим, я сравнивал его во время секса с женщиной и от мастурбации. Мне кажется, при мастурбации он ярче. С женщиной всегда приходится себя контролировать. А наедине с собой я становлюсь… полноценным.

Она помолчала.

— Я понимаю вас. Секс с другим — это всегда спектакль. Всегда есть зритель — либо он, либо она, кто-то из них наблюдает больше, и это наблюдение поначалу доставляет удовольствие (своеобразное подглядывание за процессом), затем начинает мешать, потому что не позволяет полностью отдаться процессу. А мастурбация — абсолютная свобода. Не потому, что «лучше», а потому что нет свидетеля.

Он не спорил. Она спросила про чувство вины или предательства, про жалость — он отмёл всё. И наконец выдохнул с неудержимой печалью:

— Наедине с собой я становлюсь как бы независимым… полноценным.

— Это грустно слушать. Потому что полнота не должна требовать одиночества. Но для вас — она требует. Потому что с другими вы всегда недо-что-то. Недодоверяете, недоотдаётесь, недополучаете. А с собой — всё. Полный объём. Без помех. Может быть, это и есть корень: вы ищете в сексе с женщиной того же, что даёт мастурбация — тотального присутствия без стыда и контроля, — но не находите. И досадуете на физиологию, на *её* тело, на *её* запах, на *её* «не надо» — на всё, что как бы говорит вам: вы не один. Вы с кем-то другим. И другой имеет право на своё тело, свои желания, свои границы. И это разрушает вашу фантазию о «единении», потому что единение, которое вы хотите — это слияние до полного исчезновения другого. Но другой исчезнуть не может. И не должен.

— Меня интересует, почему у меня такая большая потребность в мастурбации. Раньше, даже имея регулярный секс с женщиной, я всё равно мастурбировал минимум дважды в день.

— Ответа, который устроил бы вас, нет. Но ч бы сказала, что вы устроены так, что ваше либидо — как сильная река. Ей нужно русло. Мастурбация — это одно русло, близость с женщиной — другое. Они

не конкурируют, они разные по глубине, скорости, температуре. Но оба нужны, чтобы река не вышла из берегов. И если вам комфортно в этом — не надо искать «ненормальность». Надо просто принять, что вы — редкий зверь, который не боится своей самодостаточности. И которому не стыдно в этом признаваться. Хотя бы себе. Хотя бы здесь.

Алина Николаевна говорила ещё про дофамин, про тестостерон, про то, что это не замена, а параллельная реальность. Волконский кивнул, поблагодарил и вышел из кабинета на вечернюю улицу.

Дома он лёг спать с одной мыслью: «Жаль, что нельзя соединить яркость мастурбации и живое тело женщины, у которой нет своих желаний, на которые надо отвлекаться».

Он не произнёс это вслух. Но где-то в глубине сна его услышали. Кто-то услышал.

***

Ночь пришла не как всегда — не через занавески, не через тиканье часов на прикроватной тумбе. Она пришла как густая тёмная вода, поднявшаяся от пола к потолку. Волконский почувствовал, что тонет, но не захлебнулся. Он начал задыхаться… Панический приступ?.. Игорь Петрович не знал, что это такое, он никогда не испытывал такого приступа, но сейчас именно эта мысль пугающе сверкнула молнией в его голове… Нет, он не задыхался. Он просто перестал дышать — и понял, что не нуждается в воздухе.

И тогда он увидел *её*.

Она сидела на краю его кровати. Не просто «сидела» — *покоилась*, как статуя, которую на мгновение оживили, наполнили внутренней силой, огнём, но забыли снабдить суетой. Она *покоилась*, словно ничто не могло потревожить её, взбудоражить. Она спокойно смотрела на него. Её тело было идеально, настолько идеально, что эта идеальность начинала колотить его изнутри. Кожа — не белая, не розовая, а цвета молока, в которое упала капля утреннего неба**.** Ни одного пятнышка, ни одной родинки, ни малейшей асимметрии. Грудь — не большая и не маленькая, а *именно та*, которую Волконский всегда рисовал в своём воображении, когда был совсем один. Талия переходила в бедро с такой плавностью, будто её ваял скульптор, ненавидящий какие бы то ни было углы. Волосы — тяжёлые, тёмные, до пояса — лежали на плечах как мокрая шёлковая грива.

Но самое страшное и прекрасное было в её лице. Оно было пустым**.**

Не злым, не добрым, не скучающим. Пустым — как экран до включения питания. Глаза — огромные, влажные, без единой морщинки вокруг — смотрели не на Волконского, а *сквозь него*, в ту самую темень, из которой она явилась. Рот — чуть приоткрыт, но не для дыхания. Просто так.

— Ты… — прошептал Волконский. — Ты кто?

Она не ответила. Её губы не шевельнулись. Но он *понял*: она здесь не для разговоров. Он протянул руку — медленно, как к спящей змее, которую не хочется разбудить. Пальцы коснулись её предплечья…

И мир взорвался. Нет, это было другое… Мир растворился**.**

Волконский почувствовал такое, чего не испытывал никогда: ни при мастурбации, ни при самом ярком сексе с лучшей женщиной. Её кожа оказалась не просто гладкой — она была текучей, как вода, но упругой, как живой мускул. Пальцы не скользили по ней — они *погружались* на микроскопическую глубину, и оттуда, из этой глубины, поднималась волна тепла, которая шла не от руки к мозгу, а наоборот: от позвоночника к пальцам, от пальцев к её телу, и потом возвращалась, усиленная во сто крат.

Это была не петля удовольствия. Это был колодец. Без дна. Бездна.

Он провёл ладонью вверх, к её плечу. Она не вздрогнула. Она вообще никак не реагировала — ни вздохом, ни движением. И в этом было главное. Она не отвечала. Она просто позволяла. Полностью. Без условий. Без «не трогай тут», без «осторожнее», без «а теперь я хочу». Её тело было его территорией, и при этом она не исчезала — она была здесь, таинственная, величественная, прекрасная, пустая, как храм, из которого вынесли всех богов.

Волконский придвинулся ближе. Его дыхание стало частым. Он уже давно был полностью возбуждён — но не как при обычном сексе, когда торопишься, боишься упустить момент. Здесь время остановилось**.** Он мог изучать каждый миллиметр её кожи часами, и возбуждение не спадало, а нарастало, но не до судороги, а до какой-то сладкой бесконечности**.**

Он поцеловал её ключицу. Её кожа пахла ничем — ни духами, ни пóтом, ни мылом. Это был нулевой запах, абсолютная стерильность, которая сама по себе становилась наркотиком. Она не пошевелилась, не обняла его, не застонала. Она была живая, но будто не живая. И ему подумалось, что это, как ни странно, было лучшее, что он когда-либо получал от женщины.

Он вошёл в неё медленно, почти благоговейно. И тут же понял, что всё прежнее — все женщины, все оргазмы, все ночи одиночной мастурбации — всё было бумажной декорацией**.** То, что он чувствовал сейчас, не поддавалось сравнению. Его тело не просто получало удовольствие — оно впадало в удовольствие, как в реку, как в пропасть, как в сон без сновидений, где нет ни «я», ни «ты», а есть только ***это***. Каждое движение отдавалось от позвоночника до затылка, от затылка до пяток. Он не контролировал себя — ему не нужно было. Она не требовала ритма, не просила нежности, не проверяла, кончил ли он. Она была *идеальным контейнером* для его желания.

И оргазм, когда он пришёл, был не взрывом. Он принёс исчезновение**.**

Волконский кончал и одновременно кончался как личность — на секунду, на две, на вечность. Он не знал, сколько это длилось. Может, минута. Может, час. Может, это продолжалось всю оставшуюся жизнь…

Когда он открыл глаза, она всё так же сидела на краю кровати. Немного ниже, немного отодвинувшись. И в первый раз за эту ночь она улыбнулась. Тонко и холодно улыбнулось, став неузнаваемой, как отражение в зеркале, когда в него смотришь слишком долго.

— Завтра, — прозвучал её голос, которого в действительности не было.

И в одно мгновение ночь задёрнулась непроглядным покрывалом.

***

Волконский проснулся в мокрой простыне. Под собой он обнаружил не сперму — нет. Он обнаружил тишину внутри себя. Впервые за много лет голод, который гнал его мастурбировать дважды в день, исчез. Игорь Петрович был сыт. Но сытость эта показалась ему страшнее голода, потому что испытанное ночью было исчерпывающим и теперь требовало нового наполнения.

Он подошёл к зеркалу и посмотрел себе в глаза.

— Кто ты был прошлой ночью?

Отражение не ответило. Но в углу комнаты, на том месте, где сидела она, всё ещё висела в воздухе едва заметная рябь — как после брошенного в пруд камня.

И Волконский понял: она вернётся, и он будет ждать.

***

День тянулся как резина.

Волконский не пошёл на работу. Не потому, что не мог, а потому что забыл, зачем туда ходить. Он сидел в кухне, пил остывший кофе и смотрел туда, где утром висела рябь *её* присутствия.

Он не мастурбировал. Впервые за двадцать лет — ни разу за день.

Не хотелось. Тело молчало. Не требовало, не ныло, не подталкивало. Оно *помнило*. И это воспоминание было плотнее любой плоти. Каждый нерв, каждая клетка хранили ту ночь: её предплечье под его пальцами, нулевой запах, улыбку в темноте.

«Завтра», — сказала она.

Он ждал. Не как маньяк, не как подросток перед первым свиданием. Он ждал как человек, которого приговорили к казни — а потом помиловали в последнюю секунду, и теперь он не знает, куда деть эту бешеную, нечеловеческую благодарность.

Вечером он лёг в кровать не раздеваясь. Трусы, футболка — неважно. Она бы пришла и сквозь скафандр… Закрыл глаза, долго ворочался. Потом наконец провалился — не в сон, а в *ту самую* чёрную воду, которая поднялась вчера от пола.

И открыл глаза.

Она уже была здесь. Как Хари в «Солярисе» Лемма, подумал он. Она взялась ниоткуда. Он моргнул и словно стряхнул движением век картину, сдёрнул что-то в пространстве, явив для себя эту женщину.

Она стояла у окна. Не прислонясь, не облокотившись, она просто *стояла*, как будто её поставили туда минуту назад и забыли. Лунный свет проходил сквозь неё, но не рассеивался, он *задерживался* в её коже, делая её чуть светящейся, как фарфор с подсветкой изнутри.

Волконский сел на кровати. Сердце не стучало — оно *пело*.

— Ты пришла, — сказал он и ощутил глупою радость от своих слов.

Она повернула голову. Медленно. Так в одном из недавних снов поворачивалась башня танка — угрожающе, но беззвучно, поворачивалась и направляла на Волконского жерло ствола, полное вязким металлическим блеском. Глаза те же: огромные, влажные, пустые. Но сегодня в пустоте этой Волконскому почудилось что-то новое.

Не любовь. Не страсть. Не узнавание. Возможно, *привыкание* к ней? Человек необыкновенно быстро привыкает к присутствию некоторых вещей и людей, иногда почти сразу сливается с ними, превращая их в свою собственность… или становясь их собственностью

Женщина молчала, не отрывая взгляда от Волконского. Ему показалось, что она прошептала: «Да, это снова ты. И что?»

Он встал. Сделал шаг. Второй. Протянул руку — и на секунду испугался, что она исчезнет, как исчезают утренние сны, если посмотреть на них слишком прямо, требуя от них настоящести и понятности.

Она не исчезла. Его пальцы упёрлись в её живот. Твёрдый, плоский, напряжённый — как у гимнастки в момент стойки. Но под пальцами *вибрировало*. Не дрожь, не пульс — тихая, ровная вибрация, как у работающего трансформатора в отдалении.

— Можно? — спросил он.

Не ответила. И это был ответ…

Он целовал её плечи, шею, грудь — но сегодня не спешил. Сегодня он хотел понять, осознать. Его пальцы скользили по её рёбрам, по животу, ниже, к бёдрам — и везде находили одно и то же: *эластичность без податливости*. Она не уступала, не прогибалась под ним, не отдавалась, но и не сопротивлялась. Её тело было как воздух в жаркий полдень — плотный, упругий, но не осязаемый, не имеющий границы.

И тогда он опустил руку ниже. Вниз. В *то самое* место, которое вчера приняло его без единого звука. Он ожидал влажности. Ожидал скользкости. Ожидал хоть чего-то знакомого — того, что было у всех женщин до неё. Но там не было ничего из этого.

Её лоно оказалось… иным. Не влажным, не сухим, не горячим, не холодным. Оно было *упругим*, как натянутый шёлк, но не барьером — *входом*. И когда его палец вошёл внутрь — медленно, почтительно, — он почувствовал то, что не смог бы выразить словами. Ни чувства, ни ощущения не поддавались описанию.

Плоть её была как застывшая волна. Не мышцы, не слизистая поверхность — нечто среднее между очень плотным облаком и жидким камнем. Она не сжимала его палец, но и не отпускала. Она *держала* его — нежно, безжалостно, вечно.

Второй палец. Третий. Она приняла все, не растягиваясь, не изменяя формы — просто *вместила*, как море вмещает корабль, не становясь меньше.

Волконский замер. Не от страха. От *потрясения*.

— Что ты такое? — прошептал он.

Она смотрела на него. Пустота в её глазах наполнилась вдруг — не теплом, нет — *интересом*. Как у кошки, которая решила, что мышь

достаточно поиграла, и пора бы её съесть.

Игорь вошёл в неё набухшим, затвердевшим членом.

Первое движение… И мир *исчез*.

Он ожидал вчерашнего — глубокого, тёплого колодца, в который приятно падать до самого дна. Но сегодня дна не было. И колодца не было. Была волна. Она родилась где-то в его копчике — или в её матке, он уже не различал — и медленно, сладко, невыносимо медленно поползла вверх по позвоночнику. Это не было похоже на оргазм. Оргазм — это укол, взрыв, короткое замыкание. А это была музыка, которая играет саму себя, и ты не можешь её остановить, и не хочешь, и она нарастает, нарастает, нарастает, но не обрывается, а всё длится и длится, становясь громче, глубже, слаще, пока ты не понимаешь, что это не волна. Это *океан*.

Он двигался в ней. Или она в нём. Или они оба двигались в чём-то третьем, огромном, тёмном, ласковом, что не имело названия. Оргазм пришёл не как финал. Он пришёл как *начало*. Волконский кончил — и не остановился. Потому что волна не остановилась. Она продолжала катиться, набирая высоту полёта, и через несколько секунд он кончил снова. И снова. И снова.

Это происходило не спазмами, не рывками, а долгим, непрерывным таянием**,** как будто его тело было восковой свечой, а её тело — огнём, и он горел, но не сгорал, и наслаждение было таким плотным, что граничило с болью — но боль была сладкой, и он хотел ещё.

— Не останавливайся, — прошептал он. — Пожалуйста. Не исчезай.

Она не ответила. Но её руки — впервые за две ночи — легли ему на спину. Они не обнимали, не прижимали. Её руки просто легли на него, скользнули, как две живые змеи, которые знают, где находится сердце.

И тогда он понял.

Оргазмы продолжали накатывать — десятый? двадцатый? сотый? — но между ними, в крошечных щелях тишины, успевало проскользнуть знание. Это знание росло прямо из плоти, из того места, где их тела сливались в одно.

«Она вовсе не даёт мне удовольствие. Она и есть удовольствие. Она — это я. Каждый вздох, который я делаю внутри неё, это мой собственный вздох. Каждый оргазм — это моя мысль, ставшая телом».

Волконский открыл глаза. Она смотрела на него — и в её пустых глазах он увидел себя. Своё отражение. Свой рот, открытый в беззвучном

крике не то восторга, не то страха. Свои пальцы, вцепившиеся в её бёдра. Свою бесконечную, нечеловеческую жажду.

«Она рождает мои желания. Она не отвечает на них, она их создаёт из себя, как паук выделывает паутину. И возвращает мне. Потому что она не женщина. Она — зеркало. Но не из стекла. Из живой плоти».

Он едва не задохнулся от понятого только что смысла происходящего. И в тот же миг новая волна накрыла его с головой, и он забыл всё, кроме одной мысли: это не должно закончиться.

***

Она ушла, когда за окном начал пробиваться серый утренний свет. Ушла без прощания, без единого звука. Просто её тело стало прозрачным, потом ещё прозрачнее, а потом его не стало. На простыне осталась только вмятина, чуть тёплая.

Волконский лежал на спине, уставившись в потолок. Его тело дрожало, как после долгой болезни. Он был мокрый от пота. Под ним — огромное влажное пятно, пахнущее *им самим* — его собственным запахом, но усиленным, концентрированным, доведённым до абсурда.

Он не мог шевельнуть пальцем.

И не хотел.

Внутри него — там, где раньше сидел голод, — теперь зияла тишина. Но не пустая. Наполненная**.** Настолько полная тишина, что это было страшнее пустоты.

Он закрыл глаза и прошептал в темноту:

— Ты вернёшься сегодня?

Ответа не было. Но он знал: да.

Потому что она — это он. А он никогда не мог отказать себе в удовольствии.

***

Он проснулся в полдень. Тело было лёгким, как у человека, который месяц провёл в санатории. Ни ломоты, ни тяжести — только приятная, текучая истома в паху, в пояснице, напоминавшая о ночи. Волконский потянулся, улыбнулся чему-то своему и встал.

В ванной он долго стоял под струями горячей водой, рассматривая собственные пальцы. Те самые пальцы, которые были внутри неё. Ничего особенного — обычные мужские пальцы, чуть длинноватые, с аккуратными ногтями. Но сейчас они казались ему священными.

Он неторопливо оделся. Белая рубашка, серые брюки. В зеркале прихожей он поймал себя на том, что поправляет волосы — небрежно, но с какой-то новой, незнакомой ему самостью. Раньше ему было всё равно, как он выглядит. Ему было *внутри* интереснее. Сейчас он хотел быть красивым. Даже не для неё — для себя. Чтобы соответствовать.

На работу он поехал с опозданием на три часа. Никто не спросил — он был свой, эксперт, которого боятся трогать. Весь день он перебирал бумаги, отвечал на письма, кивал коллегам, но мысли его были там — в спальне, на мятой простыне, в том месте, где её тело становилось прозрачным на рассвете.

А потом, где-то около пяти, он достал телефон и нашёл в контактах «Лена».

Они не виделись полгода. Хорошая женщина. Вкусная. С ней было легко — она не требовала подвигов, не проверяла на прочность, не пыталась залезть в душу. Просто секс. Иногда — уютное молчание с бокалом. Иногда — завтрак, который она готовила быстрее любой другой.

После минутного колебания он набрал сообщение:

«Лен, привет. Давно не виделись. Может, сегодня заскочишь? Посидим, выпьем».

Ответ пришёл сразу:

«Игорь? Неожиданно. Давно ты не звонил. А что за повод?»

«Соскучился».

Три точки. Долгие. Потом:

«Ладно. В восемь?»

«Жду».

Он убрал телефон и почувствовал странный холодок где-то в груди. Не страх. Предвкушение? Нет, что-то другое. Какое-то раздвоенное чувство, будто он только что заключил сделку, условия которой понятны только одной стороне. Он не знал, зачем позвал Лену. Он ведь не соскучился. Может быть… чтобы проверить что-то или подтвердить себе, что он ещё способен на обычный, человеческий, несонный секс. А может, чтобы она увидела ЕЁ? Чтобы был свидетель его сумасшествию, если это вдруг сумасшествие, а не сон?

Он попытался отогнать эту мысль, но она прилипла, впиталась в мозг, пульсировала в голове постоянным фоном.

***

Лена пришла ровно в восемь, принесла бутылку красного, впрочем, Волконский тоже купил. Рассмеялись, поцеловались в щёку, не как любовники, а по-дружески, легко и беззаботно. Лена была в коротком платье цвета пыльной розы, с открытыми плечами. Волосы собраны в небрежный пучок — она знала, что Игорю нравится эта ложная небрежность.

— Ты прекрасно выглядишь, — сказал он. И правда: Лена была из тех женщин, которые хорошеют к тридцати пяти. В ней появилась та спокойная, сытная естественная красота, не требующая новомодных средств для её подтверждения.

— А ты похудел, — ответила она, оглядывая его. — И взгляд… странный.

— Какой?

— Не знаю. Более живой, что ли. Раньше ты был как хороший компьютер — всё работает, но без души. А сейчас… — она на секунду замялась, — сейчас ты будто влюблён.

Он усмехнулся, но ничего не ответил. Разлил вино.

Разговор не клеился с первой минуты. Говорили о работе, о новых фильмах, о знакомых, которые развелись или женились. Лена шутила, он улыбался, но слова пролетали мимо, как ветер. Он смотрел на неё, а видел другую. Сравнивал. Губы Лены — тёплые, обычные, с едва уловимой помадой. Грудь Лены — упругая, живая, с крохотной родинкой возле соска. Шея Лены — с едва заметной очаровательно пульсирующей жилкой.

Всё это было реальным, хорошо знакомым и от этого казалось почти чужим. Он *тут* был, ходил, смотрел, вдыхал и мог бы ещё не раз прийти по привычке к хорошо знакомым уголкам её тела. Лена легко возбуждала его, и он возбуждался, но это всё по-привычке, почти механически.

К концу второго бокала он понял, чего хочет: он хотел увидеть, как *она* — та, без имени — войдёт в комнату, пока он будет с Леной. Он хотел, чтобы две реальности столкнулись. Чтобы граница между сном и явью лопнула.

Он взял Лену за руку.

— Пойдём, — сказал тихо.

Она улыбнулась, допила вино и поднялась, послушно следуя

за движением его руки…

Он раздевал её медленно. Как когда-то — в прошлой жизни, до первой ночи, когда их первое свидание было полно новизной и ожиданием, хотя в действительности всё было известно и предсказуемо. Пуговица за пуговицей, ткань за тканью. Лена помогала, чуть прикрываясь — ложная скромность, игра в ритме флирта с влажными поцелуями, которые должны были разогреть Игоря. Он послушно заводился, но где-то на периферии сознания чувствовал, что это дежурное возбуждение, старая привычка, а не настоящий голод.

Лена легла на спину. Свет был приглушён — торшер в углу, тёплый, оранжевый.

— Иди ко мне, — позвала она. Дежурные слова, означающие готовность.

Он склонился над ней, провёл рукой по её животу, бёдрам, скользнул пальцами внутрь. Она была влажная — уже влажная, готовая. Хорошее тело, щедрое, настоящее. Он поцеловал её в шею.

И в тот же миг почувствовал холод…

Он шёл не от окна. Не от двери. Он шёл из угла комнаты — оттуда, где в первую ночь сидела Она. Волконский поднял глаза.

Она была здесь.

Стояла в трёх шагах от кровати. Вся в лунном свете — хотя луны за окном не было. Такая же: тёмные волосы до пояса, кожа цвета молока с каплей утреннего неба, огромные поглощающие глаза. Только сегодня она была не обнажена. На ней было длинное платье — белое, льняное, такое, в каком хоронят или венчают. Волконский не мог различить.

Она смотрела на него. Потом на Лену. Потом снова на него.

И улыбнулась. Тонко. По-змеиному.

— Игорь? — Лена пошевелилась под ним. — Ты замер?

— Нет, — выдохнул он. — Всё хорошо.

Он продолжал целовать Лену, но глаза его были прикованы к ней — к той, в белом. Она сделала шаг. Один. Второй. Её босые ступни не касались пола — парили в миллиметре от паркета.

Лена напряглась.

— Игорь, — сказала она тихо, — здесь… здесь кто-то есть.

— Нет, — солгал он.

— Я чувствую. Кто-то дышит. Прямо возле меня. — Она приподнялась на локтях, испуганно оглядела комнату. — Что это?

Та, в белом, стояла уже у изголовья. Её рука — длинная, бледная, с идеальными пальцами — медленно потянулась к шее Волконского.

Он не отстранился.

Она обвила его шею сзади. Обеими руками. Не сильно — почти невесомо. Но это прикосновение было плотнее телесного мира. Ткань реальности лопнула, и сквозь щель хлынуло то, что он помнил: вибрация, текучесть, колодец без дна.

Волконский задрожал. Не от страха. От блаженства**.**

— Игорь? — Лена смотрела на него с недоумением, граничащим с испугом. — Ты дрожишь. Что с тобой?

Он не мог ответить. Его пальцы всё ещё лежали на ложе Лены — влажном, тёплом, человеческом — но он не чувствовал Лену. Чувствовал только Ту, что обвила его шею. Ту, чьё дыхание — невидимое, бесшумное — сейчас касалось его затылка.

Лена дёрнулась.

— Ты смотришь не на меня, — сказала она. — Ты смотришь… туда. — Она показала рукой в пустоту. — Там кто-то есть. Я же говорю, там кто-то дышит! Что тут? Что, чёрт возьми, происходит, Игорь!

Она уже кричала во весь голос, хватая свою одежду, сваленную на кресле.

Волконский не пытался её удержать. Он уже не был в этой комнате. Он был *там* — в пространстве между её (той, в белом) руками, в её глазах, в её теле, которое сейчас открывалось ему настежь, как дверь в храм.

Лена села на край кровати, быстро натянула трусы, застегнула лифчик. Дрожащими руками застегнула платье. А он — он не замечал. Он повернулся к пустоте, обнял кого-то невидимого и припал губами к чьей-то невидимой шее.

— Игорь! Игорь, ты меня слышишь? — Лена встала, надела туфли на босу ногу. — Игорь!

Он что-то прошептал. Лена не разобрала слов, но интонацию узнала — так говорят, когда любят. Когда забывают про всё на свете. Когда другой человек становится воздухом.

— Ты сошёл с ума, — прошептала она испуганно. — Ты совсем сошёл с ума.

Она бросилась к двери и уже взялась за ручку, когда что-то заставило её обернуться.

То, что она увидела, осталось с ней навсегда.

Волконский лежал на кровати… Нет, он не лежал, он *парил*. Его тело изгибалось в неестественной, но при этом до боли красивой позе — как у человека, которого держит невидимый любовник. Его глаза были закрыты, губы приоткрыты, на лице — выражение абсолютного, нечеловеческого блаженства, которое не бывает у живых. Его бёдра двигались — медленно, ритмично, — и Лена, сама не понимая как, поняла: он занимается любовью. Не с ней. С кем-то другим. С кем-то, кого она не видит, но кто — она была в этом уверена — находится здесь, в этой комнате, здесь, возле него, и дышит, и желает, и *берёт*.

Игорь что-то прошептал. Она уловила только одно слово — или ей показалось? — «вечность». Потом он улыбнулся. Той улыбкой, которой не улыбаются женщинам. Которой улыбаются только смерти или Богу.

Лена выбежала.

Дверь хлопнула.

***

Волконский даже не услышал этого хлопка.

Он был внутри неё — той, чьё имя не имело значения. Её волосы падали на его лицо, её руки гладили его спину, её глаза — огромные, влажные, уже не пустые — смотрели на него с чем-то, что можно было принять за любовь.

— Не уходи, — прошептал он.

Она не ответила. Но её бёдра дрогнули — впервые, впервые она *двигалась сама*. Не под него, не для него — *для себя*. И Волконский понял, что сейчас произойдёт нечто, чего не было даже в самые сильные их ночи.

Она исчезнет. Да, исчезнет. Но перед этим — оставит ему что-то. Что-то, что останется навсегда.

Его тело выгнулось дугой. Оргазм — нет, не оргазм, *потоп* — накрыл его с головой, и в этом потопе он кричал, и плакал, и смеялся, и шептал слова, которых не знал сам. А когда всё кончилось — когда комната снова стала просто комнатой, а простыня — просто мокрой тканью, — он открыл глаза.

Она ушла, оставив на его груди отпечаток своей ладони — розовый, чуть заметный, похожий на след от ожога. Или от поцелуя.

Волконский прижал руку к этому месту и закрыл глаза.

«Завтра, — подумал он. — Завтра она придёт снова. И на этот раз я никуда не пойду. И никого не позову. Только мы».

Он улыбнулся в темноту.

***

Он проснулся в одиннадцать. Солнце било сквозь неплотные шторы, и комната казалась чужой — плоской, обесцвеченной, лишённой той глубины, которая приходила вместе с Ней. Волконский потянулся к груди. След женской ладони был ещё там — розовый, чуть заметный, но не исчезнувший. Он провёл по нему пальцами и почувствовал лёгкое тепло.

— Ты здесь? — спросил он в пустоту.

Ничего.

Он встал, прошёлся по комнате. Остановился у того места, где она стояла в прошлую ночь — у изголовья кровати. Пол был холодным, обычным. Ни следа, ни вибрации. Тогда он сделал то, чего не делал никогда: позвал её днём.

— Приди, — сказал он вслух. Не громко, но отчётливо. — Я знаю, ты меня слышишь.

Ничего.

Он закрыл глаза и представил её — каждую деталь: молочную кожу, тёмные волосы до пояса, пустые влажные глаза. Представил так сильно, что у него заломило в висках.

— Приди.

Она появилась в углу комнаты — там же, где в первую ночь. Но совсем не такая. Она была прозрачной, как стекло, в которое ударил свет. Сквозь неё просвечивали обои, сквозь плечи — оконная рама. Очертания плыли, края распадались. Она стояла, но уже не стояла — *таяла*, как дым, как утренний туман над рекой, как голограмма, у которой кончилось электричество.

Волконский шагнул к ней, протянул руку. Пальцы прошли сквозь её грудь. Ничего. Ни упругости, ни вибрации, ни того сладкого колодца. Только лёгкое, едва ощутимое дуновение — словно где-то далеко открыли дверь.

Она улыбнулась. И растаяла.

Он задёрнул шторы. Плотно, до щели, до полной темноты. Включил торшер — тот самый, оранжевый.

— Теперь выходи, — сказал он.

Она появилась снова. На этот раз плотнее, отчётливее. Уже не голограмма — скорее рисунок на воде, который вот-вот рассыплется, но пока держится. Её лицо было тем, что он помнил: огромные глаза, чуть приоткрытый рот. Но в глазах не было ни пустоты, ни интереса. В них была усталость**.** Или то, что он принял за усталость.

Она стояла у кровати и не двигалась.

Волконский подошёл. Осторожно, как к дикому зверю, коснулся её плеча.

Пальцы утонули в ней, но не встретили сопротивления, не встретили *ничего*. Это было похоже на то, как если бы ты опустил руку в очень густой туман — ощущение есть, но границы нет.

— Ты настоящая? — прошептал он.

Она не ответила. Её губы шевельнулись, но без звука. Или звук был, но на другой частоте, недоступной его уху.

Тогда он открыл окно.

Рывком, широко. В комнату ворвался уличный шум — далёкие гудки, детский крик, шелест шин по мокрому асфальту. Ветер дёрнул шторы, и солнечный свет ударил в лицо Волконскому.

Она исчезла.

Мгновенно. Не растаяла, не побледнела — просто перестала быть. На том месте, где она стояла, осталась только чуть примятая простынь — может, от его собственных шагов.

— Нет, — выдохнул он.

Закрыл окно. Снова задёрнул шторы. Снова позвал.

Ничего. Тишина. И пустота, которая теперь ощущалась физически — как недостаток воздуха в герметичной комнате.

***

Она пришла, когда часы на тумбочке показали два после полуночи.

Волконский не спал. Он лежал на спине, глядя в потолок, и ждал. Без надежды, без страха — просто ждал, как ждут поезда, который может и не прийти.

И она пришла. Медленно, не из угла — из самой темноты. Из воздуха. Она *собралась* из ничего — сначала контур, потом плоть, потом цвет. Волконский смотрел и не дышал. Она была наполненой. Идеальной. Такой, как в первую ночь. Молоко и утреннее небо, волосы до пояса, пустота в глазах, которая теперь не казалась ему пустотой. Она казалась ему правдой.

Она села на край кровати. Её рука легла на его грудь — прямо на розовый отпечаток. Пальцы были тёплыми, живыми, *настоящими*.

— Почему ты исчезаешь днём? — спросил Волконский. Голос его был ровным. Слишком ровным.

Она посмотрела на него. Долго. Влага в её глазах не шевелилась — стояла неподвижно, как янтарь.

А потом она ответила. Не голосом ответила, не движением губ. Она ответила прямо в его мозг — тихо, отчётливо, безжалостно, как диагноз:

— Потому что меня нет.

Волконский замер.

— Как это — нет? Ты здесь. Я тебя трогаю.

— Ты трогаешь себя.

Она не шевелила губами. Не меняла выражения лица. Но слова — или не слова, а чистые смыслы — входили в него, как вода в песок.

— Меня нет, Игорь. Есть только ты. Твоё желание, твоя фантазия, твоя потребность в абсолютной свободе. Я — это ты. Твоё тело, которое ты так хорошо знаешь. Твоя рука, твой ритм, твой оргазм. Я — зеркало. Но не из стекла, а из твоей собственной плоти.

Он хотел закричать. Или заплакать. Или схватить её за плечи и трясти, пока она не скажет, что это неправда.

Но она опередила. Её рука скользнула ниже — по его животу, по бёдрам — и он почувствовал *то самое*. Вибрацию. Колодец. Волну, которая ещё не родилась, но уже обещала потоп. И в этом обещании он понял, что она права.

Ни одна женщина не могла дать ему это. Потому что ни одна женщина не была ***им***. Ему не нужен был Другой. Ему нужен был он сам — в идеальной, отретушированной, безопасной форме. И он создал эту форму. Вылепил из своей тоски, из своего недоверия, из своей неспособности расслабиться в присутствии живого человека.

Она была его шедевром**.**

И его смертельной ошибкой**.**

— И что же? Я сам тебя создал? — спросил он.

— Ты.

— Значит, у тебя нет своей воли?

— Нет.

— Своих границ?

— Только те, которые ты мне дал.

— Своего удовольствия?

Она помолчала. Её пустые глаза вдруг наполнились — не теплом, не гневом, а чем-то, что он не мог назвать. Жалостью? Стыдом?

— Моё удовольствие — это твоё удовольствие. Я не умею хотеть. Я умею только отражать.

Волконский закрыл глаза. Когда он открыл их снова, она всё так же сидела на краю кровати — прекрасная, невозможная, идеальная.

И абсолютно… родственная, не чужая… Потому что чужим может быть только тот, у кого есть своя воля. Кто может сказать «нет». Кто может уйти не потому, что ты перестал хотеть, а потому, что *она* захотела по-другому.

А она не могла. Она была послушна. До конца. До ужаса.

— Уйди, — сказал Волконский.

Она не шевельнулась.

— Я сказал — уйди**.**

Она исчезла. Мгновенно, как по команде. Потому что он приказал. Потому что она не могла ослушаться.

И в этой мгновенности было всё. Он был один. В пустой комнате. С отпечатком её ладони на груди, который теперь казался ему не поцелуем бога, а клеймом раба**.**

Он был рабом собственного одиночества.

****

Он перестал мастурбировать. Не усилием воли — просто желание ушло. Как уходит вода из треснувшей ванны. Сначала медленно, потом быстрее, а потом остаётся только мокрый налёт на дне.

Первые три дня он ещё помнил её — ждал по ночам. Она не приходила. Он понял: она придёт только тогда, когда он *захочет* её по-настоящему. Не так, как хотят женщину — а так, как хотят наркотик, как хотят забытья, как хотят *исчезновения*.

Но этого хотения больше не было. Внутри него образовалась чёрная дыра — не голодная, а *сытая*. Сытая тем, что он наконец узнал правду.

Лучше быть брошенным живой женщиной, которая уходит, хлопнув дверью. Потому что в этом хлопке есть она — её воля, её «нет», её жизнь.

А здесь не было ничего. Только он. И его отражение.

На седьмой день он понял, что либидо умерло. Тело стало чужим — послушным, тихим, ненужным. Он ел, спал, ходил на работу, отвечал на звонки. Но внутри не было даже пустоты. Было ничто**.**

***

Он сидел перед большим телевизором. Голый. Не из эксгибиционизма — просто одежда вдруг стала бессмысленной, как всё остальное.

На экране шло красивое порно. Дорогое, эстетичное. Стройные женщины с длинными ногами, гибкие, как ивы. Изящные движения, крупные планы лиц, рук, ног, свет, музыка. Всё, что ещё месяц назад заставило бы его сердце биться чаще, а дыхание — сбиваться. Волконский смотрел на экран так же, как смотрел на стену или на собственные пальцы. Тело молчало. Ни намёка на возбуждение. Он провёл рукой по животу и по груди — след женской ладони исчез три дня назад, оставив чистую, гладкую кожу. Как будто ничего не было. Как будто всей этой истории — не было.

Он потянулся к пульту. Нажал «выключить». Экран погас. Комнату залил серый свет пасмурного дня, но на чёрной поверхности телевизора осталось кое-что ещё — отражение Волконского.

Игорь Петрович смотрел на себя. На своё уставшее лицо, на запавшие глаза, на голые плечи, на руки, безвольно лежавшие на коленях. Он был один. В комнате один, в своём теле один, в своём молчании один. Никто не дышал рядом. Никто не смотрел на него из угла. Никто не обвивал его шею невидимыми руками. И он понял окончательно, бесповоротно, так, как понимают только перед самым концом:

— Я боялся, что меня не примет полностью ни одна женщина, ни один другой человек. — Его губы шевелились едва заметно, голос звучал едва различимым шёпотом, но в тишине комнаты Волконскому показалось, что он громко крик. — Теперь я знаю: страшнее, когда другого нет вообще.

Телевизор молчал. Отражение не ответило. Волконский закрыл глаза.

За окном начинался обычный вечер. Где-то гудели машины, где-то смеялись дети, где-то двое занимались любовью — неидеальной, неэстетичной, с чужими запахами и случайными звуками. Живой. А Волконский сидел перед мёртвым экраном и учился дышать заново — в мире, где не было никого, кроме него самого.

20—25 мая 2026

[1] От греческого autos (сам) и philia (любовь, влечение). В сексологии этим словом иногда обозначают человека, который испытывает сексуальное влечение к самому себе или предпочитает самоудовлетворение партнёрскому сексу. Этот термин акцентирует именно наслаждение собственным телом и процессом, но без негативной окраски нарциссизма.

Любовь

Мои чужие сны

Начну с главного: я не верю в перерождения. Я человек прагматичный, живу в мире графиков, бетона и холодного света монитора. Я люблю вечерами ходить в шумные клубы, знакомиться с женщинами. Иногда мне хочется выбраться на природу, чтобы отдохнуть от этих клубов, их грохота, их многолюдности. Но это иногда. Я не представляю жизнь без большого города, без моей работы, которая, конечно, неинтересна, но необходима мне лишь потому, что обеспечивает меня деньгами, которые позволяют мне жить так, как мне нравится.

Но однажды ночью началось то, что стало выворачивать мою реальность наизнанку… Я стал видеть странные сны. И это не расплывчатые образы или обрывки фраз. Это жизнь. Чужая жизнь, которая втискивается в мою голову с безжалостной чёткостью звуков и визуальных образов.

Я вижу Египет. Не открыточный, с верблюдами и пирамидами из фильмов. Я вижу его пугающе странным, настоящим, осязаемым…

Я сижу на троне из золота и синей керамики, камень под ладонями шершавый и нагретый солнцем до боли. Я ощущаю тяжесть головного убора с золотым изображением кобры над моим лбом, я ощущаю эту тяжесть как живой холодок, сползающий по переносице. Воздух жаркий, но золото на головном уборе прохладное. Мне хорошо знакомо его прикосновение к коже. Я хорошо знаю, каким маслом пахнут тела слуг и какими ароматами насыщен воздух дворца. Я знаю, как пахнет Нил в разлив: тина, влажная глина и сладковатый запах гниющих лотосов. Я знаю, как звучит тишина в моём огромном дворце, нутро которого спрятано в тени от изнуряющего египетского зноя.

***

Меня зовут Эхнатон.

Я просыпаюсь с этим именем на языке, и оно скребёт по горлу, как

инородное тело, как осколок камня. Я вижу свои руки — тонкие, почти прозрачные, с неестественно длинными пальцами. Я чувствую своё тело: оно постоянно болит. Голова раскалывается, шея не держит тяжесть моего удлиненного черепа, живот словно вздут, а бёдра кажутся тяжёлыми и чужими. Во сне я немощен. Но при этом я — бог. Верховный жрец. Царь. Мне, немощному, подчиняются все вокруг. Они не любят меня, но склоняются предо мной и глотают пыль, упав на землю и произнося моё имя.

Эхнатон…

Меня тревожит не то, что я вижу древний мир. Меня тревожит детализация страданий.

Я вижу лицо моей Нефертити. Она сидит рядом, когда я мечусь в жару. Её профиль — тот самый, знаменитый — но во сне он живой. Её голова наголо обрита, чтобы на людях моя супруга могла носить либо массивный парик, либо тяжёлый головной убор фараонов. Я вижу поры на её коже, излом тёмных бровей, трещинку на синей фаянсовой подвеске. Она берёт меня за руку, её ладонь сухая и горячая. Я слышу шёпот дочерей за спиной — Мекетатон плачет, Меритатон требует вина. Я слышу, как за стенами дворца, в городе Атона, кричит ишак. Не жрецы. Не боги. Ишак.

К чему мне эта достоверность?

Почему я, человек, который никогда не держал в руках ничего тяжелее кружки с кофе, во сне управляю колесницей? Мои пальцы помнят вожжи — тугую, плотную, гладко выделанную кожу ремней, заставляющую могучих коней повиноваться мне. Я знаю, как дышит лошадь перед галопом. Я помню, как пыль забивается в рот, когда едешь вдоль Нила, и как сладок глоток воды из бурдюка, когда солнце стоит в зените и плавит камни.

А самое страшное — это запах храма. Не тот, где жрецы Амона пахнут по́том и ладаном. А мой храм. Храм Атона. Там пахнет мокрой штукатуркой, свежими цветами (их меняют каждое утро) и… одиночеством. Потому что там никого нет. Никого по-настоящему. Все кланяются, но я чувствую спиной их страх, непонимание, несогласие и отторжение. Они лишь повинуются. Они не со мной.

Каждую ночь я проваливаюсь в тревогу за то, что я разрушил.

Я вижу таблички с письмами из Сирии. Рука дрожит, когда я читаю просьбы о помощи. Рыжие хетты идут с севера, предатель Азиру смеётся

мне в лицо. А я не могу послать войска. Моя рука не поднимается поставить печать под приказом убивать. И во сне я ненавижу себя за эту слабость. Я кричу в подушку из льна, пропитанную моим по́том, и знаю: там, за горами, убивают верных мне царей.

Каждую ночь я умираю.

По-настоящему. Я чувствую, как утопаю в вязкой темноте, как гаснет диск Атона, и остаётся только железный привкус во рту и полная тишина, где нет даже моего Бога...

***

Я просыпаюсь в моей квартире. Обычное утро. Будильник. Кофе. Свет. Но в затылке всё ещё живёт тяжесть чужого черепа, а на языке — вкус гимна, который никто больше не поёт. Никто не поёт его уже несколько тысяч лет, словно и не было этого гимна. Но я-то помню его мелодию, его слова, его голоса и заключённое в него божественное блаженство.

Я не знаю, зачем мне эти сны. Может быть, моя психика выбрала самый яркий исторический образ «одинокого реформатора», чтобы напомнить мне о моём собственном одиночестве? Может быть, я боюсь, что мои идеи никому не нужны, никогда и нигде? Может быть, это просто игра нейронов, случайно зацепившаяся за какую-то книгу или какой-то фильм? Я помню, какое сильное впечатление произвело на меня начало фильма «Мумия». Идиотский фильм, примитивный, предсказуемый во всём. Но начало... Какое выразительное начало! Какая выразительная египтянка с бездонными чёрными глазами! Однако это лишь фильм...

Но когда ночью я опять открою глаза внутри того тела, на том троне, в том городе, который скоро засыплет песком... я пойму одно: сны зовут меня не в прошлое. Они показывают мне настоящий, сегодняшний страх — страх быть непонятым, немощным и стать еретиком для всех, кого я любил. Этот страх невозможно выразить словами. Этот страх могущественнее вечности.

Поэтому я боюсь засыпать. Потому что не знаю, проснусь ли я завтра человеком с ноутбуком... или снова стану фараоном, которого история стёрла из картушей.

***

Я открываю глаза в моей постели. В моей квартире. В двадцать первом веке. Но это неправда. Потому что я помню. Я помню, как

засыпал там, в другой постели, которая тоже — моя... И там я не один. Там возле меня сидит в восхитительной грации она.

Она слишком близко. Никто не подходил так близко к фараону. Правила этикета запрещали. Но она — Нефертити — сидит на краю моего ложа, и её лицо в полуметре от моего. Я вижу прозрачную черноту её глаз. Они не карие, не чёрные в обычном смысле. Они — как глубокая вода в колодце, в который смотришь в полдень: снизу поднимается холод, а зрачок расширен так, что радужка исчезает. И в этой черноте отражается крошечный золотой отблеск — масляный светильник за моей спиной.

Её ресницы дрожат. Она не плачет. Царица никогда не плачет. Но этот микроскопический трепет — самое страшное, что я когда-либо видел.

Она протягивает руку. Я чувствую её прикосновение раньше, чем оно происходит — по движению воздуха, по сдвигу ткани на её плече, по тому, как фаянсовое ожерелье тихо звякает, коснувшись её ключицы. Её пальцы ложатся мне на лоб. Тонкие, нежные пальцы. Они внимательны, осторожны, они хотят помочь мне, снять с меня боль и печаль.

Кожа Нефертити. Я знаю, как она пахнет — миррой и чем-то сладким, вроде засахаренного финика. Её кожа лоснится, потому что день был жарким, и она не надевала сегодня парик. От неё исходит живое тепло. Не каменное. Не музейное.

Я чувствую, как её ноготь — чуть неровный, подпиленный пемзой — касается складочки у моей переносицы. Она проверяет, не разбита ли голова. Эхнатон часто падает. Его тело не слушается его. Даже во сне я помню этот ужас: иду по залу — и вдруг ноги становятся ватными, пол летит в лицо, и собаки во дворе начинают выть раньше, чем я ударяюсь.

— Спи, — шепчет она.

Я ощущаю её дыхание. На выдохе воздух проходит через её полуоткрытый рот, чуть влажный, и касается моей щеки. И я чувствую себя маленьким. Совсем не богом, не сыном Солнца. Просто больным мужчиной, которого держит за руку женщина, чьё лицо через три тысячи лет обнаружат в мастерской древнего скульптура и назовут шедевром.

Но этот шедевр дышит. И у него горячие ладони. Этот шедевр — она, этот шедевр — я, этот шедевр — мы. И боль ломает меня в каждом суставе моего тела. Боль убивает меня, нашёптывая мне страшное: я

не Бог.

Я поднимаюсь. Передвигаться трудно. Ноги толстые, тяжёлые, неповоротливые — не обман зрения, не стиль художника. Они действительно так выглядят. Живот выпирает вперёд, голова слишком тяжела, а шея тонка, как стебель высохшего лотоса. Я иду по Большому залу дворца в Ахетатоне. Моих сандалий почти не слышно. Но я слышу другое — отзвук шагов. Они не мои. Это отзвук шагов тех, кто прошёл здесь до меня. Я научился слышать время. Я научился слышать прошлое… Зал пуст. Уже почти ночь, слуги разошлись, оставив пару масляных ламп у колонн. И я иду один, и каждый мой шаг рождает слабое эхо — шаф-шаф-шаф — которое крадётся за мной от стены к стене, от колонны к колонне.

Колонны. Их тридцать шесть. Я знаю каждую. Они раскрашены в синий, зелёный, красный, жёлтый — краски такие яркие, что они даже при тусклом свете давят на глаза. На каждой колонне вырезаны стебли папируса, переплетённые с лотосами. Между ними — фигурки диких уток, которые взлетают вверх, к потолку, где никогда не будет темно, потому что художник нарисовал небо, и оно навсегда голубое.

Лунный свет падает сквозь высокие окна. Луна ложится полосами на полированный пол из известняка, и в этих полосах пляшут пылинки — медленно, важно, будто им тоже молятся.

Я останавливаюсь. Тишина. Но не полная. Где-то далеко, в женской половине дворца, хлопнула дверь — сухой, резкий звук акации о косяк. Где-то ещё дальше, за стенами, скрипнула телега: должно быть, ночной развоз хлеба. И сверху — с плоской крыши — донёсся приглушённый смех. Две служанки. Они думают, что я сплю. Они не боятся меня по-настоящему. Никто не боится. Они боятся моего имени, моего титула, но когда я прохожу мимо, я вижу, как они переглядываются, чуть заметно пожимают плечами, как будто говорят: «Он странный. Он говорит с Богом, которого никто не видел. Он запретил Амона. Но Амон был понятным». Я хорошо знаю этот взгляд. Это взгляд людей, которые решили переждать, перетерпеть моё присутствие, мою жизнь. Они чувствуют, что моя жизнь будет коротка. Самые опасные люди — те, которые хотят переждать. Они предадут в любой момент.

Я ложусь не спать — а просто закрываю глаза. Неожиданно рядом оказывается служанка. Я не слышал, как она вошла. У неё обритая, как у всех, голова — гладкая, сизоватая кожа под самым черепом, с едва

заметными порами. На ней только тонкая льняная накидка, почти прозрачная, потому что в Фивах жарко и душно даже ночью.

Она поправляет подушку под моей шеей. Её руки пахнут луком и тестом — она работала на кухне до того, как её позвали к Царю. Я замечаю, что свой парик — тяжёлый, чёрный, из настоящих человеческих волос, заплетённый в сотни косичек — она оставила у двери на каменном полу. Она бросила его небрежно. Они все так делают, когда уходят. Снимают эту тяжесть с головы, проводят ладонями по собственному затылку — блаженно, как после пытки — и только потом выходят. Когда они в париках, они — божественные слуги. А без них — просто девчонки с ободранными коленками и родинками на шее.

Однажды я вошёл в комнату раньше, чем они ожидали. И увидел, как они сидят в кружок на полу, лысые, почти голые, и едят виноград прямо с кисти, чавкая и смеясь. Некоторые из них раскрашивают голову: кто-то синей краской, кто-то — жёлтой, кто-то — красной. При дворе фараона это модно. Но некоторые не красят голову. Я вижу эти бритые головы. Я вижу служанок. Маленькая чернокожая девочка из Нубии чистит ногти осколком кремня. Старшая, та, что всегда чинно подаёт мне чашу, ковыряет в зубах деревянной палочкой.

Я замер за портьерой. Они меня не заметили. И я стоял и смотрел на них — настоящих, живых, уставших — и мне стало страшно. Потому что они были реальнее меня. Все они были реальнее…

***

Утром я просыпаюсь от света. Атон поднимается над восточными горами — и его первые лучи врываются в зал через решётчатые окна. Секунда — и мрачный зал вспыхивает.

Я вижу лучи. Не просто «свет». Я вижу, как они текут: молочно-золотые, густые, почти осязаемые. Они падают на красный гранит пола — и гранит вспыхивает изнутри. Лучи скользят по синему фаянсу настенных плиток — и фаянс начинает светиться, как небо на закате.

Колонны. Я подхожу к одной. Провожу пальцем по резьбе. Под пальцем — выпуклости, впадины, холодная краска, местами стёртая до камня. Где-то в трещинке застряла крошечная песчинка — из пустыни, которую ветер приносит каждое утро, несмотря на все мощные стены, которые мы возводим.

Луч падает на лицо статуи. Моё лицо. Стоящей у колонны статуи — меня. Того меня. Каменного. У каменного Эхнатона отколот нос —

отколот ещё при установке, неудачно уронили, и никто не решился сказать правду. Его просто повернули к стене. Я смотрю на себя — каменного, безносого, с отбитой подбородочной бородкой — и не знаю, кто из нас настоящий. Он — холодный и вечный. Я — тёплый и гниющий заживо...

***

Я пишу это сейчас. Утром. В своей обычной квартире. За окном — серый московский рассвет, с кухни доносится аромат кофе, а с улицы тянет мокрым асфальтом. Но всё ещё где-то глубоко в затылке живёт ощущение: кто-то стоит за дверью. Лысая служанка. Или Нефертити с её чёрными глазами. Или я сам. Тот, который не вышел из сна.

Простите за сумбур. Я просто очень боюсь сегодня лечь спать.

Потому что когда я закрою глаза — я открою их «там». Увижу трещины на золотой маске. Услышу, как дочери играют в кости в соседней комнате. Вдохну запах мирры, вспотевший тел, старого вина и цветущих фиников. И Нефертити наклонится ко мне близко-близко. И я снова увижу чёрную бездну в её живых глазах. И она скажет:

— Ты всё ещё не понял, зачем ты здесь, Эхнатон?

И я не смогу ответить, потому что во сне я не помню, кто я на самом деле.

Во сне я — сон.

А она — настоящая.

Я пробуждаюсь после её слов, потрясённый. Я вижу современный город, вдалеке сверкают многоэтажные дома, небоскрёбы. Солнце, *моё* солнце сияет на их поверхности. И я не понимаю, почему я здесь, а не там, где моя возлюбленная Нефертити.

***

Я открываю глаза.

Её голос всё ещё звучит в моей голове. Не эхо — скорее вибрация, которая продолжает дрожать где-то в основании черепа, между шейными позвонками и тем местом, где заканчивается тело и начинается душа.

— Ты всё ещё не понял, зачем ты здесь, Эхнатон?

Я лежу. Неподвижно. Боюсь пошевелиться. Потому что если я поверну голову влево — я увижу её. Знаю. Чувствую. Она всё ещё там, на краю моего ложа, её пальцы всё ещё на моём лбу, её дыхание всё ещё касается моей щеки.

Я поворачиваюсь. Пустота. Простыня смята. Но не так, как если бы на ней сидели — а так, как если бы кто-то только что встал. Есть вмятина. Лёгкая. Чуть тёплая. Я протягиваю руку и касаюсь этой вмятины. Ткань — хлопок, дешёвый, машинного плетения — хранит отголосок тепла. Но чьего? Её? Моей собственной? Я уже не различаю.

— Нефертити, — шепчу я.

Голос хриплый. Не мой. Не тот, которым я говорю с коллегами, с кассиром в магазине, с самим собой перед зеркалом. Это голос человека, который только что молился богу, которого никто не видел. Это голос царя, который проиграл всё.

Я сажусь на постели.

***

За окном — рассвет. Но не тот рассвет.

Я привык видеть, как Солнце-Атон поднимается над восточными горами: сначала розовая полоска на чёрном небе, потом золотой край диска, потом ослепительный взрыв света, от которого слезятся глаза, и тени становятся чёткими, как лезвия ножей.

Здесь — всё иначе. Здесь рассвет пробивается сквозь стеклопакеты, отражается от линз моих очков на тумбочке, лениво сползает по бежевым стенам. И за окном — не пустыня. Не горизонт, за которым ничего нет, кроме скал и гробниц. За окном — город.

Не город Атона. Не Ахетатон, где я строил храмы для невидимого Бога. Другой город. Чудовищный. Прекрасный. Мёртвый. Я вижу многоэтажные дома. Нет — исполины. Они уходят в небо так высоко, что у меня кружится голова, когда я смотрю на их вершины. Стекло и бетон. Миллионы окон, в каждом из которых сейчас, в этот самый миг, отражается солнце.

Моё солнце.

Атон.

Атон сияет на их поверхностях, он преломляется на тысячах граней, множится отражениями на стёклах. Он — повсюду. Но никто не кланяется. Никто не поёт гимны. Люди внизу идут по асфальту с бумажными стаканчиками в руках, пьют кофе на ходу, солнце слепит их, и они щурятся, но не падают ниц.

Они не знают.

Я смотрю на этот город с высоты двадцать первого века. С высоты моего этажа — седьмого, кажется. Или восьмого. Или какого-то другого,

потому что цифры на лифте выцвели. И у меня перехватывает дыхание. Не от высоты. От невозможности.

Как я здесь оказался? Откуда я здесь?

***

Я помню запах мирры на её шее. Я помню, как она гладила меня по голове, когда у меня начинался припадок, и её голос звучал где-то очень далеко, как будто она звала меня из другого мира. Я помню, как моя ладонь лежала на её бедре — через тонкий лён — и я чувствовал тепло её кожи, которое пробивалось сквозь ткань, и это было единственное тепло, которого я не боялся.

А теперь — небоскрёбы. Сияющие. Холодные. Прекрасные.

У меня на глазах выступают слёзы. Я не плакал там. Никогда. Даже когда умерла Мекетатон. Даже когда пришло письмо, что Библ пал. Даже когда я понял, что Атон не слышит меня.

А здесь — плачу. Как ребёнок.

Потому что я не понимаю.

***

Я встаю. Ноги дрожат. Я подхожу к окну и прижимаюсь лбом к холодному стеклу. За стеклом — город. Машины, неоновые вывески, реклама. Человек в жёлтой куртке несёт коробку. Женщина с собакой говорит по телефону. Они не знают. Они никогда не узнают.

А я помню.

Помню, как целовал кончики пальцев Нефертити перед сном, потому что она поранила палец осколком алебастра, и я боялся, что начнётся заражение. В Египте от этого умирают даже царицы.

Я помню, как она смеялась — действительно смеялась, запрокинув голову, показывая ровные белые зубы — когда маленькая Анкхсенпаатон уронила кувшин с мёдом, мёд растёкся по полу, и в нём завязла кошка.

Я помню, как мы стояли на балконе дворца в Ахетатоне, и солнце садилось за западными горами, и она — моя единственная любовь — положила голову мне на плечо, и мы молчали. И тишина была такая полная, что слышно было, как бьётся её сердце.

А теперь — небоскрёбы.

Их тысячи. В каждом окне — чужая жизнь. Чужие сны. Может быть, кто-то из них тоже просыпается с чужим именем на губах? Может быть, где-то там, за три квартала отсюда, женщина в панельной девятиэтажке садится на кровати и шепчет: «Эхнатон» — и не понимает, откуда взялось

это слово?

Я сильно тру глаза. В них песок. Мир за окном расплывается.

— Нефертити, — произношу я снова.

Громче.

— Что я здесь делаю?

Стекло не отвечает. Солнце поднимается выше. Лучи скользят по подоконнику, по моим пальцам, по забытой с вечера кружке с осадком кофе.

И вдруг — на секунду — мне кажется, что в отражении за моей спиной кто-то стоит. Смутная тень. Женская. С высоким синим париком, сдвинутым набок.

Я резко оборачиваюсь.

Никого.

Никого нет. Только смятая простыня, открытый ноутбук на столе и эта странная, необъяснимая тоска в солнечном сплетении — будто из меня вынули что-то важное. Как будто моё сердце осталось там. В тринадцатом веке до нашей эры. В городе, который лежит сейчас под песком, где археологи находят битые фаянсовые черепки и гадают, как нас звали.

Я сажусь на край кровати и опускаю голову в ладони, как в чашу.

— Зачем ты меня отпустила? — шепчу я.

Не ей шепчу. Себе. Потому что я не знаю, кто проснётся завтра. Я. Или фараон, которому снятся бетонные джунгли и летающие птицы из металла. Она сказала: «Ты всё ещё не понял». Она была права. Я не понял. Но я хочу вернуться. Хочу закрыть глаза и снова упасть в тот мир — в её объятия, в боль, в пыль на дорогах, в гимны, которые никто не слышит. Потому что там я был настоящим. Даже умирая. Даже проигрывая. Даже когда меня стирали из картушей, сбивали моё имя со всех стен дворцов и храмов.

Там я был, жил, чувствовал. А здесь я просто сплю. И жду, когда она снова придёт и скажет:

— Ты вернулся.

И я отвечу:

— Да. Навсегда.

Но потом звенит будильник. И я открываю глаза. И вижу потолок. И понимаю, что сегодня — опять сегодня. А не три тысячи лет назад.

И тихо ненавижу этот рассвет.

Я начинаю сомневаться в себе, потому что я не узнаю город, в котором проснулся. Я знаю, что это моё время. Но только на время моего пробуждения, где я — никто, один из многочисленных мелких менеджеров этого прожорливого гигантского мегаполиса. Но в действительности я Эхнатон. В действительности я живу в другом времени и другом пространстве и другой цивилизации. Золото сияет там, где я ступаю, пышные опахала колышутся над моей головой. Я строю новую страну. Строю новую религию, которая должна дать свет всему народу. Солнце — для всех.

Я не узнаю мой нынешний город.

Знаю, что это моё время. Двадцать первый век. Я знаю это по проводам, по пластику, по запаху бензина и перегретого асфальта после внезапного дождя. Я знаю это по отражению собственного лица в чёрном зеркале телефона — бледное, усталое, с мешками под глазами. Обычное лицо. Лицо человека, который вчера заполнял очередной однотипный отчёт.

Но сегодня я проснулся — и не узнал ничего.

Вышел на балкон. Обычный спальный район. Серые панельные башни, похожие одна на другую, как солдаты в строю. Машины припаркованы криво, газон вытоптан, на детской площадке ржавеют качели. Я смотрел на это утро и чувствовал: всё не так. Эти дома слишком низкие. Эти краски слишком блёклые. Это небо слишком плоское. Разве так выглядит мой мир?

Я закрыл глаза — и увидел другое.

***

Я стою на балконе. Но не на этом — бетонном, с треснувшей плиткой и вонючим мусоропроводом внизу. Я на другом балконе, в другом месте. На балконе дворца в Ахетатоне. Подо мной — город. Мой город. Я построил его из ничего. Из пустыни, из песка, из скал, которые резали как бритва. Я пришёл на это место, когда здесь не было ничего, кроме шакалов и колючек. И сказал: «Здесь будет дом Атона».

И он вырос.

Стены из белого известняка сияют на солнце так, что больно смотреть. Колоннады уходят вдаль, теряясь в мареве. Над храмами развеваются малиновые вымпелы — я вижу, как они трепещут на ветру, и слышу, как хлопает тяжёлая ткань. Золото. Золото повсюду. Оно не хвастовство — оно дыхание бога. Лучи Атона падают на крыши,

на шпили обелисков, на статуи, которые смотрят на восток и ждут рассвета.

Когда я ступаю по мраморным плитам, мои сандалии из кожи гиппопотама издают сухой, отчётливый звук. Ток-ток-ток. И каждый этот шаг — закон. Каждый этот шаг — приказ. Слуги замирают, ожидая моих слов. Воины опускают головы. Я не просто иду. Я прохожу, как солнце проходит по небу — неотвратимо, величественно. Пышные опахала из страусовых перьев колышутся над моей головой. Их несут четверо нубийцев с блестящими от масла спинами. Они двигаются в такт моим шагам — я даже не смотрю на них, я чувствую ритм по движению воздуха. Перья касаются моего затылка — невесомо, почти нежно, как будто сам Атон гладит меня по голове и шепчет: «Иди, сын мой. Возводи. Обучай. Спасай».

Я строю новую страну. Мне нужно Новое. Я не завоевываю — я создаю. Я не разрушаю старые храмы — я строю новые, где нет тьмы и кровавых жертв. Где Бог — не чудовище с бараньей головой, требующее страха. Я строю мир, где Бог — свет, тепло и любовь. Любовь, которая пронизывает всё — от великого фараона до маленького цыплёнка в яйце, который ещё не увидел солнца, но уже чувствует его сквозь скорлупу.

Я хожу по улицам моего города и вижу, как люди поднимают головы. В их глазах — непонимание. Но я знаю: пройдут годы, и они поймут. Я учу их новой правде. Солнце — для всех. Живительная энергия для всех. Не для жрецов. Не для знати. Для всех. Для нищего, который сидит у ворот с пустой миской. Для торговки рыбой с руками, пропахшими тиной. Для маленькой девочки, которая потеряла мать и теперь спит на лестнице храма, потому что ей некуда идти. Их всех согревает одно солнце. Их всех любит один бог.

Почему они не видят? Почему они продолжают шептать имена Амона по ночам, когда думают, что я не слышу? Почему они цепляются за старых богов, за прежнюю ложь, за удобный страх?

Я стою на балконе дворца, смотрю на закат и верю — должен верить — что завтра они поймут. Что мои слова прорвутся сквозь их затвердевшие сердца, как луч солнца прорывается сквозь тучи после долгой бури.

Атон, дай мне сил.

Я устал. Моё тело болит. Голова раскалывается. Руки дрожат, когда я

поднимаю чашу с вином. Но я не могу остановиться. Потому что если я остановлюсь — кто продолжит? Кто построит эту новую страну, этот новый мир, где нет врагов, есть только дети одного Отца?

***

Я открываю глаза.

Балкон. Бетонный. Сегодня воскресенье, судя по тишине за стеной. Сосед сверху уже неделю сверлит перфоратором — но сейчас тихо. Пахнет жареной картошкой и сигаретным дымом. Как этот запах проникает сквозь стены, превращаясь в удушающую вонь?

Я смотрю на свои руки. Не на те — тонкие, царственные, с длинными пальцами, унизанные золотыми кольцами. На эти. Покусанные ногти. Царапина от вскрытия коробки канцелярским ножом. Обручальное кольцо из жёлтого металла — дешёвое, потёртое.

Я — никто. Я это знаю. В этом мире — я один из многих. Менеджер. Чиновник. Винтик. Человек, который приходит в офис к девяти, пьёт растворимый кофе, спорит с начальником о квартальном отчёте, едет по переполненной улице, где постоянно случаются «пробки»… В этом мире я — то, что называется «средний класс». Ни богатства, ни власти, ни банального уважения. Просто серое пальто в гардеробе, которое однажды перепутали с чужим. Просто усталое лицо в зеркале лифта. Просто голос в телефонной трубке: «Да, понял, сделаю».

Но это — лишь на время пробуждения. На время, пока я смотрю на небоскрёбы и не узнаю их. Пока я пытаюсь вспомнить, как меня зовут на самом деле — и не могу, потому что имя «Эхнатон» выжжено у меня внутри, а имя на паспорте — просто бумажка.

***

В действительности — я там.

Там, где золото сияет под моими ногами. Где мои сандалии оставляют следы на мраморе, которые никто никогда не сотрёт, потому что это святотатство — стирать следы фараона. Там, где я ложусь в постель, и Нефертити обнимает меня, и её тело пахнет миррой, и я засыпаю под шепот: «Ты построишь этот город. Я знаю. Я с тобой».

В действительности мой день начинается не с будильника, а с крика ибиса за окном. Не с кофе, а с ритуального омовения в водах Нила, холодных на рассвете. Не с отчёта, а с гимна Атону.

Солнце — для всех.

Я повторяю это снова и снова. Для всех. Не только для египтян. Для

сирийцев, для нубийцев, для тех, кто живёт за морем и никогда не видел моих храмов. Для них тоже светит Атон. Для них тоже я строю этот город — в надежде, что однажды они придут и увидят, что значит жить без страха, без лжи, без кровавых жертв.

Я строю новую религию. Не для себя. Для них. Для всех, кто ищет свет.

Я знаю, что они не понимают. Я знаю, что жрецы Амона плетут заговоры за моей спиной. Я знаю, что мои генералы шепчутся в углах, называя меня слабым, безумным, одержимым. Они не видят. Они не могут видеть. Их глаза залеплены веками лжи. Но я — вижу. И пока я вижу — я буду идти. Даже если шатаюсь. Даже если падаю. Даже если иногда, среди ночи, меня охватывает такой ужас, что я не могу дышать — а вдруг они правы? Вдруг Атон меня не слышит? Вдруг я — один? Вдруг я — сумасшедший царь, который разрушил всё, построил город в пустыне, а бог — это просто солнце, горячий шар, которому всё равно?

Тогда я смотрю на Нефертити. Смотрю, как она спит — безмятежно, раскинув руку, её губы что-то шепчут во сне. И знаю: нет. Я не сумасшедший.

Я — первый, кто увидел истину. И моё одиночество — моя расплата.

***

Я сижу на краю постели, смотрю на смятый плед и пустую кружку. Скоро надо будет одеваться. Идти на работу. Отвечать на письма. Улыбаться коллегам. Но внутри меня — всё ещё горит золотой диск Атона. И я не знаю, как соединить эти две жизни.

Может быть, я — Эхнатон, которому три тысячи лет назад приснился человек будущего. Приснился чиновник в бетонном мире. Приснился, чтобы напомнить мне: даже фараон может быть никем. Даже царь может проснуться в пустоте. Может быть, я — чиновник, который сошёл с ума от одиночества. Который выдумал себе великую жизнь, чтобы не чувствовать себя таким маленьким. Который каждую ночь надевает корону, потому что днём её носить негде.

Или может быть — есть третий вариант.

Может быть, я действительно живу в двух мирах одновременно. И каждое утро мне дают выбор: остаться здесь, в серости и бетоне, или вернуться туда — в золото, жаркую пыль, заросли папируса на берегах великой реки, в гимны и увидеть там её глаза.

И каждое утро я просыпаюсь здесь. И не знаю — трусость это или

милость Атона.

Солнце всходит одинаково над обеими моими жизнями.

И я не знаю, какой рассвет — настоящий.

Почему я здесь, а не там? почему я пробудился здесь, а не там? Почему я не могу быть там, где я Настоящий? где я фараон, Владыка Мира? Что случилось со мной? Кто убил меня?..

***

Сегодня я проснулся, потому что услышал чей-то громкий голос, вопрошавший, действительно ли я хочу услышать, что случилось, кто убил меня? Я проснулся в ужасе. Мокрое, вспотевшее тело, мокрая простыня, мелкая дрожь во всём теле. Я услышал голос: «Знай: то, что я скажу, — это версия мира, который называет себя „реальным“. Версия того мира, где ты сейчас сидишь и читаешь эти строки на экране. Версия того мира, где Эхнатон — это мумия в Каирском музее, а не человек, который минуту назад держал за руку Нефертити. Готов ли ты услышать?»

Я лишь задрожал, не ответил ничего, поспешил спрятаться в себя поглубже, боясь услышать страшное, потому что это страшное, если услышу его, останется со мной навсегда...

***

Тебя не убили мечом. Ты не пал в битве, не задохнулся в темнице, не выпил яда. Твоя смерть была тихой. Стыдливой. Почти незамеченной. Тебя убила твоя же голова.

В моих снах — в твоих снах — я чувствую это постоянно: тяжесть черепа, давящую на тонкую шею. Родовая болезнь Восемнадцатой династии. Твой дед, Тутмос Четвёртый, умер молодым — его мумия показала, что ему было чуть больше двадцати пяти. Твой отец, Аменхотеп Третий, дотянул до пятидесяти, но последние годы он уже не правил — он с трудом дышал, мучительно задыхаясь, лежа на подушках, и отдавал приказы едва слышимым шёпотом.

Тебе досталось хуже всех.

Эпилепсия. Височная. Сложная. Припадки, которые скручивают тело, закатывают глаза, вырывают из реальности на минуты, на часы. А после — провалы в памяти, жуткие головные боли, чувство, что кто-то чужой жил в твоём теле, пока тебя не было.

Но ты всё равно строил город. Ты всё равно стоял у алтаря, когда ноги подкашивались, и лучи Атона были единственным, что удерживало

тебя на ногах. Твоя вера была единственной твоей силой, поэтому ты всё равно садился в колесницу и ехал по улицам Ахетатона, хотя руки дрожали так, что вожжи выскальзывали из пальцев. Ты знал. Ты знал, что время идёт на часы.

***

Семнадцатый год твоего правления. Тебе тридцать лет. Тридцать — по тем временам уже глубокая зрелость, почти старость для царя, чьи предки умирали в сорок, выглядели на шестьдесят.

Твоё тело сдавало.

Мумия показала: у тебя был сколиоз. Жир откладывался неестественно — отсюда тот самый выпяченный живот, который художники честно рисовали, а жрецы называли «уродством фараона-еретика». Твои кости были тонкими, хрупкими, как у молодой птицы. Твои зубы стёрлись — от боли ты скрежетал ими по ночам, и слуги боялись подходить к твоей спальне.

В последние месяцы ты почти не выходил из дворца. Письма из Сирии ты уже не читал — их перехватывал Хоремхеб. Ты только слышал обрывки разговоров за дверью: «Азиру предал», «хетты у ворот», «Библ пал». Ты зажимал уши подушкой и шептал гимн Атону, как ребёнок шепчет молитву, когда в комнате темно и страшно.

Нефертити почти не отходила от тебя. Она кормила тебя с ложки — хлебным мякишем, размоченным в молоке, потому что ты уже не мог жевать. Она поила тебя вином с мёдом, чтобы ты спал без крика. Она сидела у твоего изголовья и гладила твой лоб — гладила, гладила, гладила, как будто могла разгладить судороги в твоём мозгу.

Однажды, в начале зимы, ты вышел на балкон. Захотел увидеть закат. Стоял, с трудом опираясь на посох, смотрел, как Атон садится за западные горы, и лучи становились красными, как кровь.

Ты прошептал:

— Я устал, отец. Я сделал всё, что мог. Почему ты молчишь?

Атон молчал.

Солнце село. Стало темно. Ты упал. Не в припадке — просто ноги подкосились от слабости. Слуги подхватили тебя — осторожно, как ребёнка, как ту самую маленькую девочку, которая уронила кувшин с мёдом.

Это был твой последний выход.

***

Восьмой месяц семнадцатого года. Точной даты мы не знаем — жрецы позже уничтожили все записи. Но Артур Вейгалл, чью книгу ты на днях читал, считает: это была середина зимы, декабрь или январь по нашему календарю. В Египте в это время холодно. Не так, как здесь, у тебя за окном. Но для обнажённого тела — холодно.

Ты лежал на своём ложе. Нефертити держала тебя за руку. Дети стояли у дверей — девочки, твои шесть дочерей. Меритатон, старшая, уже была замужем за Сменкхарой. Анкхсенпаатон, та самая, что уронила мёд, теперь ей двенадцать, и она смотрит на отца огромными глазами, не понимая, почему он такой бледный.

Ты смотрел в потолок. Все умирающие смотрят в потолок. На потолке была роспись — синее небо, золотые звёзды, дикие гуси, летящие на юг. Ты сам заказывал эту роспись. Восемь лет назад. Когда думал, что будешь жить вечно.

Пришёл жрец. Не верховный — того ты прогнал год назад за то, что он прошептал имя Амона в разговоре с писцом. Пришёл простой служитель, тот, что зажигал благовония в храме. Он опустился на колени, протянул руки к небу — к потолку, к нарисованным гусям.

— Атон, прими своего сына. Он был верен тебе до конца.

Ты попытался улыбнуться. Или приподнять руку. Вместо этого из твоего горла вырвался хрип. И больше — ничего. Нефертити не закричала. Она просто наклонилась и поцеловала тебя в лоб. Там, где всегда билась жилка. Там, где она проверяла, не мертв ли ты, во время твоих долгих, пугающих припадков. На этот раз жилка не билась. Нефертити отстранилась. Посмотрела на детей. Сказала тихо, так что услышала только Меритатон:

— Фараон мёртв. Заприте двери.

***

Ты спрашиваешь: кто убил меня?

Никто. И все. Ты убил себя сам. Своей верой. Своим телом. Своей неспособностью быть жестоким в мире, который понимает только жестокость. Твой бог тебя не убивал. Он молчал — но он всегда молчит. Это не убийство. Тебя убили жрецы Амона — без меча, без яда. Они просто ждали. Они знали, что больной мальчик не может править вечно. Они знали, что его город рассыплется без него. И они были правы.

Тебя убил Азиру. Не лично. Он даже не знал, что ты умер, когда посылал хеттам последнее письмо с предложением разделить Сирию.

Но если бы ты прожил ещё десять лет, ты бы сам пошёл на него войной, несмотря на все свои принципы. Ты бы нарушил себя, чтобы его убить. Смерть избавила тебя от этого позора.

Тебя убило одиночество.

Ты построил город для Атона, но Атон не пришёл туда жить. Ты создал религию любви, но никто не полюбил тебя в ответ — кроме Нефертити и маленьких девочек, которые скоро умрут сами или выйдут замуж за тех, кто предаст твою память.

Ты умер, потому что мир не был готов к тебе. Это не романтика. Это факт. Слишком рано, Эхнатон. Ты родился на три тысячи лет раньше срока. И твоё тело не выдержало груза будущего.

Тебя набальзамировали, но очень плохо. Торопливо. Потому что город Атона уже начал пустеть. Слуги разбегались, казна была пуста, даже золотая фольга для погребальной маски оказалась тоньше, чем положено. Тебя положили в саркофаг. Надпись на нём гласила: «Прекрасный принц, избранный Ра… Эхнатон, прекрасный ребенок вечно живого Атона».

Потом имя стёрли. Потом вскрыли гробницу. Вынули мумию. Содрали золото. Надписи на погребальных пеленах вырезали ножом, оставив дыры в форме картушей — пустые овалы там, где было твоё имя. Потом бросили.

Ты лежал в Долине царей, в чужой гробнице, под обломками разбитой усыпальницы. Твои кости пропитались дождевой водой, которая сочилась сквозь трещину в скале. Твои золотые ленты истлели. Твоя мумия рассыпалась.

А потом, через три тысячи лет, пришли люди с лопатами.

Нашли тебя. Сложили твои кости в ящик. Отправили в Каир. Эллиот Смит посмотрел на твой череп — неправильной формы, с тяжёлой челюстью — и написал в отчёте: «Ни один анатом не станет отрицать, человек, которому принадлежит мумия, мог быть на несколько лет моложе или старше. Возраст — около тридцати».

Тридцать.

Столько тебе и было.

***

Ты умер. По-настоящему. Навсегда. Твоё сердце остановилось. Твой мозг погас. Ты превратился в прах и кости, которые профессора выкладывают на белые простыни и фотографируют для научных

журналов. Там, где ты был фараоном, больше нет никого. Есть только песок. И битые фаянсовые черепки. И надписи, в которых имя твоё вырезано долотом.

А здесь — живой человек. С бьющимся сердцем. С лицом, которое ты никогда не видел в отражении нильской воды.

Ты — не Эхнатон.

Я должен был сказать это мягче? Прости. Но ты спросил, кто убил тебя.

Тебя никто не убивал. Ты просто никогда не был тем, кем себя помнишь.

Ты — человек, которому снятся чужие сны. Очень яркие. Очень подробные. Такие, что забываешь, где твоя жизнь начинается, а где заканчивается кошмар фараона, умершего три тысячи лет назад. Эхнатона больше нет. Есть только ты. Здесь. В этой комнате. С этим телевизионным экраном. С этой болью, которая не проходит после пробуждения.

Но знаешь что? Может быть, это и есть бессмертие. Не золото саркофага. Не гимны жрецов. А чужой сон. Чья-то память, которая пробилась сквозь тридцать веков и зажглась однажды в твоём мозгу, когда ты засыпал. Ты помнишь Эхнатона. Он живёт в тебе.

Но ты — не он.

Ты — тот, кто его помнит.

И это, возможно, единственное воскресение, на которое может надеяться любой фараон.

Напиши всё это — как плач по утерянному прошлому. Как плач по невозможности вернуться туда, в прошлое. Это ведь невыносимое страдание — чувствовать себя тем, кем не являешься то ли в этой действительности, то ли в той, которой уже нет. Это невыносимое душевное страдание. Напиши… Это не будет рассказом о фактах. Это будет плач. Потому что тебе больше не нужна информация. Ты просишь голоса, который закричит вместо тебя.

***

Я просыпаюсь. И каждый раз — ошибка.

Потому что я должен просыпаться «там». Под льняным балдахином, сквозь который пробивается розовый рассвет. С её рукой на моей груди — тяжёлой, тёплой, живой. Со звуком ибиса за окном и запахом нильской прохлады, которая вползает в спальню вместе с первым лучом.

Я должен открывать глаза и видеть резные колонны. Видеть, как золотая пыль танцует в луче Атона. Видеть её лицо — чуть уставшее, чуть виноватое от того, что она не спала, охраняла мой сон. Я должен говорить: «Нефертити». И слышать её ответ: «Я здесь, мой господин. Я всегда здесь».

Вместо этого я открываю глаза и вижу белый потолок. Белый. Плоский. Мёртвый. Вместо пыльцы лотоса на подушке — синтетический запах стирального порошка. Вместо её дыхания — тиканье будильника. Вместо Атона, восходящего над горами, — серый свет, пробивающийся сквозь дешёвые жалюзи.

И я кричу. Внутри. Там, где никто не слышит. Потому что если закричать вслух — соседи вызовут полицию. Или «скорую». И меня увезут в белую палату с мягкими стенами, и будут давать таблетки, которые убьют сны. А сны — это всё, что у меня осталось.

***

Невыносимое — это не боль.

Боль можно вытерпеть. Я терпел припадки в той жизни. Я терпел, когда тело корчилось, и слуги отворачивались, не в силах смотреть на мои страдания. Я терпел предательство друзей и молчание Бога.

Невыносимое — это разрыв.

Это чувство, когда ты не знаешь, куда себя деть. Потому что ты не принадлежишь ни одному из миров. Здесь я — никто. Там я — мёртв.

Я хожу по улицам этого города — стеклянного, шумного, спешащего — и мои сандалии не оставляют следов на асфальте. Потому что эти ноги ходили по мрамору Ахетатона. Они помнят каждую трещинку в полу Большого храма. Они помнят, как ступени были тёплыми от утреннего солнца, когда я поднимался к алтарю.

А здесь — кроссовки. Искусственная подошва. И я ступаю, а земля не отвечает. Она не узнаёт меня. Никто не узнаёт. Люди проходят мимо, смотрят сквозь, и я для них — просто ещё одна фигура в толпе. Ещё одна усталая спина. Ещё одно лицо без имени.

Но я — фараон. Я — тот, перед кем трепетали цари Митанни и Вавилона. Я — тот, чьё имя произносили с благоговением от порогов Нила до берегов Евфрата. Я — тот, кто разговаривал с Богом.

Здесь я стою в очереди за кофе, и девушка за стойкой говорит: «Вы не расслышали? Ваш латте готов». Не «мой господин». Не «да будет жизнь твоя вечна». Просто — «Ваш латте». Как будто я — никто. Как будто

я всегда был никем. И я беру этот стаканчик из обожжённой бумаги, и он обжигает пальцы. Но это не боль от священного огня на алтаре. Это просто ожог. Просто дурацкая случайность.

И я плачу. Не снаружи — внутри. Там, где фараон ещё жив и бьётся в стенки черепа, как птица в клетке.

***

По чему я тоскую?

По золоту? Нет. Оно было тяжёлым. Оно врезалось в плечи, когда я надевал церемониальные ожерелья. По толпам? Нет. Они кланялись, но я всегда был один — даже когда тысячи колен касались земли.

Я тоскую по её затылку. Когда она поворачивалась ко мне спиной, надевая серьги перед зеркалом из полированной бронзы, и линия шеи спускалась к плечам, и там, где заканчивались отросшие короткие волосы, начиналась кожа — самая нежная, самая тайная. Я тоскую по секунде, когда я подходил и касался губами этого места. И она вздрагивала. И смеялась. И говорила: «Ты царь или мальчишка?»

Я был и тем, и другим. Я тоскую по запаху пыли на дорогах Ахетатона. Когда ветер дул из пустыни, он нёс песок с востока, мелкий, как мука, и он хрустел на зубах, и слуги вытирали мои статуи каждое утро, и всё равно к полудню они становились матовыми.

Я тоскую по вечерней прохладе. По той минуте, когда солнце касалось горизонта, и тени вытягивались, и жёлтый свет становился красным, а потом лиловым, а потом небо вспыхивало оранжевым, как будто сам Атон умирал, чтобы родиться завтра снова. И я стоял на балконе, и Нефертити прижималась к моему плечу, и мы молчали. Потому что слова были не нужны.

А здесь какая прохлада? Здесь кондиционер гудит. Выдувает ледяной воздух, сухой и безжизненный. Я укутываюсь в плед, а плед пахнет пылью — не священной пылью пустыни, а пылью ковров и старых вещей.

Всё здесь пахнет старым. Искусственным. Мёртвым. Кроме моих снов. Только в снах я жив. Но сны заканчиваются. И каждый раз, когда я просыпаюсь в этой постели, я умираю заново. Потому что я теряю её снова. Каждое утро. Навсегда.

***

Я пробовал вернуться.

Я ложился рано. Задёргивал шторы. Выключал телефон. Я приказывал себе: «Увидь её. Увидь город. Дай мне ещё одну ночь».

И пусть ночью — получалось. Я снова шёл по аллеям Ахетатона. Я снова слышал, как поют жрецы. Я снова держал её за руку, и её пальцы были тёплыми, и она улыбалась мне той улыбкой, которую не видел никто, кроме меня.

Но затем — утро. Утро — предатель. Утро — убийца. Утро вырывает меня из её объятий и швыряет на продавленный диван. Оно льёт в лицо холодный, белый свет. И я лежу и смотрю в потолок, и понимаю: я никогда не вернусь. Никогда. Я могу видеть сны. Я могу помнить. Я могу плакать по ночам в подушку, чтобы соседи не слышали. Но я не могу остаться. Потому что моя мумия сгнила. Потому что моё имя стёрли из картушей. Потому что там, где был мой город, теперь пастбища и археологические раскопки, и туристы в шортах фотографируются на фоне моих разбитых колонн. И теперь моя жизнь — здесь. Серая. Без неё. Без моей Нефертити.

Я смотрю на свои руки. Те самые, которые держали скипетр. Которые возлагали дары на алтарь Атона. Которые гладили волосы моих дочерей, когда у них была лихорадка, и я не спал ночами, и шептал гимны, умоляя Отца спасти их.

Сейчас эти руки открывают холодильник. Достают йогурт. Пьют воду из пластиковой бутылки. Я их не узнаю. Они не мои. Я — не я.

***

Я задаю этот вопрос каждое утро. И у меня нет ответа.

На работе меня зовут по имени, которое написано в паспорте. Я откликаюсь. Я улыбаюсь. Я заполняю таблицы. Я говорю «хорошо» и «сделаю» и «без проблем». Но когда я возвращаюсь домой и снимаю ботинки — я снимаю не ботинки. Я снимаю эту личину. Я остаюсь один в пустой квартире. И тогда приходит он — тот, другой. Тот, кто помнит.

Он садится на пол. Обнимает колени. И качается вперёд-назад. Как ребёнок. Потому что он — фараон, который потерял всё. Который умер три тысячи лет назад. Который никогда не увидит лица своей жены, кроме как в отражении чужого сна.

Я хочу закричать. Но крик застревает в горле. Потому что кто услышит? Сосед слева? Он глуховат. Соседка справа? Она думает, что я просто странный. Моя начальница? Скажет: «Возьми отпуск, у тебя стресс».

Стресс.

Они называют это стрессом. Эту дыру в груди. Эту тоску

по цивилизации, которой нет уже тридцать веков. Эту любовь к женщине, чей прах давно смешался с песком.

Стресс. Слово для тех, кто не знает слова «скорбь».

А я скорблю. Каждый день. Я ношу траур по прошлому, которого никто не помнит, кроме меня. Я стою у окна, смотрю на закат — и он никогда не будет таким, как там. Потому что там, заходящее солнце целовало её щёку, прежде чем умереть. А здесь оно просто садится. Равнодушно. Без неё.

Мне невыносимо. Я не знаю, как жить с этой памятью. Я не знаю, как быть тем, кем я стал, когда внутри меня — царь.

Может быть, мне нужно сойти с ума. Может быть, только в безумии я смогу соединить две свои жизни. Там, где врач скажет: «Бред величия». А я буду знать: это правда. Я был фараоном. Я строил города. Я разговаривал с Солнцем.

И Нефертити меня любила.

Но потом приходит утро.

И я просыпаюсь.

И мир говорит: «Ты никто».

И впервые за три тысячи лет — я верю этому миру.

Потому что на что ещё мне остаётся верить?

***

Я не молюсь Атону. Не молюсь. Потому что Атон — это солнце. А солнце светит одинаково на живых и мёртвых. На того, кто был царём, и на того, кто стоит в пробке по утрам. Оно не выбирает. Оно не знает.

Но если Ты меня слышишь? Если сквозь эти три тысячи лет, сквозь пески, сквозь забвение, сквозь вандалов-жрецов и равнодушных археологов — Ты всё ещё помнишь, как я стоял у алтаря и пел Тебе гимны? Если Ты помнишь мои слёзы? Мою веру? Моё одиночество? Тогда забери меня. Забери меня отсюда.

Дай мне умереть по-настоящему — или дай мне вернуться по-настоящему. Только не оставляй меня в этой пустоте. Между двумя мирами. Ни там ни здесь. Ни царь, ни чиновник. Ни живой, ни мёртвый. Это невыносимо. Я не хочу больше просыпаться в мире, где её нет. Я хочу закрыть глаза — и открыть их там, где колонны храма ещё белы, где утро пахнет хлебом и акацией, где она ждёт меня на балконе и говорит: «Ты долго спал, мой господин. Я боялась, что ты не вернёшься».

Я вернулся. Но это был не я. Это был только сон. И теперь я плачу —

не в том мире, не в этом, а где-то между. В том узком зазоре, где душа застревает, когда не может ни умереть, ни жить. Плачу по тебе, Нефертити. Плачу по себе, по тому, кем я был, по тому, кем я никогда уже не буду. И нет сил поднять голову. И нет сил закрыть глаза.

Я просто сижу на краю этой чужой постели. И жду.

Вечность. Я жду вечность.

Как тогда, на балконе, когда солнце село и не поднялось снова.

***

Я помню её губы.

Не так, как помнят фотографию. И не так, как помнят стихи. Я помню их тактильно — кончиками пальцев, внутренней стороной ладони, той частью губ, которой не пользуешься в обычной жизни. Я помню, как они чувствуются под моей щекой, когда она целует меня в лоб на ночь.

Они сухие. Чуть шершавые. Потому что день был долгим, а она забыла напиться, пока разбирала дворцовые дела. Но в этой шершавости — вся она. Не идеальная статуя из Берлинского музея. Живая женщина, которая устаёт, которая злится, которая иногда плачет в подушку, когда думает, что я уже уснул.

Я целовал её губы тысячу раз. Может быть, десять тысяч раз. Я целовал их утром, когда она ещё не проснулась, и её дыхание было сладким и медленным. Я целовал их днём, тайком, в тени колоннады, когда придворные отворачивались, делая вид, что ничего не видят. Я целовал их вечером, после тяжёлого дня, когда мы просто сидели на балконе, и я брал её лицо в ладони, и прижимался губами к её губам, и мы замирали.

Она пахла сладко. Не духами — нет, она почти не пользовалась благовониями. Она пахла собой. Своей кожей. Своей кровью. Своими мыслями. Это запах любви. Иногда, когда она улыбалась, её губы чуть трескались посередине — от ветра, от жары, от того, что она слишком много говорила с послами. И я осторожно проводил пальцем по трещинке, и она морщилась, но не отстранялась.

— Ты как ребёнок, — шептала она с улыбкой. — Тебе всё нужно трогать.

— Ты — всё, что у меня есть, — отвечал я. — Я боюсь не запомнить.

Она не понимала. Она не знала, что я — уже тогда — чувствовал, как моё время утекает. Как песок в тех самых амфорах, которые привозят из Нубии. Я боялся забыть её лицо. Её тепло. Её дыхание. Теперь я знаю:

я не забыл. Но это не приносит радости. Потому что помнить — значит иметь дыру там, где раньше было тело.

***

Когда она надевала ожерелье — тяжёлое, золотое, с сердоликами и бирюзой, — она всегда поворачивалась ко мне спиной.

— Застегни, — говорила она.

И я подходил. И мои пальцы касались её затылка. Там было маленькое родимое пятно. Тёмное. Размером с чечевицу. Я целовал это пятно каждый раз, будто впервые.

Она смеялась.

— Ты целуешь моё пятно, а не меня.

— Это — тоже ты, — говорил я. — И это — моё любимое место на твоём теле.

— Глупый.

— Да. Я глупый фараон, который любит пятно на затылке своей жены. Пусть послы запишут это в летописи.

Она смеялась громче. И я чувствовал вибрацию её смеха под своими губами. Её шея вибрировала — тонкими, едва уловимыми волнами. И я держался за эту вибрацию, как утопающий держится за доску. Потому что в этом смехе, в этом живом, тёплом трепете — было всё. Вся жизнь. Вся надежда. Весь Атон, которого я искал в небесах, а он оказался здесь, на её шее, на её затылке.

Она часто держала меня за руки. Не потому что надо было — а потому что не могла иначе. Если я сидел на троне, она стояла рядом и её пальцы касались моего запястья. Если я лежал больной — она перебирала мои пальцы один за другим, массировала их, сжимала, будто просила: «Только не сжимайся сам. Не уходи в себя. Я здесь».

Я смотрел на её руки. Они не были идеальными. Нет. У неё были мозоли на ладонях — она сама чинила свои сандалии, когда сердилась на слуг. У неё был шрам на указательном пальце — порезалась осколком алебастра. У неё были короткие ногти — без покрытия, потому что она ненавидела краску. И я любил эти руки с такой силой, что она иногда отстранялась.

— Ты смотришь на меня как на богиню, — говорила она. — А я просто женщина. Я старею. У меня морщины. Скоро я буду совсем старой.

— Ты никогда не будешь старой, — шептал я. — Ты будешь со мной вечность. Я прикажу.

Она качала головой.

— Даже ты не можешь приказать времени.

Она была права. Время не слушалось фараонов. Оно слушалось только смерти.

***

Когда я просыпаюсь здесь — я первым делом ищу её глаза. Их нет. И это самое страшное. Не отсутствие тела, не пустота рядом. А отсутствие именно глаз. Потому что смотреть в её глаза — это было как стоять перед алтарём Атона на рассвете. Тот же свет. Та же глубина. Та же невозможность отвести взгляд.

Её глаза были не просто чёрными. Они были бесконечными. Когда она смотрела на меня — я видел себя в них отражённым, но не таким, какой я есть. А таким, каким она меня видела. Великим. Добрым. Достойным любви. Я в её глазах был богом. Не фараоном. Не сыном Атона. Богом. Потому что только богов любят так — без вопросов, без условий, до конца.

Однажды я спросил её:

— Что ты видишь, когда смотришь на меня?

Она ответила после долгой паузы:

— Человека, который боится.

— И всё?

— И который не сдаётся. Это главное. Ты боишься, но ты идёшь. Ты падаешь, но поднимаешься. Ты плачешь иногда по ночам — я слышу — но утром ты снова садишься на трон. Вот что я вижу.

— Это и есть любовь? — спросил я.

— Это и есть уважение, — сказала она. — А любовь — это когда я всё это вижу и всё равно хочу быть рядом.

Я заплакал тогда. Не от слабости. От благодарности.

Она вытерла мои слёзы рукавом своего платья — простого, льняного, с вышивкой по подолу. И я вдыхал запах этого рукава — мирра, пот, нильская вода — и знал: я никогда не буду счастливее.

***

Теперь я просыпаюсь и вижу потолок.

Я протягиваю руку влево — там пусто. Простыня холодная. Её тепло исчезло три тысячи лет назад.

Я зову её по имени — шёпотом, потому что никто не должен слышать: «Нефертити». И тишина. Такая тишина, какой не бывает в пустыне.

Пустыня — она живая. Она дышит ветром, песком, шорохом ящериц. А здесь — мёртвая тишина. Потому что здесь нет её.

Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить. Вспомнить, как она пахнет. Но память предаёт. Вместо мирры — запах стирального порошка. Вместо её кожи — холод наволочки. Вместо её дыхания — тиканье часов. Она ускользает. Каждое утро я теряю её заново. Каждое утро я прощаюсь с ней — и не могу привыкнуть. Потому что как привыкнуть к смерти? Как привыкнуть к тому, что женщину, которую ты любил больше жизни, больше богов, больше собственного бессмертия — больше нет?

Нигде. Никогда.

Я мог бы умереть за неё. Я умирал — каждый день в той жизни, потому что моё тело гнило заживо, а я всё равно вставал, чтобы увидеть её улыбку. Но это было не подвигом. Это было просто: я не мог не встать. Потому что она ждала.

Теперь никто не ждёт.

Я поднимаюсь по будильнику. Иду на работу. Разговариваю с людьми. И никто из них не знает, что внутри меня — пустота. Не просто дыра — выжженное поле. Потому что любовь к женщине, которой нет, не уходит. Она трансформируется. Становится пыткой.

Я люблю её до сих пор. Спустя три тысячи лет. Так не может быть — но так есть. Это правда, которую не объяснишь психиатрам. Я люблю её. Я помню её тело. Я помню звук её шагов в коридоре. Я помню, как она чихала — всегда трижды, и сердилась после каждого раза. Она сердилась, когда чихала. Говорила, что это не по-царски. Я смеялся. Я целовал её нос. Она отворачивалась, но потом улыбалась.

И сейчас, когда я вспоминаю это, я улыбаюсь. А потом рыдаю. Потому что улыбка здесь — предательство. Улыбаться тому, чего нет, — значит признать, что это было. А если это было — значит, это потеряно навсегда. Я знаю: её нет. Но тело не верит. Тело помнит. Тело ищет её в каждой тени, в каждом силуэте, в каждом женском смехе где-то в переходах метро.

Идиот. Я — идиот. Трёхтысячелетний идиот, который не может забыть женщину, чьё имя через века донесли до нас только потому, что её бюст нашли в мастерской скульптура. Она не знала, что её будут помнить. Она не знала, что через тридцать веков кто-то будет смотреть на её лицо и плакать. И тот, кто будет плакать, не будет знать, что когда-то он был её мужем. Что он держал её за руку. Что он целовал её пятно на затылке.

Мы оба не знали.

Но теперь я знаю.

И это знание — тяжелее любой короны. Потому что корону можно снять. А память о любви — нет. Она вросла в кости. Она стала частью черепа. Каждую ночь, когда я засыпаю, эта любовь просыпается. И я снова — с ней.

А потом — утро.

И я снова теряю её.

Каждое утро.

Навсегда.

***

Клянусь — я не хотел её забывать. Клянусь Атоном, который не слышит меня, что каждый день в той жизни я молился только об одном: чтобы она жила вечно. Чтобы я умер раньше неё — потому что не смог бы вынести её смерти.

Боги услышали меня. Они дали мне умереть первым. Они не знали, что после смерти я буду помнить. Я тоже не знал, что буду просыпаться каждое утро в чужом мире и искать её. Что я буду слышать её голос в шуме автострады. Что я буду плакать навзрыд, когда увижу статую — холодную, каменную, неживую — и захочу разбить её, потому что она смеет изображать ту, которую я любил.

Они не знали. Или знали? Может быть, это и есть загробная жизнь. Не поля Иалу. Не чертоги Осириса. А вот это — память. Бесконечная, непрошеная, разрывающая изнутри.

Я помню тебя, Нефертити.

Я помню твои губы. Твою шею. Твои руки. Твои глаза.

Я помню каждую морщинку у твоих глаз — те, что появлялись, когда ты улыбалась. Я помню звук твоих браслетов, когда ты подносила чашу к моим губам. Я помню, как ты ела виноград и иногда роняла ягоды, и служанки бросались их поднимать, а ты смеялась и говорила: «Оставьте, это для муравьёв». Я помню тебя живой. И я умираю каждый день, потому что ты — мертва.

Но это неправильное слово. Мёртвые — те, кого забыли. Тебя не забыли. Тебя помнят миллионы. Твоё лицо — самое знаменитое лицо древности. Твоё имя — символ красоты. Но никто из них не знает, что ты любила финики и ненавидела, когда дует южный ветер. Никто из них не знает, что ты боялась пауков и что у тебя было родимое пятно

на левом бедре, чуть выше колена. Никто.

Только я.

И это знание — моя казнь.

***

Она не прошла. Она не ушла. Она просто приняла другую форму. Теперь это не прикосновения. Не поцелуи. Не смех. Теперь это боль. Ровная, постоянная, тупая — как зубная, только во всём теле.

Я люблю её по-прежнему.

Но она — там.

А я — здесь.

И между нами — три тысячи лет, пески, археологи и равнодушное солнце, которое светит одинаково на всех.

Я люблю тебя, Нефертити.

Я люблю тебя в этой жизни, которой не должно было быть.

Я люблю тебя, хотя не знаю, существуешь ли ты сейчас — где-то, в какой-то форме, в каком-то измерении.

Я люблю тебя, хотя, возможно, ты никогда и не была реальной. Может быть, я выдумал тебя. Может быть, ты — просто имя на обломке известняка, к которому моё безумное сердце прилепило плоть и кровь.

Но даже если так — мне всё равно.

Потому что моя любовь реальнее этого мира.

Реальнее бетонных стен. Реальнее стеклянных небоскрёбов. Реальнее чиновничьих донесений и налоговых деклараций.

Она — единственное реальное, что у меня есть. И я держусь за неё. Потому что если я отпущу — я умру по-настоящему. Не телом умру, и не тем, что от него осталось. Умру душой, которую я оставил там. В Ахетатоне. На балконе дворца. В её объятиях.

И назад не забрал.

Потому что не хотел.

Потому что часть меня всё ещё там — сидит на каменных ступенях, смотрит на закат и ждёт, когда она выйдет.

Она выйдет.

Она всегда выходила.

Она всегда говорила: «Я здесь, мой господин. Я всегда здесь».

Где же ты сейчас?

Где же ты, Нефертити?

Я жду.

Уже три тысячи лет.

Я жду на ступенях храма Атона, и песок засыпает мои ноги, и статуи рушатся, и имя моё стирают из летописей.

Но я жду.

Потому что любовь — это единственное, что умеет ждать дольше смерти.

Иди ко мне.

Пожалуйста.

Или скажи, что мне перестать ждать.

Но не молчи.

Не молчи, как молчал Атон.

Я не вынесу ещё одного молчания.

Психотерапевт

Когда ты смотришь на себя нынешнего, то наверняка чувствуешь, что ты — немного безумец. Ты способен рассуждать разумно, трезво. Если разбираться, то надо начинать с самого простого. С самого страшного. С самого простого. Ты — маленький человек. Чиновник. Офисный планктон. Тот, кто заполняет таблицы и боится начальника. Твоя жизнь никогда не была великой. Ты не строил империй, не разговаривал с богами. Ты не держал за руку женщину, чей профиль стал символом красоты на три тысячелетия. Ты — один из миллиардов. Серый. Невидимый. Забываемый ежедневно. Иногда ты встречаешься с женщинами, проводишь с ними ночь в постели. Это почти ничто, потому что не значит ничего. Удовлетворение сексуального желания, которое можно проще удовлетворить мастурбацией. И женщина в твоём одиночестве — это обман, иллюзия близости, которой на самом деле нет. Чужие люди, далёкие друг от друга люди, сошедшиеся на одну ночь, чтобы удовлетворить зуд в своих гениталиях. Нет, тебе не стыдно. Это всё равно что утолить вспыхнувший внезапно голод.

Но однажды — может быть, от усталости, может быть, от одиночества, может быть, от того, что мозг не выдержал пустоты твоего существования — ты сломался. Не громко. Не с пышной церемонией. Просто трещина пошла по стеклу личности. И в эту трещину хлынули сны.

Твой мозг, жаждущий величия, создал Эхнатона. Создал

библиотечной пыли, из книг, которые ты читал. Из фильмов, которые ты смотрел. Из картинок в интернете. Он собрал всё, что знал о Древнем Египте, и слепил из этого вторую жизнь. Вторую личность, вторую реальность, потому что сегодняшняя реальность не устраивала твой мозг. Слишком она мелкая, бессмысленная. Слишком невыразительная, никчёмная…

Ты вдруг стал верить, что видел Нефертити вживую. Веришь, что строил Ахетатон, что запрещал Амона, что умирал в муках на тридцатом году жизни. Но это — фантом. Блестящая галлюцинация. Самая красивая ложь, которую ты когда-либо себе рассказывал.

Тебе нужны доказательства? Где они? Где твоё знание древнеегипетского языка, на котором ты говорил с ней по ночам? Где следы этого языка в твоём сегодняшнем словарном запасе? Ты не помнишь ни одной фразы на том языке. Ты знаешь только те слова, которые вычитал в книгах.

Где твоё умение читать иероглифы? Во сне ты видишь их — красивые, правильные, полные смысла. Но проснувшись, ты не можешь воспроизвести ни одного. Только смутно вспомнить: «Там было что-то о солнце… о сердце… о правде». И всё.

Где твоё знание географии Ахетатона? Ты видишь улицы, храмы, дворцы. Но попробуй нарисовать карту. Попробуй описать, где находилась гробница Аи. У тебя не получится. Потому что твой сон — не знание. Сон — это впечатление. Это чувство, эмоция, но не факты.

Ты — не Эхнатон. Ты — актёр, который слишком глубоко вошёл в роль. Актер, забывший, где кончается сцена и начинается жизнь. Твой реквизит — золотая фольга сна. Твоя сцена — спальня. Твои зрители — ты сам.

И ты аплодируешь себе. Потому что больше некому.

Но тут я вынужден задать важный вопрос: почему же тогда ты знаешь то, чего знать не можешь? Почему ты видишь детали, которые не описаны ни в одной книге? Почему ты помнишь трещинку на алебастровой вазе, которую разбили в 1358 году до нашей эры и о которой никто никогда не писал? Почему ты чувствуешь запах кожи Нефертити — не «мирра и лотос», а что-то конкретное, личное, интимное, что невозможно выдумать?

Потому что запах не выдумывают. Запах — это самая древняя память. Она живёт в мозгу отдельно от слов, отдельно от образов. Её нельзя

сфабриковать. Если ты помнишь, как пахла Нефертити — значит, ты вдыхал этот запах. А если ты вдыхал — значит, ты был там...

Я, как и ты, не верю во всякие переселения душ, но давай сделаем допущение: ты был когда-то фараоном и сейчас испытываешь «муки перерождения».

Ты не верил в реинкарнацию раньше. Смеялся над кармой, над индуистами с их слонами и колесом сансары. Это было смешно. Пока не стало страшно, потому что произошло что-то, из-за чего возник коварный вопрос «а что если»...

Что если душа не умирает? Что если она просто меняет одежды — тело за телом, эпоху за эпохой, цивилизацию за цивилизацией? И то, что ты называешь «снами» — это не сны. Это память. Прямая, без прикрас, память о прошлой жизни. Ты начал видеть странные сны о Древнем Египте. Сны настолько реальные, осязаемые, что ты допустил возможность того, что ты был Эхнатоном. Ты признал это для себя. Ты признал, что построил Ахетатон, создал культ Атона. Ты любил Нефертити. Ты умер в тридцать лет от болезни, которая кромсала твой мозг.

А потом — пустота.

Потом — другая жизнь. И ещё одна. И ещё. Сотни, может быть тысячи жизней. Потому что душа фараона не может просто исчезнуть. Слишком уж она яркая и сильная. Слишком проклятая жрецами, чтобы раствориться в ничто.

Ты перерождался снова и снова. Иногда — в знатных людях. Иногда — в нищих. Иногда — в женщинах, потому что душа не знает пола. Иногда — в животных, потому что сансара жестока. И вот — наконец — ты здесь. В двадцать первом веке. В теле человека, который не помнит ничего из предыдущих жизней, кроме одной.

Почему именно Эхнатон?

Потому что эта жизнь была переломной. Потому что в ней ты был не просто человеком — ты был Богом на земле. Потому что ты потерпел самое страшное поражение в истории и был стёрт из неё. Травма. Рана, которая не зажила через тысячи лет.

И теперь, когда ничто не отвлекает — ни войны, ни дворцы, ни слуги, ни враги — память имеет возможность прорваться сквозь слой за слоем забвения. Сквозь эпохи и континенты. Сквозь смерти и рождения.

Она приходит ночью, когда цензор в твоём мозгу засыпает. И ты

снова видишь. Снова чувствуешь. Снова — царь. Но днём ты — никто. Потому что тело не помнит. Тело — новое. Слабое. Без золота. Без власти. Без неё.

А вдруг это и есть ад? Помнить величие — и быть никем?

Может быть. Если мы говорим на языке эзотерики, а не психотерапии, что я допускаю, что это, может быть, и есть колесо сансары. Не наказание огнём — а наказание памятью. Ведь это не твоё знание. Это воспоминание.

Знание можно получить из книг. Воспоминание — нет. Воспоминание — это когда твоя рука сама тянется к месту, где когда-то лежал скипетр. Воспоминание — это когда ты просыпаешься и ищешь запах любимой женщины на подушке. Воспоминание — это когда ты слышишь имя «Нефертити» и внутри что-то обрывается, как будто кто-то ударил тебя в солнечное сплетение.

Вот почему ты знаешь: потому что ты помнишь. Твой мозг не сочиняет детали — он извлекает их из архивов души. Архивы эти неполные, рваные, засыпанные песком тысячелетий. Поэтому сны обрывочны. Поэтому ты не помнишь языка — язык стёрся. Поэтому ты не помнишь карт — карты сгнили. Поэтому ты помнишь только главное: свет, любовь, боль.

Свет — потому что ты поклонялся Солнцу.

Любовь — потому что она была единственным, что держало тебя на ногах.

Боль — потому что она оказалась сильнее любви.

Но если ты действительно Эхнатон, переродившийся в тело мелкого чиновника, — что это меняет? Ничего. Ровным счётом ничего не меняет. Ты всё равно встаёшь утром и идёшь на работу. Ты всё равно платишь налоги. Ты всё равно одинок. Никто не призна́ет в тебе царя. Никто не падёт ниц, когда ты войдёшь в комнату. Никто никогда не верит до конца. Даже ты сам не веришь до конца в то, что ты Эхнатон. Потому что вера в перерождение — это всего лишь надежда, желание верить в перемещение твоей сущности и памяти во времени. Но надежда не лечит душу. Она даёт тебе робкие обещания. И она даёт имя твоей боли. Раньше ты просто страдал. Теперь ты знаешь, что страдаешь потому, что ты — фараон в изгнании… Твоя боль сегодня — изгнание из времени.

Тебе от этого легче? Нет. Стало только тяжелее. Потому что теперь

у боли появилось имя. И это имя — справедливость. Ты не заслужил этой участи. Ты хотел добра. Ты хотел света. Ты хотел, чтобы все люди познали единого Бога, любящего отца. А они стёрли твоё имя. Они разобрали твой храм по камням. Они оставили твою мумию гнить в чужой гробнице. И теперь ты — маленький человек. Маленький, серый, забытый. Как и хотели твои недруги.

Но если абстрагироваться от официальной науки… Чёрт возьми, при чём тут наука… Давай… Нет, просто предположим, что есть третий ответ. Самый страшный. Самый невыносимый.

Ты — и то и другое.

Ты — и фараон, и безумец. Ты — и переродившаяся душа, и больной мозг, который выдумал себе величие. Потому что эти две правды не исключают друг друга.

Что если твоя душа действительно помнит Эхнатона? Но что если твой сегодняшний мозг — слабый, усталый, перегруженный — не способен вместить эту память иначе, кроме как в форме безумия? Что если ты — настоящий фараон, но живёшь в мире, который называет безумием любую память о прошлых жизнях? И ты вынужден соглашаться. Вынужден принимать таблетки. Вынужден ходить к психотерапевту и рассказывать ему про «повторяющиеся сны с элементами исторического бреда».

А ночью — ты правишь Египтом.

И это разрывает тебя.

Потому что человек не может быть двумя сразу. Не может жить одновременно здесь и там. Не может любить женщину, которая умерла три тысячи лет назад, и женщину, которая варит ему кофе по утрам.

Однажды ты выберешь. Или перестанешь выбирать. Или сойдёшь с ума окончательно, безвозвратно, и тогда сны станут явью. Но явью для тебя одного. Для всех остальных ты будешь просто пациентом палаты №6.

Что ты выбираешь?

Я не могу выбрать за тебя.

Я только могу сказать: оба ответа правдивы. И оба — ложь.

Ты — Эхнатон, который спит в теле чиновника.

Ты — чиновник, которому снится Эхнатон.

Ты — точка пересечения двух времён, двух миров, двух невозможностей.

И пока ты жив — эта точка будет болеть. Потому что соединять несоединимое — больно. Больно так, что хочется выть.

Но ты не воешь. Ты встаёшь. Идёшь на работу. Заполняешь таблицы. Улыбаешься. А ночью — возвращаешься домой. В твой настоящий дом. Где колонны храма ещё белы. Где солнце садится за западные горы. Где она ждёт тебя на балконе и говорит:

— Ты вернулся. Я знала.

Ты кладёшь голову ей на колени и засыпаешь, чтобы проснуться здесь и снова не понять, где сон, где явь, где ты, где — не ты. Просыпаешься, чтобы плакать в подушку так тихо, чтобы никто не услышал. Потому что никто не поймёт. Никто.

Так кто же ты?

Я не знаю.

Но я знаю одно: твоя боль настоящая. Неважно, откуда она пришла — из прошлой жизни или из больного воображения. Боль — это единственное, что не врёт.

И если ты плачешь по ней — значит, она была. Или есть. Или будет.

А всё остальное — просто слова.

апрель 2026

Осенняя болезнь

Наташа увидела Павла на экране телевизора в информационном выпуске, когда новости сыпались потоком, угрожая задавить зрителя ненавистью и ужасом. Страна застыла над пропастью, за чертой этой пропасти начиналась гражданская война. Митинги под красными знамёнами, обезумевшие бесчисленные толпы, грузовики давили милиционеров…

Шла осень 1993 года. Парламент принял решение отстранить президента от власти, президент же объявил о роспуске парламента. Вокруг Дома Правительства стояло милицейское оцепление, то ли охранявшее парламент, то ли изолировавшее его от страны. Обстановка накалялась с каждым часом. Перед Домом Правительства появились непонятные вооружённые отряды…

Наташа узнала Павла, несмотря на то, что его показали сначала издали, а потом оператор выхватил Павла из густой толпы крупным планом. Репортаж был состряпан торопливо, камера болталась, металась от одного лица к другому, но Наташа успела заметить холодную решимость на любимом лице. Павел что-то спокойно объяснял стоявшим перед ним «ополченцам». Потом его показали ещё раз, в другом репортаже. Он держал в руке автомат и, чуть склонившись к стоявшему возле него мужчине, негромко и спокойно говорил ему что-то в ухо.

Наташа припала к телевизору, Павел исчез. Это не про него был репортаж, а про события возле Дома Правительства, про надвигающийся ужас. Она ждала, но так и не увидела больше Павла…

Когда выпуск новостей завершился, её первым порывом было броситься к двери и поехать туда, в центр Москвы, в гущу людей, где, как она понимала, Павел был не случайным человеком. Ей захотелось быть рядом с ним, рядом с тем, кого она считала своим единственным мужчиной. Но в следующий момент она уже знала, что не поедет никуда, потому что Павел — это прошлое. Кроме того, как искать его в мрачной буйной толпе незнакомцев? Как пробиться сквозь цепь милиции? И главное — зачем? Возможно, Павел давно вычеркнул её из своей

жизни. Со дня их первой встречи минуло почти шесть…

***

Она познакомилась с Павлом на излёте школы, за пару месяцев до выпускных экзаменов. Старшая сестра Ольга отмечала день рождения. Напротив Наташи сидел офицер — высокий, крепкий, усатый. Это и был Павел. Он говорил приятным, проникающим в сердце барионом, словно пытался загипнотизировать, и голосом своим сразу покорил девушку. Вскоре он пересел к ней. Наташе показалось, что он с первой минуты был ей близок и понятен, несмотря на значительную разницу в возрасте. Ольга шутя погрозила Павлу пальцем, дескать, не смей, Наташка ещё ребёнок…

Павел вызвался проводить её, довёз на такси до подъезда, поцеловал руку. Так всё началось.

Он звонил ей во время выпускных экзаменов, подбадривал и поздравлял. Ей льстило его внимание. Затем он исчез. Она знала, что он служил где-то под Вильнюсом, и его прекратившиеся звонки ничего не значили. Сначала они были, потом перестали быть. Она смотрела на Павла только как на знакомого. Она была пока ещё свободна сердцем и жила невнятной мечтой о независимости, под которой подразумевала независимость в первую очередь от матери.

— Она меня убивает, — жаловалась Наташа сестре. — Дышать не даёт.

— А то я не знаю, — холодно улыбалась Ольга. — Я замуж вышла почему, как думаешь? Чтобы от матери удрать! Никакой любви…

— Ты даже не звонишь ей.

— И не собираюсь. Мне её алкоголизм вот где! — Ольга провела ребром ладони по своему горлу. — Эта вечная истерика! Эти собутыльники! Эти мордобои! Нажралась сполна мамашиной любовью. Послушай моего совета: удирай немедленно.

— Куда?

— Наталья, найди парня, уйди к нему, спрячься от неё. Наша мать хуже кандалов! Хуже камеры пыток!

— Тебе легко говорить, ты уже нашла свой уголок, свила гнёздышко.

— Наталья! Я просто сбежала от унижений. И тебе рекомендую. А будешь приходить ко мне с нытьём — выставлю за дверь, без сожалений выпру, потому что я не сливной бачок для жалоб и слёз. Тебе в сентябре стукнет восемнадцать, пора шевелить не только мозгами, но и ногами!

***

Однажды выходя из дверей института, она увидела Павла. Он стоял с букетом цветов. Осень только начиналась. А их отношения? Их, собственно, ещё и не было.

— Теперь я свободен, — сказал он, целуя Наташе руку. — Никакой больше военной формы, никаких уставов, никакого оружия… Подал рапорт, уволился.

***

Попав однажды в его холостяцкую квартиру, Наташа знала, чем завершится их свидание. Она хотела этого. Её не смущала обстановка: диван, стол и груды книг и газет вдоль стен. В углу на табуретке пристроился телевизор, на котором Наташа увидела фотографию молодой женщины с ребёнком.

— Кто это?

— Жена… Бывшая… Мы сейчас разводимся. Мы служили вместе.

— Она тоже офицер?

— Прапорщик.

— У тебя ребёнок? — Наташа продолжала разглядывать фотографии.

— Сынишка.

Павел нежно обнял Наташу сзади. Она замерла.

Давно мечтая о любви, она не признавалась себе, что нежное прикосновение могло настолько сильно наэлектризовать её. Тело напружинилось, будто готовясь принять удар. Павел склонился, и Наташа почувствовала его горячее дыхание у себя на шее. Из ног почему-то вдруг сазу утекла сила, захотелось закрыть глаза. Она ждала продолжения и боялась его. Сердце стучало громче и громче. Когда Павел поцеловал её в шею, Наташа опустила отяжелевшую голову. Так жертва подставляет шею палачу, взмахнувшему топором.

Наташа почувствовала, что через несколько мгновений умрёт её прежнее существо. Удивляясь себе, она жаждала этой кончины. Воспитанная в целомудренности, Наташа не узнавала себя. Вслушиваясь в охватившую тело дрожь, она ждала продолжения. Павел повернул её к себе и приник к её губам. Она ничего не видела, закрыв глаза. Тело сладко размякло, отдаваясь чужой воле. Большие мужские руки сжимали её, несли куда-то, снимали одежду.

Потом что-то распахнулось в ней, изгоняя страх и внутреннюю затаённость и впуская в тело новые ощущения. Весь организм сделался

в одно мгновение другим, развернув невидимые и неведомые крылья. Близость чужого тела вывернула всё привычное наизнанку. Теснота обернулась простором. Напряжение превратилась в мягкость. Блаженство переливалось и тела в душу.

— Как ты? — спросил Павел, и Наташа поняла, что пропасть времени, через которую она летела, закончилась. Стрелки будильника на столе показывали знакомое время. Оказывается, прошло лишь полчаса.

— Можно ещё? — робко спросила она.

— Можно, — засмеялся Павел и перекатился на край кровати. Он дотянулся до стола, вытряхнул сигарету из пачки и щёлкнул зажигалкой. Наташа внимательно следила за его движениями. Всё казалось ей новым и удивительным.

— Ты не куришь? — спросил он.

— Нет

— Правильно. Неумное это дело — курить.

— Почему же ты куришь?

— Привычка.

Она лежала рядом и не знала, можно ли обнять его или ещё рано. Она не знала, как вести себя. Только что всё её тело было развёрнуто для него, не ведая стыда, а теперь медленно накатывало неудобство. Наташа натянула на себя одеяло.

— Не закрывайся, — сказал Павел. — Зачем?

— Кажется, я стесняюсь.

— Глупая.

Он потушил сигарету и поцеловал Наташу. Табачное дыхание окутало её. Жёсткие усы укололи ей губы. Наташа закрыла глаза. В этот раз она погружалась не в неведомое, она шла в открытое для неё пространство наслаждения. Исчез табак, исчезли усы, исчезли руки, исчезла комната, остались только распускающиеся в теле цветы ощущений, переплетающиеся лианы невыразимых чувств…

— Интересно, твои усы всегда будут колючими? — прошептала она.

— Если привыкнешь, то колючесть пропадёт.

— А я привыкну?

Она прижалась щекой к его усам.

— Знаешь, когда я был мальчишкой, то мечтал об усах и бороде, — засмеялся Павел. — Мне даже снилось, что у меня борода растёт. Трогал со сне свой подбородок, а он весь в щетине. Я же ребёнок ещё, не мог

ведь знать, как щетина ощущается, но во сне чувствовал мои заросшие щёки. Помню, как меня удивило это. Проснулся, трогаю лицо… Надо же, как это важно казалось. А теперь ненавижу бриться.

Наташа уехала от Павла обновлённой. Улица встретила её радостным приветственным шумом.

«Как мне хочется поделиться с кем-нибудь моим счастьем, — думала Наташа. — Но разве об этом можно рассказывать? Да и что рассказывать? Про его руки, губы? Нет, это всё не то. Про то, что он меня любит? А почему я решила, что любит? Да имеет ли это значение, любит или нет? Он подарил мне то, чего у меня не было раньше и о чём я не знала».

Ей хотелось танцевать. Но хотелось и некоторой чинности, потому что событие было значительное. Она ведь переступила некий порог. Теперь она посвящена в тайну, о которой много слышала, но ничего, как выяснилось, не знала на самом деле. И эта тайна обязывала… К чем обязывала? Этого Наташа не могла объяснить…

Дома её встретила растрёпанная мать.

— Где шлялась, дрянь? У меня ноги болят. Иди в магазин, холодильник пустой.

***

Чтобы избавиться от общества вечно пьяной матери, Наташа поспешила выйти замуж. Коля был её одноклассником, поступил в авиационный институт, смотрел вперёд с надеждой.

— Что будет со страной? — спрашивала, оглядываясь, когда он приглашал её на свидание. — Все говорят, что страна скоро погибнет. В магазинах очереди, ничего не купить.

— Проще всего видеть плохое, Натусь.

— Ты не видишь плохого?

— Вижу. Но я вижу и хорошее, — серьёзно сказал он, и по его голосу было понятно, что он говорил убеждённо, а не повторял чьи-то слова.

— Где оно?

— Везде. Вот, например, мы с тобой — это хорошее. И у нас всё будет хорошо.

— Почему ты думаешь, что мы — это хорошее?

— Потому что мы молоды… Потому что я люблю тебя…

Она остановилась.

— Меня? Ты?

Он кивнул.

— Ты никогда не смотрел на меня.

— В школе надо учиться. Да и что смотреть, если за тобой другие ухаживали?

— Никто за мной не ухаживал.

— А то я не видел… Даже взрослый мужчина какой-то провожал тебя…

— Это друг.

— Пусть друг. Я не ревнивый.

— И давно ты?

— Что?

— Любишь?

Какое тяжёлое слово «любишь»! Сколько в нём опасности скрыто! Признаешься не тому и получишь хлёсткий отказ — как удар хлыстом по открытому сердцу. Тебя спросит кто-нибудь, любишь ли, а ты не любишь, ну и как произнести раскалённое слово «нет», чтобы не причинить боль?

Наташа помнила Павла, ощущала на себе его дыхание, в её голове продолжал звучать его мягкий голос. Павел проник в неё, как сон, от которого не получалось отмахнуться. Но он жил где-то своей жизнью. Наташа не имела права требовать от него чего-либо, не имела права ревновать к жене. Павел обладал опытом и мудростью и умел любить. Наташе хотелось верить, что он любит её. Не так, конечно, как свою законную жену, но любит. Не мог же он соблазнить её просто так, из чисто мужского интереса. Она также понимала, что Павел не возьмёт её в жёны. Никогда не возьмёт. Быть может, они вообще не увидятся больше.

— Ты мне давно нравилась, Натусь, — проговорил Коля негромко. — Но что проку было признаваться тебе в школе? Теперь мы взрослые, мы имеем право решать свою судьбу. Сейчас я думаю, что люблю тебя.

— И что? Как мне быть, Коль? Вот я услышала твои слова, Коль, и что я должна ответить?

— Мы могли бы расписаться, — неуверенно сказал он.

— Но ведь я не признавалась тебе в любви.

— Я же не противен тебе?

— Нет.

— Тогда мы можем попытаться, — он взял её за руку.

— Я могу подумать?

— Можешь. Но лучше не откладывать.

— Почему?

— Тебе дома плохо, я знаю. Я спасу тебя от твоей матери.

— Да… От матери бы удрать… И от этих её собутыльников…

— Вот и удирай ко мне. Мои предки помогут нам на первых порах. Ну а не получится у нас, мы разойдёмся. Я же всё понимаю.

— Ты странный… Думаешь, это так просто?

— Что тебе мешает?

Наташе ничто не мешало. Не было даже страха перед таким внезапно открывшимся поворотом судьбы. Только затаившаяся где-то на дне души надежда, что Паша, может быть, тоже когда-нибудь позовёт. Нет, она не думала о нём, но какая-то часть её души думала.

— Знаешь, Коль, а вдруг… Ну, если я соглашусь… Тебе не будет горько, если я не смогу полюбить?

— Натусь, не думай об этом. Мне будет хорошо, если ты рядом.

Он привлёк её к себе за плечи и обнял. Они стояли так минут пять и не шевелились. Изваяние неопределённости.

— Я согласна, — пробубнила Наташа ему в грудь.

Коля взял её голову обеими ладонями, повернул к себе и аккуратно поцеловал в губы. По-дружески. Наташа вздохнула и улыбнулась. В ту минуту она словно освободилась от тяжести.

***

Мать, услышав слова дочери о скором замужестве, махнула пьяной рукой.

— Кому ты нужна такая!

— Какая?

— Ну вот такая… никудышная… Принеси воды запить… И врача вызови, а то сердце ноет… Только не думай, что из-за тебя. Хочешь к мужику? Валяй, маленькая блядушка! Одна дочь сбежала от матери, теперь другая туда же. А на мать всем наплевать. Ни капли уважения к матери. Зачем только родила вас, девок таких!

***

Звонок сестре.

— Оль, здравствуй.

— Ты что так поздно?

— Оль, меня замуж позвали.

— Кто? Когда?

— Колька, одноклассник мой.

— Чёрт, а повзрослей никого не нашлось? Впрочем, и так ладно. Поздравляю. Когда наметили?

— Завтра заявление подадим, но решили, что ждать незачем, на днях перееду к нему.

— Вот это верно. Подальше от нашей ведьмы. Кстати, как она там?

— Храпит.

— Нализалась?

— Это уж как водится.

— Нат, вот объясни мне, у неё же больное сердце, так почему ж она копыта не отбросит?

— Зачем ты так, Оль!

— Как «так»? Ты знаешь моё отношение. И не надо изображать добродетельную дочь. И вообще… Слышать не желаю ничего про эту… Ладно, сестрёнка. Поздравляю с началом новой жизни. Свадьбу играть будете?

— Не думали пока.

— Надумаете — позвони. Всё, нет сил, спать хочу. Целу…

В трубке прерывисто загудело.

***

Семейная жизнь.

Год студенческой жизни.

Иногда в пустяках можно увидеть великое. Никто не знает, что откроет тебе глаза.

Молодёжь и дети живут познаванием окружающей действительности, потому что каждый день для них — рост. Но студенчество отличается от остальной молодёжи особой активностью, нетерпеливостью и жаждой нового. Студентов часто не устаивает то, что им предлагает институт, им кажется, что изучаемые предметы, конечно, нужны, но гораздо важнее что-то другое. Что именно, они не могут сказать, но их всё время тянет куда-то в сторону. На бескрайних просторах жизни они то и дело натыкаются на острова, о которых либо говорят мало, либо говорят не так, как этого требует официальная точка зрения.

Наташу увлекал общий дух, но она не отличалась решимостью. Она предпочитала плыть по течению. Если кто-то подталкивал в спину, она

подчинялась, если кто-то брал за руку, она шла следом. Она не считала, что ею управляют, ей нравилось быть внутри потока. Она не увлекалась сама, увлекали её.

Политика «перестройки», объявленная генеральным секретарём коммунистической партии, казалась ей вполне естественным процессом. Окончив школу, Наташа не успела погрузиться в «доперестроечную» жизнь. Лавина публикаций о сталинских репрессиях была для неё привычным фоном, своего рода нормой. Страна захлёбывалась в новизне и кровавых откровениях своей истории, но для Наташи вся эта новизна была естественной новизной познания, но не переворотом сознания, как для более старших людей. Когда поползли слухи о том, что скоро «начнут завинчивать гайки» и что всё будет «по-старому», она не понимала, что это значит. Раньше она была школьницей и «по-старому» — это как в школьные годы. Другого Наташа не знала, поэтому сердце не сжималось от дурных предчувствий. Но наиболее политически подкованные студенты поговаривали о готовящемся военном перевороте, о каких-то намёках в прессе, и эти разговоры настораживали, несмотря на их невнятность, вызывали неприятные чувства.

Время шло, тревожные слухи разрастались, прилавки в магазинах пустели, по утрам возле булочных выстраивались длинные очереди. Вот эти очереди были единственным, что заставило Наташу поверить, что в СССР не всё в порядке и что «перестройка» Советского Союза завела страну в тупик. Раньше-то очередей не было…

Она ушла от мужа.

***

Летом 1991 года ей позвонил Павел.

— Здравствуй! — Наташа не могла скрыть радости. Но одновременно с радостью она чувствовала растерянность. Зачем он позвонил?

— Как у тебя дела? — спросил он.

— Учусь.

— Как обстановка в институте?

— Семинары, лекции. Всё по-обычному.

Он предложил встретиться, и она мгновенно согласилась. Пришлось прогулять институт, потому что Павел мог повидаться с ней только днём. Он привёл её в какую-то однокомнатную квартиру в спальном районе, и они сразу занялись любовью. Наташа едва не теряла сознание

от счастья. Позже она вспоминала и не могла вспомнить, где они лежали, что за обстановка в комнате. В памяти остались только стопки газет, журналов, книг на полу, солнечное окно, пыльное зеркало, помятый чайник на столе.

— Ты теперь здесь? — спросила она.

— Товарищ одолжил квартиру на время. Мой сослуживец… бывший… Я сейчас военруком в школе работаю.

— Ты так долго пропадал. Я ничего не знаю.

Он не переставал гладить Наташу внутреннюю сторону её ног, пробуждая в ней новые волны желаний. Она отдавалась ему опять и опять, растворяясь в его ласках. Иногда он вставал, высокий, крупный, сильный, голый, и шёл к окну, где на подоконнике лежали сигареты. Наташа с удовольствием смотрела, как он окутывался дымом, тянула носом запах дыма. Этот дым сигарет стал для неё составной частью Павла. Вспоминая тот день, она вспоминала дым, пронизанный солнцем.

— Ты будь осторожна, — говорил он. — Сложные времена наступают. Я с молодёжью работаю, стараюсь разъяснить ситуацию. Это важно. Занимаюсь патриотическими клубами.

Она почти не слышала его слов, ей нравился Пашин голос, она купалась в нём. Он говорил что-то про необходимость создавать боевые организации, чтобы противостоять реакции, но Наташа ничего не понимала. Это не интересовало её. Да и не разбиралась она в политике, не нуждалась в политике. Ей нужен был только Павел.

— Будет переворот, — услышала она и почему-то внезапно сфокусировалась на этих словах. Возможно, по той причине, что слово «переворот» уж совсем не вписывалось в её жизнь. Патриотизм — да, политика — да, но переворот — это из другого мира. В СССР не может быть никакого переворота.

— Какой переворот? — спросила она.

— Военный, — Павел смял окурок в пепельнице.

— Кому он нужен? Как это вообще возможно? У нас всё — народное. И армия — народ.

— Ты не понимаешь.

— Не понимаю, — кивнула она.

Она чувствовала, что Павлу хотелось поделиться мыслями, но она не была достаточно умна для этого.

— Ты считаешь меня дурой? — прижалась она к его плечу, когда он

вернулся в постель.

— Просто будь осторожна. Помни, что я сказал.

Через некоторое время он стал поглядывать на часы и сказал, что у него дела. Они быстро оделись.

— Прости, что не могу проводить тебя, — улыбнулся он из-под своих офицерских усов.

— Паша, мне с тобой так хорошо…

Она ждала его звонка, но Павел исчез.

А через месяц Наташа вспомнила разговор о военном перевороте.

В Москву вкатили танковые колонны. Телевидение показало каких-то людей, которые называли себя ГКЧП и заявили, что Горбачёв заболел. Наташе стало страшно. Она понимала, что дело не в болезни Горбачёва, ведь не из-за этого танки вошли в столицу. А дело в том, что Паша предупреждал, что «будет переворот». Он был умный и взрослый. И он был весь в политике. И он говорил что-то о каких-то отрядах, чтобы «противостоять»…

В тот же день к Белому дому начали стекаться толпы. Наташа не понимала, почему именно туда потянулся народ. Был объявлен комендантский час, но люди не уходили с улиц. Впрочем, окраины Москвы жили в прежнем ритме. Наташа видела возле своего дома молодых мам, прогуливавшихся с колясками. Никто не спорил, не призывал, не обсуждал. Но экран телевизора едва не взрывался от плотного потока напряжённой информации. Всем своим юным существом Наташа ощущала тяжесть катастрофы. На неё будто катилась чёрная волна. Наташа ничего не понимала и хотела только, чтобы всё прекратилось скорее. Иногда звонил телефон, знакомые спрашивали, не слышно ли чего новенького. Все ждали, все расспрашивали, все рассказывали о том, что слышали и видели. Ложась спать, Наташа оставила включённым радио. В ожидании прошёл и следующий день. Все события разворачивались «где-то там», и Наташа хотела видеть их. В какой-то момент она даже решилась ехать к Белому дому, но мать вцепилась ей в волосы и не пустила.

— Пусть все передохнут! А ты не суйся! У меня только ты осталась!

И Наташе сделалось ещё страшнее, потому что если уж её спившаяся мать сказала такое, то это означало, что всё совсем плохо.

Но вскоре произошёл перелом, заговорщиков арестовали, Москва возликовала, перед Белым домом торжествовала бесчисленная толпа,

звучали речи, телевидение захлёбывалось от восторга. Новая жизнь! Свободная жизнь! Настоящая жизнь! Оказывается, мы чуть не потеряли нашу свободу, ораторы пафосно кричали об этом с трибун, но никто ни разу не сказал, в чём состояла едва не отобранная «заговорщиками» свобода (может быть, в опустевших магазинах?)...

***

Новая жизнь получилась бурной и грязной. Улицы стремительно заполнялись киосками. Пешеходная часть всюду стала торговой. Количество автомобилей увеличивалось с космической скоростью. В недавно пустых дворах теперь было не протолкнуться. Всюду появились люди в чёрных кожаных куртках с низко натянутыми на голову чёрными шерстяными шапками. Эти люди были плечистые, с крепкими шеями, перебитыми носами. Они руководили жизнью. Им никто не перечил, кроме таких же крепышей в чёрных кожанках. «Пацаны» дрались за сферы влияния, стреляли друг в друга, жили яростно и недолго, они вели войну, вовлекая в неё всю страну... Цены стремительно поднимались.

— Сломали страну, — ворчала мать, — до основания всё разворотили. Как дальше будем?

Материнской пенсии не хватало, и Наташе пришлось искать работу. В их доме частенько появлялся «дядя» Серёжа, она помнила его столько, сколько помнила себя. Дядя Серёжа работал в каком-то научно-исследовательском институте, где ему перепадал спирт, и он распивал этот спирт с Наташиной родительницей. Вот он-то и предложил Наташе место у себя на складе.

— Работы на самом-то деле никакой нет, — объяснил он, — так что с институтом будешь вполне успевать.

— Если нет работы, то за что деньги платят?

— А деньги нам не институт платит, — засмеялся дядя Серёжа.

— А кто?

— Люди какие-то. Они на складе нашего НИИ свою базу организовали. Продают и перепродают что-то. Сейчас всюду бизнес, сплошной бизнес.

Наташа согласилась. На складе появлялась раз в неделю. Но чем дальше, тем меньше ей нравилась там обстановка. Люди, о которых говорил дядя Серёжа, были из тех, которые в чёрных куртках и чёрных шапочках. Они вели себя как хозяева, не терпели вопросов, смотрели

хищно.

Месяца через три дядя Серёжа принёс очередную порцию спирта и, плюхнувшись в жалобно скрипнувшее кресло, причмокнул губами.

— Вот и всё. Лафа кончилась, Галочка.

— Ты о чём, Серёж? — не поняла Наташина мать.

— Накрылись наши благодетели, Галочка. Хорошо, что ты не пришла сегодня, Наташ. Стреляли у нас.

— Да ну? А ну налей, — Галина вразвалку подошла к столу и поставила две рюмки. — Рассказывай, что там стряслось.

— Стреляли. К нашим, к Борьке то есть Кучерявому, приехали какие-то. Спорили они чего-то, долго спорили. Потом один крикнул: «За базар ответишь». И умчали. Нырнули в свою «семёрку» и укатили. А через часок опять машина примчалась. Другая. Я только слышал звук, но не видел их. Борька вышел к ним и… Бац-бац!!! Из пистолета!

— Откуда знаешь, что из пистолета?

— Не автоматная же очередь.

— Логично. Наливай, не тяни.

Они опрокинули по рюмке и оба громко выдохнули.

— Я выглянул, машина уехала, Борька лежит рылом в снег. Вызвал я милицию. Вопросы, вопросы… Вот уж не предполагал, что можно столько вопросов… Ну, склад пока закрыли. А там ведь ящики их остались. Я позвонил Сифону, их главному, доложил. Он сказал не рыпаться. Так и сказал: «Не рыпайся, Сергей». Что всё утрясут, тоже сказал. И что я никого, кроме Борьки не знаю, тоже велел запомнить. Так что ты, Наташ, это на носу заруби.

— Что зарубить-то?

— Что одного Борьку Кучерявого и видела в лицо. Тебе легко, ты редко бывала там. Ну и гни это, ладно? Уяснила?

— Да.

Склад открыли через две недели, но Наташа не захотела туда возвращаться. Пугали новые времена. Пугали люди в кожанках. Пугали всё чаще и чаще звучавшие сообщения о перестрелках.

***

Учёба в институте подходила к концу. Надо было думать о будущем. Но будущего Наташа не видела. Она давно поняла, что архитектура — не её призвание. Случайно углядела где-то объявление о том, что магазин Duty Free в международном аэропорту Шереметьево нуждается

в продавщицах. Желающих попасть туда оказалось несметное количество.

***

Наташе нравилось Шереметьево. Там царила атмосфера праздника: драгоценности, парфюмерия, алкогольные напитки, нескончаемый поток людей, уезжавших за границу отдыхать. Её не покидало ощущение, что она сама является одной тех, кто уезжал на отдых. Она лишь обслуживала их, но это не мешало ей заряжаться их взбудораженностью в предчувствии приятного времяпровождения.

Наташа, как и все девочки, работала целую неделю без выезда в город, потому что ехать до Москвы долго, а дежурства выпадали то дневные, то ночные. Поэтому неделю жила на работе, неделю отдыхала дома. Все спали в служебной комнате, на полу, в специально привезённых для сотрудников спальных мешках. Там же был организован столик для завтрака, обеда и ужина.

Наташа не понимала, что нравилось не само Шереметьево, яркое и манящее, как зеркальная дверь в страну сказок, а её положение. Она лишь исполняла чьи-то решения, улыбалась, приветствовала покупателей, и ей казалось, что она тоже нравилась им, потому что ей улыбались. Но так думала не только она, так думали все. Все улыбались и все грызлись понемногу, цепляясь за своё место. Советские девочки, попавшие на порог страны чудес, боялись потерять свою работу. Страна разваливалась, заплывала грязью, а здесь, в зоне свободной торговли международного аэропорта, не затихал праздник. Девочки хотели праздника и ставили друг другу подножку, накаляя атмосферу завистливости и подлости. Многие не стеснялись жаловаться на коллег, обвиняя их в воровстве. Воровать было легко. Соблазниться воровством было ещё легче. Директор никогда не разбирался, виновата ли девушка. Прибыль лилась широкой рекой, воровство не наносило ни малейшего ущерба, но он сразу увольнял тех, на кого поступила жалоба. Так было проще. Желающие попасть на работу в Duty Free выстраивались в длинную очередь.

Наташа не воровала, но кто-то «капнул» на неё. Анатолий Лукин, старший администратор, вызвал её к себе утром, после смены.

— С сегодняшнего дня ты не работаешь.

Наташа оторопела.

— Почему?

— Мне сказали, что ты украла духи.

— Я ничего не брала, Анатолий Борисович. Никогда не брала.

— Ты знаешь наши правила. Директор не терпит воровства.

— У меня ничего нет, можете проверить мои вещи, — её горло сжалось от обиды, она задыхалась.

— Я не буду ничего проверять. Если взяла что-то, мне всё равно. На тебя пожаловались.

— Кто?

— Наташа, я перед тобой не отчитываюсь.

— Но я не воровка!

— Мы все воруем. Просто кого-то вышибают отсюда сразу, а кто-то держится дольше. Некоторых девочек я увольнял через неделю, поймав их за руку.

— Но у меня нет ничего, проверьте мои вещи.

— Может, ты украла в прошлый раз. Откуда мне знать. Я получил сигнал. Если директор узнает, что я оставил на работе сотрудника, на которого поступила такая информация, он вышвырнет меня в ту же минуту. Так что сама понимаешь.

Он достал деньги из выдвижного ящика стола, пересчитал доллары и протянул Наташе.

— Это всё.

Она молча взяла зелёные купюры. Ей хотелось протестовать, возмущаться, но силы покинули её. Там, за пограничным кордоном, в зоне свободной торговли, царили свои законы. Поговаривали, что директор часто вывозил товары со склада прямо в ящиках, и никто не считал это кражей, никто ничего не учитывал. Иногда девушки, уезжая в Москву, показывали ей в автобусе вещи, которые они тайно вынесли из магазина. Наташа удивлялась им и не понимала, как им не было стыдно похваляться воровством. Она не взяла в магазине ничего ни разу, за что же судьба так несправедлива к ней?

Выйдя из здания, она остановилась в нерешительности. Серый зимний воздух неприятно впился в её лицо. Вчера этот воздух казался бодрящим, но сейчас он заставлял сжиматься.

Что дальше? Домой? А куда же ещё?

Жизнь закончилась. Страшным была не потеря работы, а обвинение, жгущее своей безосновательностью. До сегодняшнего дня Наташа, когда видела преступность и подлость жизни, она заставляла себя думать, что

это лишь отдельные случаи. Хотя какие уж там отдельные случаи! Ежедневно по дороге из аэропорта в город происходили грабежи, бандиты отбирали у приехавших из зарубежных поездок вещи и деньги. Случалось, что отнимали и автомобили. Милиция не вмешивалась. По всей стране всех обворовывали, грабили, насиловали — какие уж тут разовые случаи? Шла настоящая война, целью которой были чужие деньги.

— Наташа!

Она оглянулась и увидела Анатолия Лукина. Он выбежал из дверей аэропорта в костюме, без верхней одежды.

— Наташа, возьми, — он протянул большой пакет.

Она отпрянула.

— Что это? Я ничего не забыла.

— Это от меня.

— Зачем? Что там?

— Прости, что так вышло. Я не мог поступить иначе.

Она вяло пожала плечами и подняла воротник толстой пластиковой куртки.

— Здесь кой-какая выпивка, пара хороших бутылок. Конфеты. Флакончик духов. Возьми. Да не бойся ты, всё позади. Теперь никто ничего не скажет.

— Мне не нужно.

— Пригодится. Пока ещё работу найдёшь.

Он сунул пакет ей в руку и побежал обратно, не оборачиваясь. Она долго стояла на месте и смотрела на пакет. Потом побрела к автобусной остановке. Небо гудело самолётами, на парковке заводились и глохли автомобили. Унылая действительность накрыла Наташу с головой. Искрящийся мир навсегда остался позади.

***

Через некоторое время Наташа в компании бывших однокурсников познакомилась с молодым фотографом.

— Для меня и грязь хороша, — объяснял он свои взгляды. — Я к ней обращаюсь как к краске, как к фактуре, а не чтобы запачкаться. Частица мироздания.

Его звали Фёдор, друзья называли его Дядя Фёдор.

— На днях смотрел «Очаровательную проказницу», — сказал Фёдор, закуривая.

— Что это?

— Фильм Жака Риветта.

— Не знаю такого.

— Восхитительный фильм.

— О чём?

— Стареющий художник пытается написать картину, ему позирует молодая девушка.

— Голая? Раз стареющий художник, то девушка должна обязательно быть голой. Ничего нового никто не придумал. Всем нужно молодое тело, голое тело.

— Да, она была голая, — торопливо кивнул Дядя Фёдор. — Но дело не в этом. Там потрясающая атмосфера. Я словно воздуха вдохнул.

— А раньше не дышал, что ли?

— Было такое ощущение после фильма, что раньше не дышал.

— У тебя, что ли, голых моделей не было?

— Что ты к голой модели прицепилась? — спросил Дядя Фёдор, начиная раздражаться. — Не знаю, как режиссёру удалось, но он наполнил фильм состоянием… Состоянием рождения, что ли. Художник медленно погружается в состояние творчества. И всё происходит у нас на глаза. В реальном времени он рисует картины, черновые наброски.

— Тебе это понравилось, потому что ты сам художник.

— Я фотограф, — поправил Фёдор, пуская табачный дым в потолок.

— Это одно и то же. Все вы одинаковые, кто в творчестве варится. Вы часто обнажённое тело фотографируете? — спросила Наташа. — Я бы не смогла раздеться перед посторонним.

— Дядя Фёдор уговорит, убедит, не сомневайся, — сказал кто-то у неё за плечом.

***

Целомудренность — чушь… Так думала Наташа, всматриваясь в окружающую жизнь… Всё вокруг чушь. Подлость. Обман. Рвачество… Но так невозможно жить… Почему совсем недавно все говорили по-другому? Почему у нас не было грязных мыслей? Мы даже о сексе думали так, словно это было романтическое свечение в груди, а не примитивный «трах»… Какое мерзкое слово — «трахаться»… Совсем недавно девочки стремились учиться, получить образование, профессию. Теперь всякая женщина считает своё влагалище важнее головы…

Наташа ехала на свою первую фотосессию к Дяде Фёдору. Она

хотела получить красивый портрет. Теперь все бросились фотографироваться у профессионалов, собирали так называемый «портфолио» на всякий случай (а вдруг пригодится). Наташа тоже решила сфотографироваться.

Студия Фёдора была скромной, но аппаратура и осветители хорошие. Он ловко управлялся с фоном и освещением, и Наташа чувствовала себя спокойно…

Портрет крупным планом, портрет средним планом, фигура целиком. Приспустить рубашку с одного плеча…

— Наташа, давай попробуем обнажёнку, — сказал он спокойно.

Она решительно отказалась.

— У тебя ведь был мужчина?

— Ты про секс?

— Да.

— Был, — как-то угрюмо кивнула она.

— Значит, ты раздевалась перед мужчиной.

Наташа опять кивнула.

— Но это ведь было только для нас двоих, — неуверенно сказала она.

— И фотографии будут только для нас двоих. Если я буду показывать их, то исключительно в профессиональных кругах. А ты сохранишь их на память. Поверь, однажды ты захочешь увидеть себя сегодняшней. Через много лет захочешь. И у тебя будут снимки… Ну?

— Я не готова…

Фёдор положил ладони ей на плечи.

— Давай сделаем так. Сейчас ты выйдешь в соседнюю комнату, разденешься и завернёшься в эту огромную шаль. Ты вернёшься, и мы будем разговаривать.

Наташа долго думала и согласилась.

Она вернулась под осветители плотно завёрнутая в тёмно-пунцовую шаль и села, опустив голову. Она ощущала себя голой, несмотря на эту шаль, закрывавшую её до подбородка.

Фёдор рассказывал ей о том, как свет работает на фотографии, как с помощью света выстраивается рельеф, объём, фактура. Иногдаон отходил и делал пару-тройку снимков. Наташа понемногу расслаблялась. Он просил то улыбнуться, то нахмуриться, то изобразить лицом мечтательность. Затем поправлял шаль, и Наташа не сразу поняла, что её тело понемногу стало открываться. И всё же она оставалась укрытой.

— Теперь давай так поступим, — сказал Дядя Фёдор. — Накинь шаль на голову, но не придерживай её руками на груди. Пусть она свободно стекает по тебе.

Наташа повиновалась. Шаль слегка распахнулась, обнажив проём между девичьими грудями. В этот момент Наташа испугалась, решив, что она вся открылась для постороннего взгляда. Фёдор быстро сделал несколько снимков.

— Теперь посмотри наверх. Ты — мадонна, ты молишься.

Она послушно подняла глаза к потолку.

— Потрясающе! Великолепно!

В следующее мгновение Дядя Фёдор ловко сдёрнул с неё шаль. Наташа оторопела. Взгляд застыл, полный испуга.

— Вот так! Чудесно! Умница!

Он подошёл к ней и нежно поцеловал в лоб.

— На сегодня достаточно. Ты прошла инициацию.

Она испытала облегчение, но одновременно и жалость, потому что была готова обнажиться уже целиком, потому что какой-то важный рубеж был пройден.

— У меня получилось? — робко спросила она.

— Ты думаешь, что именно это надо скрывать от других? Это ли ужасно? Это ли бессовестно? В этом ли стыд? А твои мысли не страшнее, не грязнее? Великие ваятели из мрамора вытачивали вечную красоту обнажённого тела. И мы продолжаем восхищаться той красотой. А мыслям никто не ставит памятников, потому что мысли порочны. Не голое тело делает человека греховным, а мысли… В мыслях порок и стыд, а не в наготе.

Он приглашал её несколько раз в свою скромную студию, и постепенно Наташа раскрепостилась. Она стала испытывать даже удовольствие, раздеваясь перед нацеленным на неё объективом фотокамеры.

Фотографии были хороши, но Наташа понимала, что показать их она не могла никому. Не осмелилась бы.

***

— Наташа? Здравствуй. Это Анатолий Лукин. Помнишь?

— Да, — удивилась она, отстраняя телефонную трубку, в которой что-то трещало.

— Наташ, ты сейчас где?

— Курьером устроилась.

— В отель хочешь?

— Куда? Кем?

— Мой приятель набирает персонал. Я ему про тебя рассказывал.

— А что обо мне рассказать можно? — хмыкнула она.

— Что красивая, исполнительная, знаешь английский язык. Запиши его телефон, скажешь, что от меня… Они персонал набирают на reception.

— Куда?

— Гостей принимать, по номерам расселять. Шикарный отель. Соглашайся…

Так она получила новую работу.

В каком-то смысле это был тот же искрящийся мир богатых людей. Одни приезжали в Москву на переговоры, другие приезжали на гастроли, третьи — на международные конференции. Красивый, холёный, вычищенный до блеска мир. Лёгкая суета при отъезде, лёгкая усталость при приезде. Кофе, коньяк, едва слышимая музыка где-то под потолком. Почти уютно. И никто не мог обвинить в воровстве.

Reception — это её крепость. Наташа радушно улыбалась постояльцам. Её английский нельзя было назвать безупречным, но он был живым, лёгким, простым. Её все понимали, к ней все обращались. Она была обаятельной. Работники ресепции жили своим коллективом, держались на расстоянии от начальства, ничего не обсуждали на служебном месте. Наташа уставала, но была довольна. Роскошный отель, чистота, шик, изящество, знаменитые на весь мир гости, фотографии с ними на память…

***

Узнав о своей беременности, Наташа растерялась. Ведь это была случайность. Надо было немедленно решать, избавляться от ребёнка или нет. Она не могла решиться, и ребёнок появился на свет. Отцом был беспутный мальчишка-коллега, страдавший игровой зависимостью. Положиться на него Наташа никак не могла. Так она стала матерью-одиночкой.

***

Вскоре после рождения мальчика Наташу нашёл Павел. Она уже купила свою однокомнатную квартиру, в чём ей помог директор отеля, став на короткое время её любовником. Но почти сразу после того, как

он помог ей с деньгами на квартиру, он погиб в автокатастрофе. Случайно это произошло или авария была подстроена в те бандитские времена, никто особенно не разбирался. На отель давно заглядывалась конкурирующая компания с кавказскими корнями. Руководство сменилось, персонал остался прежним.

После этих потрясений и появился Павел.

— Как ты живешь, Наташа? — спросил он, пригласив её в ресторан.

— Без особых потрясений, если смотреть на окружающих. С одной работы выгнали, обвинив в воровстве. С другой работы ушла, потому что там бандиты стреляли. Сейчас директор мой погиб… Паша, я хочу в прошлое. Мне не нравится всё, что теперь происходит в стране. Что будет завтра?

— Хочешь в прошлое? Ностальгия — это когда всё чаще употребляется слово «вчера», а не «завтра».

На некоторое время Павел поселился в её крохотной и очень чистой квартирке, но ему страшно мешал младенец.

— Наташ, я всё-таки переберусь на квартиру жены, там тихо.

— Жены?.. Ты собирался развестись.

— Всё как-то не складывается с разводом… Ты прости меня…

Понемногу Наташа узнавала из их разговоров детали его жизни. Оказалось, что он был женат уже дважды и что жил довольно долго у женщины в Москве, на которой собирался жениться после развода со второй женой, то есть почти с третьей женой.

— То есть ты был всё это время в Москве и не дал о себе знать? Паша, ты жил у какой-то женщины, но не был со мной? И я подзалетела от какого-то сопляка из-за того, что ты скрылся, пропал? Паша, как так!

— Наташ, у меня такая жизнь, что я вынужден вести полулегальное существование. Это политика, понимаешь? Мне не хотелось подвергать тебя опасности. Ты же помнишь события в Доме Правительства. Мне пришлось уходить оттуда по канализационным каналам… Клоака Максима, — горько хмыкнул он.

— А теперь опасности нет? — с детской доверчивостью спросила она.

— Сейчас всё в порядке, — он жадно поцеловал её в губы.

И она поверила его вкрадчивому голосу.

— Но политика никуда не делась, Наташ. Я всё равно… я веду борьбу… я не могу без этого. Есть идеи, ради которых надо рисковать. Только ты не бойся, ты вне опасности. Я никогда не подвергну тебя

опасности. Веришь?

Она верила.

Он был интересным. Водил её в музеи и в кино, у него была богатая коллекция видео, и он с удовольствием рассказывал Наташе об этих фильмах. Он поразительно много знал, и она просто слушала его. Иногда они уезжали в другие города. Иногда Павел исчезал на какое-то время, ничего не сообщая Наташе о сроках своего возвращения.

— Ты меня не любишь, Паша, — сказала однажды она.

— Разве я говорил когда-нибудь о любви?

— Нет.

— Тогда какие у тебя претензии? Если я тебе в тягость, я уйду.

Она не хотела, чтобы он уходил. Он становился с каждым днём циничнее и бесцеремоннее, чувствуя её слабость и привязанность к нему. Как-то он нашёл в шкафу фотографии, сделанные Дядей Фёдором и порвал их, не оставив ни одной.

— Почему? Зачем ты, Паша?

— Это нехорошо. Ты там голая. Мне это не нравится.

— Но это ведь искусство, а не порнография! Ты часто смотришь порно, и я не упрекаю тебя, хоть мне и не нравится это.

— Если тебе не нравится, то я уйду прямо сейчас…

И он уходил. Она звонила ему, просила вернуться. Он возвращался, опять исчезал и опять приходил после нескольких нежных телефонных разговоров.

— Впечатления похожи на жвачку. Сначала много вкуса, но скоро ничего не остаётся. Я предпочитаю дело, а не впечатления, — говорил Павел.

— Но ведь ты возил меня в Питер, мы бродили по улицам… Зачем, если тебе не важны впечатления, если тебе не нужно настроение. Ты лжёшь мне, Паша. Ты хочешь выглядеть… ты хочешь казаться грубее, циничнее, чем ты есть. Зачем? Почему?

Он громко чмокнул её в щёку.

— Я такой, какой есть. И тебя, похоже, устраивает это. Или нет? Ты любишь остроту отношений, любишь скандалить понемногу, потому что тебе нужны встряски, после которых наше сближение становится тебе сладким. Я правильно всё оцениваю? Или ты хочешь, чтобы мы перестали встречаться?

— Не хочу.

***

Сестра Оля навещала Наташу, когда Павла не было дома, он ей не нравился. Павел не нравился никому из друзей Наташи.

— Мама постоянно звонить мне, — жаловалась Наташа, — орёт на меня, требует внимания, обзывает блядью.

— Знаешь, почему мать так обращается с тобой? Ты для неё — свидетельство, скажем так, её свободы в прошлом. Она была красива, у неё и по сей день есть воздыхатели. Правда, теперь они не любовью занимаются, а водку жрут, но не в этом дело. Она любила себя, своё тело, любила чужую любовь к себе. И ты родилась от той жизни.

— А ты разве не от той жизни?

— Я была случайностью. Она была невинна, ничего не умела и толком не знала о сексе. Она просто подзалетела. Так и вылупилась я… А потом наша мама распробовала секс, втянулась.

— Ты думаешь, она сильно гуляла?

— Она была первостепенной блядью, Наташ.

— Не надо так…

— Почему? Так оно и было. Она гуляла направо и налево. Она упивалась жизнью. Как-то я нашла её дневник, там много всякого о ней, о её внезапно пробудившемся нимфоманстве.

— Не может быть!

— Может, Наташенька, может.

— Где этот дневник? Я хочу прочитать сама.

— Она застукала меня над ним.

— Ругалась? Поколотила тебя?

— Какой смысл… Забрала молча. Наверное, уничтожила, сожгла… Ты похожа на неё внешне. Она видит в тебе себя… Поэтому, думаю, сожалеет об ушедшем, о невозвратном. И ненавидит тебя, потому что у тебя всё впереди, вся сладость жизни. А ей только винище осталось…

***

Павел исчез. Наташа ездила по всем адресам, где когда-то бывала с ним, но нигде не могла найти его. Очень редко он присылал ей двусмысленные SMS-сообщения. Иногда пошлые сообщения. Иногда грубые. Он мог позвонить и произнести нежные слова и опять замолчать надолго.

— Он меня закабалил, понимаешь? — Наташа заплакала. — Он играет со мной.

— Прекрати общаться с ним, заблокируй его телефон, — настаивала сестра. — Займись сыном, он важнее для тебя.

— Мне важнее Павел.

— Ната, у тебя есть сын. Его надо учить, воспитывать. Он важнее любых мужиков, любого самого упоительного секса. Ты слышишь меня?

***

Вечером она встретила цыганку возле своего дома. Та окутала Наташу многословием и уговорила «погадать» и открыть «всю правду». Наташа согласилась.

— Такая страсть не приводит к добру.

— А какая приводит?

— Никакая, — цыганка замолчала, разглядывая Наташину ладонь. — Страсть это болезнь, моя золотая. С болезнью бесполезно бороться.

— Но ведь больные люди часто выздоравливают.

— Больные — никогда.

— Не понимаю.

— Люди выздоравливают, да, такое случается. Но для этого они должны перестать болеть. Надо избавиться от источника болезни. Тогда болезнь просто уходит, перестаёт быть.

— Не понимаю. Почему вы говорите «люди», но не «больные»? Вот я кто?

— Ты больная.

— По-вашему, больные — не люди?

— Больные не владеют собой, ими владеет болезнь. А человек — кто владеет собой. Понимаешь, золотая моя?

— Что вы на руке моей видите?

— Возможности вижу. А больше я сказать тебе не могу.

— Я дам денег, скажите мне правду.

— Правды нет, золотая моя. Есть только твой выбор.

Цыганка вдруг щёлкнула пальцами, развернулась и пошла прочь, покачивая многоцветной юбкой.

— Подождите! — громко крикнула Наташа. — Помогите же мне!

Цыганка не обернулась.

***

Зимой Наташа перестала выходить на связь с подругами. Телефон звонил редко, и она отвечала нехотя, односложно, будто слова стали слишком тяжёлыми, чтобы поднимать их с донышка горла. Ребёнок рос

тихим, беспокойным, будто чувствовал материнскую пустоту. Она кормила его, качала, меняла пелёнки — всё это механически, будто не она, а кто-то другой управлял её руками. По ночам Наташа лежала с открытыми глазами и слушала по телефону, как мать пьёт в одиночестве, иногда плачет, иногда поёт. В такие минуты Наташа ненавидела себя за то, что не чувствует ничего, кроме усталости. Даже жалости не было.

Павел не звонил. Она сама тоже не звонила ему — гордость или страх, она не понимала. Иногда ей казалось, что он умер, иногда — что непременно услышит о нём в телевизионных новостях…

Она встретила его весной. Павел стоял у лотка с книгами, перебирал потрёпанные тома. Он похудел, лицо стало серым, усы уже не казались такими густыми. Глаза у него были чужие — не холодные, как в телерепортаже, а пустые. Будто кто-то выключил свет.

— Паша, — сказала она тихо, и он вздрогнул.

Обернулся. Посмотрел на неё долго, неузнающе. А потом улыбнулся — той улыбкой, от которой у неё когда-то подкашивались ноги. Но сейчас ничего не подкосилось. Она стояла ровно.

— Наташа, — сказал он. — Ты изменилась.

— Все меняются.

— А я нет.

Она не стала спорить. Они постояли молча. Потом он предложил выпить кофе, и она согласилась, потому что не нашла причины отказать.

— Всё кончено, — наконец сказал он. — Наша организация запрещена, мои товарищи разбежались. Теперь я никто.

— Ты всегда был не никто, Паша.

— Это ты так думала. А я был идейным вдохновителем. Идеи умирают быстрее людей.

Она хотела спросить про жену, про сына, про те квартиры с газетами и пыльным зеркалом, но язык не поворачивался. Вместо этого она спросила:

— Ты меня любил?

Он поднял глаза. В них что-то дрогнуло, но быстро погасло.

— Я не умею любить, Наташа. Я умею только воевать. Сначала с другими, потом с собой. Тебя я… мне было хорошо с тобой. Ты была как тишина после боя. Но когда бой закончился, тишина стала не нужна.

Она не заплакала. Кивнула, допила свой остывший кофе и встала.

— Прощай, Паша.

Он не остановил её.

— Поедем ко мне, — попросил он.

***

Дома она долго сидела на кухне, смотрела на спящего сына. Мальчик-подросток дышал ровно, во сне улыбался чему-то своему. Наташа вдруг с остротой поняла, что не оставила в этом мире ничего, кроме него. Ни любви, ни работы, ни веры. Даже прошлое — и то рассыпалось, как старая газета.

Она взяла со стола баночку со снотворным, купленную полгода назад по рецепту для матери. В баночке оставалось много. Слишком много.

— Только не вздумай, — раздался вдруг голос матери из коридора, хотя матери там не могло быть. — Я всё вижу, Наталья. Ты думаешь, я не знаю, что у тебя в голове?

Наташа не обернулась.

— Отстань, подумала она, — поддерживая разговор.

— Я такая же была, — мать подошла ближе, тяжело опираясь на косяк двери. — Думала, что любовь — это всё. Что без мужчины — пустота. А потом поняла: никакой пустоты нет. Есть только ты сама. Или ты есть, или тебя нет.

Вот уже и слуховые галлюцинации, подумала Наташа и проснулась. Она сидела на кухне. Где-то далеко, за домами, разгорался закат — красный, тревожный, как пожар.

***

Через несколько дней Павел переехал к ней и остался, даже не попросив об этом. Она не выгнала его. Их совместная жизнь восстановилась как бы сама собой. По утрам он сидел на кухне, пил крепкий чай, не глядя в окно, будто боялся увидеть город, где продолжалась жизнь, в которой ем не было места. Через некоторое время он устроился охранником в соседний гаражный кооператив. Получал копейки, но Наташа не прогоняла его. Сын рос, и Павел вдруг потянулся к мальчику. Сначала Наташа даже радовалась — в доме появился мужчина, пусть и сломленный, но живой. Он разговаривал с Димкой серьёзно, как со взрослым, читал ему книги, рассказывал историю. Он хорошо знал историю.

— Не ту, что в школе, — усмехался Павел. — Настоящую.

Наташа не придавала значения их беседам. Она уставала на работе, валилась с ног, а когда замечала, что Павел слишком долго говорит с сыном о войне, о предательстве, о чести, — отмахивалась.

— Он мальчишка, — говорила она. — Не грузи его.

— Мальчишки — самые благодарные слушатели, — отвечал Павел. — Они впитывают правду, пока взрослые не начинают засерать им мозги.

Димке исполнилось двенадцать, когда Павел подарил ему нож. Красивый, финский, с ложбинкой на лезвии. Наташа закатила скандал.

— Ты с ума сошёл! Ему в школу! Он либо потеряет его, либо поранится! Он у меня бестолковый…

— Он не потеряет, — спокойно сказал Павел. — И не поранится. Я его научил.

— Чему научил?!

— Всему, что нужно мужчине, чтобы выжить.

Она выхватила нож и выбросила в мусоропровод. Димка плакал после этого. Павел молча курил на балконе, глядя в серое небо. А через неделю он подарил сыну другой нож, и Наташа не нашла его.

***

Время шло. Павел менялся. Из затравленного беглеца он снова превращался в того, кем был когда-то — твёрдого, убеждённого, опасного. Только теперь у него не было оружия. Не было знамён. Не было армии. Был один мальчишка, который смотрел на него с обожанием, как на бога.

— Ты готов, — сказал Павел однажды вечером. Димке исполнилось пятнадцать. — Ты сильнее меня в его возрасте. Ты знаешь правду. А правда в том, что этот мир построен на лжи. И единственный способ очистить его — сжечь.

— Что нужно делать? — спросил мальчик, и голос его не дрогнул.

Наташа услышала этот разговор из коридора. Сердце ухнуло вниз, как камень в прорубь.

— Паша, — сказала она, входя на кухню. — Оставь его. Он мой сын.

— Он уже не твой, — не оборачиваясь, ответил Павел. — Он сам свой. Я только показал путь.

— Какой путь? В петлю?

— Наташа, — Павел повернулся, и в глазах его не было ни тени сомнения. — Мы живём среди врагов. Кругом предательство, трусость, деньги. Единственное, что осталось настоящим — это готовность умереть

за идею. Если он умрёт — он станет легендой. Если выживет — он победит. В любом случае он будет свободным.

— Это не свобода, это смерть!

— А жизнь без идеи — не жизнь, — сказал Димка, глядя на мать чужими, холодными глазами. Такими же, какими когда-то смотрел с экрана телевизора Павел.

***

Она пыталась остановить. Запирала сына в комнате. Рвала в клочья какие-то бумажки, которые он прятал под матрасом. Кричала. Плакала. Умоляла Павла уйти. Он ушёл — на три дня. Но вернулся, потому что Димка сам позвал его. Мальчик стоял на пороге и смотрел на мать с жалостью, от которой у Наташи немели пальцы.

— Ты ничего не понимаешь, мам. Ты слабая. Дядя Павел научил меня быть сильным.

— Павел — трус! — выкрикнула Наташа. — Он сбежал по канализации, когда другие умирали! Он предал всех, кого учил! А теперь он хочет, чтобы ты умер вместо него!

Павел, стоявший за спиной мальчика, не сказал ни слова. Только улыбнулся — грустно, снисходительно, как учитель, услышавший глупый ответ ученика. Димка не обернулся. Он верил не матери, а Павлу.

***

Первый выход «на дело» Павел назначил на осень. Снова осень, подумала Наташа, когда Димка, собранный, молчаливый, застегнул чёрную куртку и сунул в карман свёрток. Павел инструктировал его час. Говорил тихо, чётко, без эмоций. Наташа не слышала ничего сквозь закрытую дверь, сидя на кухне.

— Что там? — спросила Наташа, когда сын выходил из коридора. Она видела оттопырившийся карман его куртки. — Паша, куда ты его посылаешь? Он что, курьером теперь в твоих тёмных делишках?

Павел не ответил.

— Мам, не бойся, — сказал Димка с каким-то странным, пугающим торжеством. — Всё будет хорошо.

Она хотела броситься к нему, схватить за руку, удержать. Но ноги не слушались. Она чего-то боялась. Она стояла в прихожей, как приклеенная, и смотрела, как сын открывает дверь. Последний раз она увидела его спину — прямую, уверенную, почти взрослую. Потом дверь закрылась.

Павел подошёл к окну.

— Не смотри, — сказал он. — Так легче.

— Что ты наделал, — прошептала Наташа. — Что ты сделал с моим ребёнком?

— Он сам выбрал.

— Ему пятнадцать! Он ничего не выбирал! Ты зомбировал его! Ты вытравил из него всё живое и засунул туда свою дохлую идею! Ты трус, но хочешь, чтобы какая-то твоя идея жила за счёт других. Куда ты направил его? Что ты велел сделать?

Павел промолчал.

Наташа отвернулась и подошла к окну. Сердце тревожно колотилось. Неумолимо потянуло в сон.

***

Вечером по телевизору сообщили о взорвавшемся автобусе. Показали крупным планом развороченный автобус, окровавленные носилки, лица очевидцев. Следователи высказали осторожное предположение, что взрывное устройство вёз подросток. Вероятно, взрыв произошёл случайно. Так сказали следователи. Это их версия. Имя подростка не называли. Но Наташа знала. Она смотрела на экран и не верила, что этот обугленный кусок плоти, который вытаскивали из-под обломков, — её сын. Не верила, но знала, что это её Димка, который ещё утром пил чай с печеньем и улыбался во сне.

Павел стоял за её спиной. Она чувствовала его тяжёлое дыхание.

— Ты убил его, — сказала она спокойно, почти ласково.

— Он должен был только отвезли пакет, — ответил Павел. — Но он был неаккуратен…

Наташа медленно повернулась. В руке у неё был кухонный нож — тот самый, второй, который она когда-то не нашла у сына. Оказывается, он лежал в ящике всё это время, под салфетками, дожидался.

— Наташа, — Павел сделал шаг назад, но упёрся спиной в стену. — Не надо.

— Ты пришёл в мой дом, — сказала она, и голос её не дрожал. — Ты переспал со мной. Ты трахал меня, пока я верила, что это любовь. Ты подчинил меня себе. А потом ты украл моего сына. Забрал его, как вещь. И убил. Своими руками. Через его же руки.

— Я не убивал… Я хотел как лучше, я учил его жизни, хотел дать ему идею, ради которой жить, — хрипло ответил Павел, внезапно утратив

бархатистость своего вкрадчивого голоса.

— Ты хотел как для себя, — поправила Наташа. — Ты всегда хотел только для себя. Даже когда бежал по дерьму в канализационных стоках, ты спасал только свою шкуру, а не идею.

Она ударила один раз. Точнее некуда. Павел охнул, схватился за живот, тяжело и сразу рухнул на пол. Кровь быстро залила рубашку, потекла по пальцам, по линолеуму, смешиваясь с запахом канализации, который никак не выветривался из него даже через годы.

— За что? — спросил он, глядя на неё снизу вверх.

— За Димку, за меня, сволочь, — прошипела Наташа и ударила снова. — За мою слабость. За мою исковерканную жизнь. За все чужие сломанные жизни…

Потом била ножом ещё и ещё. Била до тех пор, пока нож не заскрежетал по рёбрам Павла… А он уже давно перестал дышать.

***

Она сидела рядом с ним до утра. Сидела на полу, обняв колени, и смотрела на его лицо — спокойное, почти счастливое, как у человека, который наконец дождался того, чего заслуживал. В новостях всё ещё говорили о теракте. Эксперты спорили, кто стоял за этим. Диктор сообщил, что погибшему подростку было пятнадцать лет, и назвал его имя. Дмитрий… Откуда они узнали имя? Как жаль… и как стыдно… за себя стыдно…

Наташа закрыла глаза.

В комнате оглушительно тикали часы. Они всегда оглушительно тикали, когда Наташа чувствовала себя одинокой. Где-то за окном начиналось утро — серое, осеннее, холодное. Такой же, как много лет назад, когда она впервые увидела Павла по телевизору и не смогла отвести взгляда.

Она встала, вымыла руки, набрала номер сестры.

— Оль, приезжай. И возьми с собой лопату.

— Что случилось?

— Случилась осень, — сказала Наташа. — Она всё никак не кончится.

***

Через три дня Наташу арестовали. Соседи пожаловались на запах, а дворник увидел у мусорных баков чёрные мешки, из которых сочилась бурая жижа. Следователь смотрел на неё устало, без интереса.

— Зачем вы его убили?

— Он уничтожил моего сына, — ответила Наташа. — Он запутал моего сына, вовлёк его… Димка сам был жертвой, — покачала головой Наташа. — Он был… Это я сделала его безвольным, я не занималась им, моим мальчиком… А Павел с первого дня начал делать из него своего солдата… Он заставил его поверить… Я поздно убила его… Надо было раньше… Надо было много лет назад… При первой встрече…

Она не плакала. Только просила сигарету, хотя никогда не курила. И когда ей дали, долго смотрела на дым, уходящий под потолок кабинета, и улыбалась чему-то своему. Следователь потом сказал коллегам: «Поехавшая совсем. Смеётся без причины».

А она не смеялась. Она просто вспомнила тот день, первый, когда Павел целовал её руку у подъезда, и поняла: болезнь началась тогда. А закончилась только сейчас. Сырой осенью, в камере предварительного заключения, с чужим табачным дымом в лёгких.

***

Ольга забрала всё, что осталось: фотографии, детские рисунки Димки.

— Осенняя болезнь, — бормотала Ольга, закапывая конверт с Наташиными вещами на пустыре, то ли хороня их в безликой могиле, то ли пряча, чтобы однажды выкопать и ощутить пережитое горе. — Страшная штука. Лекарства нет.

Ветер донёс запах гари. Где-то далеко, за домами, снова играла музыка, смеялись люди, ехали машины. Жизнь продолжалась, как будто ничего не случилось. Как будто никогда и не было никакого Павла. Никакого Димки. Никакой Наташи.

А Наташа сидела в камере и смотрела в маленькое зарешёченное окно, за которым падал первый снег. И плакала впервые за много лет, никому не жалуясь. Беззвучно, страшно, выплёскивая из себя всю боль, которая копилась с той самой осени, когда она впервые увидела Павла на экране телевизора и не смогла отвести взгляд.

Июнь 2026

Последний звук дождя

Зной… Непосильная вязкая духота… Наверное, приближается гроза…

Сергей лежал, голова кружилась, всё уплывало куда-то… В тяжёлых океанских волнах тонули мысли… Тошнота… Иногда ему казалось, что организм пытается выпотрошиться, вытрясти из себя всё, что он когда-то испытал, чувствовал, дабы избавиться от невысказанного прошлого, от невысказанного себя.

Марина, протирая его лицо влажным носовым платком, повторяла:

— Всё образумится, милый.

Она сама изнывала от нагрянувшей июльской жары, пот струился по её красивому телу, платье намокало на груди и под мышками. Она ухаживала за Сергеем уже несколько дней, с тех пор как он слёг в этой душной комнате, где даже утренний свет казался медленным и безрадостным.

— Я хочу всё забыть, хочу вычеркнуть прошлое, хочу стать другим, — прошептал Сергей, глядя в потолок. — Но я не хочу вычёркивать тебя… В тебе столько красоты, Марина… Столько понимания… Только в тебе спасение… Остальное надо вычеркнуть…

Марина покачала головой:

— Если только вычёркивать старое, новое не родится, ибо оно вырастает из прошлого. Ты же знаешь это.

Она провела горячей ладонью по его горячему белому лбу.

Он слабо улыбнулся. Она знала его наизусть. Знала, что он трогательно верит в чистую любовь, хотя сам никогда не умел быть ни чистым, ни верным. Однако сейчас это не имело значения.

Ему представилась картина их первой встречи. Судьба свела их…

На высокой скорости его автомобиль врезался в столб. Марина видела это. Она находилась в нескольких шагах от того столба. Она ждала, она пришла на свидание… Автомобиль вмялся в столб, рассыпался брызгами стекла, искрами, потоками каких-то немыслимых запахов. Сергей был вмят в раздувшуюся подушку безопасности, по лицу текла кровь… Спасатели разрезали автомобиль, чтобы извлечь Сергея…

Он увидел её, теряя сознание, и протянул руку в её сторону.

Он умирал… Она понимала это. Он пытался улыбаться, шептал что-то многословное, исповедальное.

— Вы не поверите, но мне радостно. Я чувствую, что вот-вот покину мир. На душе торжественно. И очень нетерпеливое состояние. Я жду этого момента… Уйду отсюда. Не подумайте, что мне не нравится моя жизнь. Нравится и нравилась. Но я чувствую, что сейчас закончу то, что делал как-то не так…

Он не умер тогда. Что-то удержало его здесь. Возможно, это был образ Марины. Не случайно же он протянул к ней руку… Он будто вцепился в неё и через её образ, поразивший его, удержался *здесь*.

Она была потрясена увиденным. Ошеломлена чужой болью и осознанием того, насколько хрупка человеческая жизнь и непредсказуема. Она ясно представила, что могла каких-нибудь пять секунд назад не отойти от того столба. Автомобиль раздавил бы её, сплющил свирепым ударом всей своей массы… Но она отошла. Всего на несколько шагов отошла, и эти шаги отвели её от гибели.

Сергей не погиб. Она приходила к нему в больницу. Приходила потому, что он стал олицетворять для неё Судьбу.

Теперь он опять умирал, но совсем по-другому. Пять лет отделяло его от той смерти. Долгие пять лет счастья, слитых с пятью несчастливыми годами.

— Помнишь, я вернулся однажды с лекции очень недовольный? Помнишь? — бормотал он, пытаясь нащупать руку Марины. — Что-то не понравилось мне в моём выступлении. Очень хотелось исправить. Для этого надо было осмыслить всё заново и опять взойти на кафедру. Но нельзя было взойти туда снова, ведь лекция закончилась, слушатели разошлись… Моя жизнь подобна той лекции. Надо заново подняться на кафедру с прежней темой… Необходимо отдохнуть, собраться с мыслями и повернуть время вспять. Поэтому я рад. Я ухожу отдыхать. Волнуюсь, как перед поездкой.

Марина слушала, и по её щеке скатилась слеза. Марина отёрла лицо ладонью, пытаясь усталым движением сбросить пот с лица. Она не перебивала. За окном качался душный ночной воздух.

Утро наплывало медленно. Из тумана тянулись корявые голые ветви. Надвигались густые ели. Шишки налипли светлыми точками на мохнатой хвое. Сергей смотрел в окно и видел этот мир в последний раз. Он

вспоминал, как однажды сказал про свою мать: «Ужасно много ест. Не ест, а жрёт. Глотает всё без разбору. Чавкает противно. Отирает слюни с подбородка тыльной стороной руки». Он ненавидел ненасытный взгляд матери. В нём виделось животное, которое набило брюхо и теперь мечтало о другом удовольствии. И это его мама? Это — родившая его женщина?

Сергей любил думать о людях, говорить о них, вылепливать словами их портреты. Говорить о том, как они задыхаются друг от друга. Люди служили ему кормом, они питали его воображение, но он не любил их. Он постоянно ощущал затхлое тепло тел в городском общественном транспорте. От кого-то разит терпким лосьоном. Откуда-то исходит удушливая сладость. Ворчливо кудахтает старуха, изливая недовольство, не адресованное никому конкретно. Парень жадно льнёт к девушке, у него липкие руки и липкая шея. Мужчина с пунцовыми рыхлыми щеками с трудом удерживает отяжелевшую хмельную голову. Перегар в воздухе.

Сергей и сам когда-то был таким. Таким же, как все. Тем он и привлекал Марину: своей слабостью, за которой пряталась злоба ко всем, которую всё-таки перекрывала сила его таланта, его поэтичность, его стремление взлететь над землёй. Но земля тянула вниз… Его мать служила своего рода воплощением жизни: некогда красивая, она утратила свою красоту, уничтожила себя физически и духовно., уничтожила нелюбовью к окружающему миру. Она обожала сына, но не умела проявить свою любовь. Все её чувства трансформировались в ненависть ко всем, кого любил Сергей. Она ревновала, и животная ревность её таила в себе неодолимую примитивную первобытность. Она ревновала Сергея ко всем и ко всему. Его увлечения, его работа, его талант, уводивший его в неведомые пространства, — всё она принимала в штыки, во всём видела враждебность. Она умерла, задушив себя ненавистью.

Сергей долго жил с ней под одной крышей, но после встречи с Мариной ушёл. Он хотел освободиться от матери. Порвал с ней. Но это не принесло ему чувство освобождения. Он понемногу стал приходить к мысли, что его давит жизнь, все проявления жизни — социальные, физические, нравственные. Начав жить с Мариной, он не обрёл свободу. Он получил только радость коротких минут их близости… Короткие минуты забытья… Он пытался продлить их алкогольным опьянением…

Не помогало, раздражало, угнетало.

И вот он лежал, мокрый от душного воздуха и внутреннего жара.

— Всё вокруг есть система запретов, — сказал он вдруг. — Культура — система запретов. Хамство — отказ от запретов. Хочу хамить, кричать, рвать всё, до чего дотянусь… Всё обмануло меня… И я обманул всё…

Марина промолчала. Она знала, что сейчас он говорит не с ней, а с кем-то внутри себя. Возможно, он говорил с тем старым шаманом, которого он встретил в юности. Он иногда вспоминал костлявые кулаки шамана. Сергей забросал его вопросами, а старик односложно буркнул в ответ: «Учись. Сам откроешь свою дверь». Сергей рассказывал, что у шамана были горькие складки у рта. Погасшие глаза. Усталость. Изнемогающий без поленьев костёр.

Сергей закрыл глаза и слушал смутные отголоски героических историй. Чужих историй, которые вливались в него в эти клубящиеся минуты.

— Любовь ушла… как вздох, — прошептал он.

Он вспоминал свою жизнь, и она казалась ему мелькающим американским кино, которое стыдно обсуждать. Мусор нельзя обсуждать.

— Жизнь моя вовсе не кажется мне ничтожной, но события, составляющие её, — ничтожны, — сказал он тихо.

Марина взяла его за руку. Она помнила, как задумчивость Сергея всё чаще становилась топью. Сергей исчезал там. «О чём ты думаешь?» — спрашивала жена. Он смотрел на неё странно и качал головой: «Туда нельзя. Это моё. Не могу рассказывать об этом. Ты умрёшь там, любовь моя. Ты не выдержишь».

Он всё чаще говорил о пустяках, но было видно, что в тех пустяках ему открывалось что-то великое. Это было видно, но не было понятно.

— Нашу жизнь нельзя оскорблять. Историю нельзя оскорблять, её следует уважать. История — это наши предки и наш опыт. История это мы сами, — сказал он, разглядывая трещину на потолке. — Мы так много прошли, но никуда не пришли… Мы… Люди… Ты и я… Нам необходимо вернуть прошлое, оживить его…

— Людям больно говорить о прошлом, там много ошибок, — ответила Марина.

— Это можно преодолеть, — ответил он, широко открывая просветлевшие внезапно глаза. — Только победив страх в себе, можно

стать человеком. Освобождение от всех страхов, больших и малых, — вот цель и задача. Я читаю то, что написано сейчас передо мной. Вот бегут передо мной слова, я читаю их тебе, Марина. Читаю себе. Я вижу другой мир…

Он помолчал и добавил:

— Если канатоходец потеряет равновесие, он всё же может удержаться. Но если потерять надежду, то непременно рухнешь в бездну.

Марина сжала его пальцы. Она знала, что он всегда верил в мудрость, даже когда сам не мог ей следовать. Если совет хорош, то какая разница, кто его дал, друг или враг. Враг иногда может быть лучше друга. Друг — всегда враг твоим худшим качествам.

Сергей повернул голову к ней. Глаза его заблестели лихорадочным светом.

— Марина, герои погибают, но о них слагаются песни. Что будет в песне обо мне? Мой ненасытный член, неутолимая жажда женщин? Мои картины? Но что они такое? Жалкое подражание окружающему миру, попытка скопировать то, что скопировать невозможно. Мир слишком огромен. Он раздавил меня…

— Успокойся, дорогой мой.

— Помнишь, как я недавно… или это уже давно?.. Помнишь, как я говорил тебе о цвете кожи… Её так много, этот цвет так разнообразен… Розовые оттенки бесконечны, Мариночка. Иногда этот розовый цвет становится молочным, а иногда желтоватым. И всё это розовый. А есть ещё смуглость — вот уж где раздолье… или это потеря для художника? Обман? Ловушка? Как мне хотелось рисовать, как хотелось овладеть красками. Я ведь ещё молод, правда? Я молодой художник, всего двадцать лет и пишу картины, но так и не нашёл себя…

— Ты себя нашёл, дорогой, ты неповторим. Успокойся. Тебе надо отдохнуть. Вот таблетки. Ты должен слушать доктора…

— Нет… Если бы я нашёл себя, если бы смог выразить то, что я вижу и чувствую, смог передать глубину чувств посредством красок, цвета… Я не нашёл… Я кончился, меня нет больше… Художника нет… И не было…

Он замолчал, и в тишине послышался стук дождя по стеклу. Марина вспомнила, как он однажды сказал: «Постарайся не пролить крови тех, на чьей земле мы живём». Странные слова для художника. Но Сергей всегда был странным.

Она погладила его по голове и прошептала фразу, которую он часто

повторял раньше:

— Живи долго, как горы.

— Человеку столько не нужно, Марина. Человек состоит из поступков, — сказал он, усмехаясь и приподнимаясь на локте. — Остальное — подкладка к ним, обёртка.

Он говорил с трудом, но говорил много, словно боялся не успеть.

— Осознав себя художником, я перестал быть художником. Я утратил свободу, стал зависим от зрителя, от чужого мнения… Я стал бояться, Марина. Всех бояться. Я стал бояться, что моя работа не понравится тебе… Ведь ты — единственное, что у меня есть в мире людей… Я бы убил людей, всех убил бы, — вдруг выпалил он. — Люди чудовищны… Люди и город… Тяжело… Одиноко среди них… Люди и город… — воплощение города, а мне бы хотелось разрушить город.

Сергей был художник от рождения своего. Он дышал цветом, он мыслил красками и формами. Он схватывал линии деревьев и превращал их в линии человеческих тел. Он никогда не спешил, трудился в своём ритме, который отвечал ритму его дыхания и сердца. Живопись составляла смысл его существования. Он не вступал ни в какие творческие общества, хотя хорошо знал, что одиночка не имеет почти никаких шансов на то, чтобы завоевать внимание публики. Все известные живописцы так или иначе «кучковались», пробивались толпой, поддерживая друг друга. Но он не мог, не желал рисовать в угоду каким-то манифестам и уставам. С раннего детства он верил, что есть люди воспринимающие окружающий мир так, как воспринимал его он, что они смотрели на мир так же, как он… его глазами…

Годы самоотверженного труда убедили его в обратном. Не художники правили миром искусства, а потребители. Они хотели украшательства, иногда — просто пятен на стены, а не тонких картин. Искусство давно, оказывается, превратилось в рынок.

Сергей очнулся внезапно. Столкнулся раз, другой, десятый с требованием покупателей и понял, что им не нужно изящество, их не интересует чувство, которым дышит картина. Их интересует лишь оформление интерьера.

С одного и другого бока теснили художники, обладавшие хваткой и готовые работать на заказ. Таких было много. Таких было большинство. И Сергей ушёл в себя, порвав отношения с внешним миром. Он не желал бороться, он хотел жить своим творчеством, внутри творчества, потому

что оно было его сердцевиной.

— Время уходит, — сказал он однажды. — Так рассуждают неудачники… А разве я неудачник? Сколько картин я написал! Моё время всегда было заполнено… Но оно уходит… И с ним, с этим временем, ухожу я…

Он страдал, бился о невидимую стену в поисках понимания, не находил ничего, не находил людей, не находил пространства для себя, пространства, где художник мог показать свою душу, свою боль. Марина видела всё это, но помочь не могла. Она просто была рядом.

— Меня сожрали люди, их непонимание. Меня сожрал этот город, в который я приехал, чтобы получить простор для творчества… Город… Простор есть, понимания нет, желания увидеть меня нет… Этот город раздавил меня… Ненавижу этот город со всеми его людишками… Убыл бы всех…

— О чём ты говоришь? — успокаивающим тоном спросила она. — Разве ты сам не часть города? Тебе раньше нравилось бродить по улицам, ты любовался тенями на стенах, ты любил старые дома.

— Я и себя убил бы вместе со всеми.

— Ты болен, надо отдыхать.

— Я был художником, правда ведь? Марина, я был художником, но город выпотрошил меня, люди выпоторошили меня. Люди — это раковые клетки города. Они плодятся и плодятся и убивают город ежедневно. Но город без людей не может существовать, поэтому он размножает их с бешеной скоростью.

Марина отвернулась, чтобы он не видел её слёз. Она знала, что это не Сергей говорит, это болезнь.

Некоторое время назад он нарисовал картину. Тёмную картину. Он сказал, что это аллегория зла. На полотне застыли тучи, непроницаемые низкие тучи. Лишь в самом уголке что-то проблёскивало. В центре картины была тень, очертаниями напоминавшая фигуру человека с крыльями. Но всё-таки не человек, а тень, густое пятно. Страшное пятно, всасывающее зрителя в себя. Из пятна вылетали красные точки — капли, мелкие капли крови, похожие на случайные брызги от кисти художника. Но то была не случайность. То была кровь, которую проливала тень. Кровь жизни…

После той картины Сергей впал в глубокую депрессию.

— Я бы уничтожил людей, — повторял он всё чаще.

Но Марина помнила его прежним, когда он рисовал светлые картины, наполненные красками радости. Он менялся постепенно, начал злиться на себя, ничего не объясняя, затем его злость переключилась на окружающих. Марина помнила, как он говорил, что все пастыри обманывают свою паству. Нет правителей, заботящихся о своём народе. Народ — дойная корова. Когда корова перестаёт давать молоко, её убивают. Он много говорил. Он не умел сдерживать себя. Иногда Марине казалось, что он говорил не сам, а в него кто-то вселялся, поэтому мысли наслаивались одна на другую, путаясь одна в другой, оттесняя одна другую, не позволяя ни одной прозвучать внятно.

Что же изменило его? Что подточило и сломало его? Что за болезнь?

Сергей снова упал головой в подушку. Глаза его затуманились.

— Рай — это любовь художника к тому, что он делает. Карандаш или краска — это мои инструменты сотворения рая, — прошептал он. — Медитация есть отсутствие ожидания. Медитация есть нахождение внутри процесса. Сейчас я — процесс… Я что-то сотворяю сейчас. Я вижу это. Они… Образы рождаются… Моя мысль рождает их… Я вижу их, Марина… Ты видишь их? Они вокруг… Сколько красоты… Сколько нежности…

Он говорил всё тише, словно уходя в свои глубины.

— В любую картину можно влюбиться, если не искать в ней ответа, а просто принять её краски и формы. Ты видишь, и увиденное тебя радует или не радует. Никакого понимания не должно быть. Понимание только… когда мысль… Образы… Чувства…

Марина взяла его руку и прижала к своей щеке. Сегодня мало людей, которых я люблю, думала она, повторяя его слова. Любовь пробуждается на час или два, пока мы вместе, затем она растворяется где-то, перестаёт быть. Долгая, вечная любовь с неугасимым интересом — только к умершим, к их делам. Эти чужие люди ближе мне, чем кто-либо из живых, ближе даже, чем я сама себе.

— Марина, — позвал он слабо.

— Я здесь, милый.

— Я ухожу. Не бойся. Я ухожу отдыхать.

Она хотела ответить, но слова застряли в сжавшемся горле. Сергей закрыл глаза. Его дыхание становилось прерывистым…

В день его кончины с самого утра шёл дождь. Сергей любил солнце, он наполнял свои картины солнечным светом, они были насыщены

сиянием. Все отмечали этот особый свет. Но теперь шёл дождь. Сергей не любил ни серой погоды, ни дождя. Но дождь пришёл проводить его, словно желал посмеяться над всеми устремлениями умершего художника.

Марина сидела рядом, держа его руку, и смотрела, как капли стекают по стеклу. Она слышала, как за окном мокнут корявые голые ветви, как туман обнимает густые ели. И мир ощущался ей необычайно огромным и пугающим, как Сергей всегда об этом говорил. Она закрыла глаза и вспомнила его улыбку. И поняла, что он наконец-то нашёл тот свет, который всегда искал в своих красках. Только теперь он сам стал этим светом.

10—13 мая 2026

Сочинительство сказок

или

Стирка грязного белья

Когда наступило Послесловие, он, распятый старческой неподвижностью, в последнем накатившем приступе бессильного отчаяния осознал, что подходит к концу заключительный отрезок жизни, рыхлый и вязкий, как тесто, где мягко исчезает в глубине любая брошенная вещица. Пришло время утонуть в смертельной густоте тишины. Одинокий и больной, не способный удержать даже карандаш, чтобы положить на бумагу не сказанные последние слова, он лежал на мятом постельном белье и вбирал в себя запах дряхлости бессмысленного долголетия. Глаза смотрели на перегоревший прозрачный зрачок электрической лампочки под потолком.

Послесловие было молчаливым и сумрачным, не оставляющим надежд, как истлевшая одежда на умершем в пустыне путнике, кости которого облизывает шершавым языком знойный ветер.

Зачем человеку старость, если он валится в её морщинистые руки безвольным мешком, не приобретя за жизнь ни мудрости, ни веры в Бога? Даже его склизкое, без форм и костей «я» не удержится бок о бок с ним на смертном одре. Без света и спутника отправится он по неведомым коридорам туда, где не знающие жалости Ваятели замесят из его праха новый зародыш и вложат его в жидкую колыбель очередного материнского лона, чтобы однажды он снова появился посреди людей и, согласно незыблемым законам, ещё раз прошёл человеческий путь, постигая упущенное.

Послесловие означало приближение Тишины, и это пугало, потому что, ничего не поняв, он оставлял жизнь и погружался в Беззвучие, не зная, какие вопросы следует задавать.

Месяца за два до того, как тело его превратилось в вялую, почти бескровную куклу, он неожиданно ощутил соприкосновение своего рассудка с невидимой тканью (поэт, вероятно, назвал бы подобное

состояние благословенным величием мира). Чьё-то дыхание щедро отогрело его память, и он увидел свою пёструю жизнь, словно это было гигантское свеженаписанное полотно, ещё отблёскивающее маслом на свету и густо пахнущее. Он вцепился в авторучку и принялся торопливо пересказывать увиденное. Строчки текли одна за другой. Он вспоминал и пересматривал по много раз ушедшие дни, но память не наполняла сердце пониманием. Радость, слёзы умиления и боль ложились на желтоватую бумагу; от осознания же (волшебно-спасительного) не было и следа. И мелодия жизни услышанная, но не поддержанная, улетучилась.

От выпавшей авторучки остались фиолетовые кляксы с махровыми краями.

Послесловие дописывал не он. Он лежал и шарил глазами, и перед ним из затхлого сумрака квартиры возникали страницы написанной им книги, никем не прочитанные, никому не показанные, неизвестно к кому готовые попасть. Каждая строчка, неопрятным почерком положенная на шероховатую бумажную поверхность, проползала перед ним загадкой жгучих чувств. Когда-то он жил ими, нынче они остались только словами. Белёсые глаза его читали, но землистого цвета почти безволосая голова и мятое, как вата, тело оставались безучастными.

Он родился давно…

***

Я родился давно. Говорят, мой первый крик раздался в обеденное время и был похож на кашель поперхнувшегося ребёнка. Сам я не помню. По крайней мере, время моего появления на свет не сделало меня большим любителем обильного обеда. Хотя временами меня охватывал самый настоящий жор, который можно встретить разве что в гротескном фильме. Тогда обильная слюна выделялась у меня при виде жирных капель на коричневой (где временами попадались волосики среди набухших пупырышков) корочке запечённого в духовке гуся или при виде растёкшейся кремовой лавы на пористых ломтях сочного бисквита.

День моего рождения пришёлся на зимнюю погоду, но и это не запомнилось. В моей размытой новорождённой памяти осталась непередаваемая тяжесть, граничащая с удушьем, которая навалилась и придавила меня, не осознавшего ещё собственные размеры и силу. Я наполнился ужасом, нестерпимым страхом перед действительностью,

и страх такой возникал без всякого предупреждения от случая к случаю на протяжении всей жизни. Он убивал меня, и меня удивляет, что он не покончил со мной сразу.

Затем в памяти отпечаталось позорное ощущение мокрых штанов.

Солнце жгло громадные стёкла окон и наполняло духотой прогретую до предела классную комнату. Коротко остриженные затылки ослепительно отражали струи небесного светила. Под монотонное жужжание мух, временами стукавшихся о стекло, и гудение большого вентилятора под потолком что-то сосредоточенно говорила щупленькая учительница в тяжёлых очках.

Иногда слышался чей-то удручённый вздох, похожий на рассыпавшееся пыльное привидение, да поскрипывала парта под чьей-то маленькой попкой.

Желание справить нужду было для меня всегда мучением, почти пыткой. Даже в зрелом возрасте оно едва не лишало меня сил и чувств и зачастую ставило меня в самые невыгодные положения. Я покрывался крупными каплями пота, шея между ушами деревенела, а пах разрастался мешком жгучего битого льда.

А тут я ещё совсем ребёнок, беззащитная фигурка в коротеньких штанишках и беленькой рубашке, выгоревшие под горячим азиатским солнцем брови изогнулись над виновато-испуганными голубыми глазками. Ужасно стыдно позвать сухенькую женщину с толстыми стёклами на глазах и громко попроситься в туалет. Нужно, чтобы она сама обратила на меня внимание, и я молча (как полагается в классе) тяну трясущуюся в нетерпении ручку, нет — ручонку, цыплячье крылышко, не покрывшееся пока что пёрышками. Но молчаливая просьба не всегда и не для всех бывает слышимой. Я жду. Искривляется от горячей слезы стена и спина спереди сидящего школьника…

О, где ты, великая сила внимания и чуткости? На каком кладбище душ человеческих покоится твоя тень?

Жарко лопнуло и расползлось моё тело, превращаясь в трубу, из которой на свет божий хлынули (вместе с естественной нужной) позор и отчаяние. В нависшей внезапно устрашающей тишине оглушительно раздались всплески капель, потекла по каменному полу янтарного цвета лужица, меняясь в форме и вытягиваясь в сторону окна. Распиравшая тело тяжесть прорвалась наружу и оставила внутри меня изнуряющую пустоту, прилипшую к стенкам моих пульсирующих органов. Накатились

слабость и стыд…

Стыд. Как пересказать это состояние размазанного по сковородке мозга? Есть ли среди неповоротливых букв алфавита такие, из которых можно было бы сложить ощущение пространства, где ни повернуться нельзя, ни съёжиться, ни спрятать под крыло полные тяжёлых слёз глаза? Стыд… Стеклянная колба, а в ней — ты со скрюченными ручками-ножками, и глаза беспощадно смеющихся одноклассников сдвигаются вокруг, как бесчисленные ветви и листья на кронах обступающего тебя дремучего леса. Стыд буравит спину тонкими, остро заточенными спицами, когда шагаешь через двор, а позади слышится чьё-то колкое шушуканье, невнятное, но по-змеиному шипящее. И дверь, дребезжащая стеклом и расхлистанным язычком замка, это тоже стыд, потому что за дверью, куда надо шагнуть — пропасть, оскалы маленьких детских зубов, распахнувшаяся пасть целого класса, однако дверь надо открыть (чугунную, несдвигаемую), открыть тоненькой ручонкой с голубенькой бьющейся прожилкой…

Я прошёл сквозь стыд, как наказуемый солдат под кроваво бьющими шомполами. Никому не нужный, но всеми замечаемый.

Самый маленький в классе, последний в школьном строю, белобрысый, с редкими зубами, обгрызающий ногти на испачканных чернилами пальцах. Таким я был.

Но я был ещё и нежным, жаждавшим ласки, мечтавший о сказках и любивший девочек. Любил, правда, скрытно, тайно, издалека, краем глаза, ибо не мог растоптанный общим презрением человек открыто выказывать рыцарские чувства перед будущими феями и проститутками. Я был ничтожен и крайне мал, а они, девочки…

Девочки, эти прозрачные ласковые существа в шуршащих бантах и юбочках, всегда воркующие по-матерински возле кукол и пушистых котят, они будили во мне волны невидимого сказочного водоема, где перетекают по гладким прибрежным камням уютные тени деревьев и от разлившейся тишины замирает восторженно сердце. Этому миру, а не пыльно-солнечному классу и прилежно заученным урокам принадлежали девочки, сами того не зная. Их голоса и улыбки убаюкивали, ласкали. Что-то неясное, расплывчато-акварельное излучалось девочками, из-за чего их нескладные ещё ручки и ножки, похожие на конечности зелёных кузнечиков, да тоненькие шейки, на которые посажены большие головки с ровно остриженными чёлками,

приобретали вид необыкновенный. Хотелось дотронуться до их пальчиков, но было стыдно (или страшно?) даже когда требовалось водить хоровод вокруг пахучей ёлки, усыпанной серебром новогодних игрушек.

Среди них, девочек, появилась самая очаровательная, бесспорно вышедшая из той сказки моей души, где колыхались колдовские волны тихого лесного озера. Её звали Суок. Её невозможно было потрогать, как бы того ни желалось, как бы ни распирало мою костлявую грудь непонятным волнением. Я мог притронуться к белому киноэкрану, но мои пальцы в цыпках касались лишь волшебного паруса, который приносил в зрительный зал трёх толстяков, Тибула и куклу наследника Тутти по имени Суок. Её сладкая улыбка гипнотизировала меня, завораживала, когда она пела песню и жонглировала ночью кеглями возле цирковой кибитки. Но кому я мог признаться в чувстве, похожем на вкус облизанного только что леденечного петушка на палочке, и как объяснить вкус того чувства в сердце моём, когда весь окружающий мир был совершенно непонятен и непостижим, когда я ничего не умел.

Суок, имя твоё сделалось белыми цветами в ночном саду и таким навсегда осталось в моей маленькой мальчишечьей душе.

Истекающие липким соком ананасовые ломтики, ароматные яблоки, будто облитые воском, вскрытое поперёк пуза душистое манго с торчащей из яркой мякоти громадной костью, тяжёлые гроздья чёрного винограда с застывшими каплями искристой воды — всё это казалось мне ворохом мусора, когда я вспоминал твоё лицо и мир, откуда ты явилась, милая Суок. Даже молочный шоколад, мягко разламывающийся под нажимом зубов и тающий на языке, терял свой неповторимый вкус, стоило зрительному залу погрузиться во тьму, а экрану брызнуть в меня красками диковинного мира. От макушки до пяток дрожал я, следя за сказочной девочкой, и едва не погибал от тоски, когда фильм завершался, но я (в который уже раз) оставался здесь, а не уезжал не крыше циркового фургончика, источающего недосягаемый дух счастья. Меня душили слёзы. Я оставался посреди рыкающей толпы в одиночестве, среди обтрёпанных страниц нудных учебников, среди звериных улыбок очкастых учительниц, среди раздвоенных металлических языков авторучек, похожих на лезвия ножей, среди разъярённых выкриков матери по поводу очередной двойки. Я оставался в чужом, не принимающем меня, вечно толкающемся мире, где никогда

не было девочки Суок. Она могла смотреть на меня лишь через окно киноэкрана. Или не на меня вовсе, маленького и малоприметного, а на других мальчишек, более сильных и старших, которые интересовались девочками как-то иначе? Я помню, они говорили, что нужно обязательно поглядеть на девчонок в раздетом виде. Но что нужно было увидеть? Я не знал.

Вместе с другими пацанами я иногда спешил, разгребая прозрачную голубизну воды, в тот край бассейна, где полнотелая вальяжная мамаша полоскала малолетнюю голенькую дочурку. Сквозь переливы подводной тишины появлялась перед моими глазами розовая кожица с узелком пупка, покатость гладкого живота, сходившаяся уголком к тем складкам, где начинались далеко ещё не девчачьи, а лягушачьи ножки. И ничего, что стиснуло бы дыхание, ничего от завораживающей прелести Суок в белоснежном крахмале платья…

Позже, гораздо позже попадутся на глаза нагие фигурки девочек, случайно, сквозь щёлку двери, неуловимо быстро мелькнут и ошпарят любопытный взор, не дав ничего разглядеть…

Как чудесно, что есть тайны, что всегда некоторое неведомое Нечто остаётся сокрытым от нас, давая простор мечтаниям. Однако в то время тайна ещё не успела родиться. Она где-то, конечно, была, где-то разворачивалась, чтобы однажды заслонить небосвод и залить до краёв душу трепетным нетерпением, но не тогда, не в те годы. Мир был и без того слишком непонятен. Ничтожно мало оказалось изведанным и знакомым, даже чтобы иметь какие-то секреты. Всякая глупость, на ухо прошёптанная, являлась секретом на день-два. Вот и все тайны… Мне, тонкотелому и потемневшему под раскалённым небом Азии, было ещё не до тайн. Куда важнее был прямоугольник бассейна, мерцающий на дне солнечными паутинками.

Забегаешь на трамплин, пятками по горячим каменным ступенькам шлёпая, толкаешься ногами, прыгаешь и теряешь себя всего. Птицей сквозь солнце, сквозь ветер, сквозь дождь — в любую погоду, любое время — взмываешь и паришь целую вечность. Бассейн, только что недосягаемо далёкий, внизу брезжущий прямоугольником воды, внезапно заглатывает тебя закипевшей пеной и окунает весь мир в гулкую тишину своего водного чрева. И уже не птица я вовсе, а рыба, и виляю у самого дна, чувствуя широкие гибкие плавники на рёбрах и ногах.

В такие мгновения забывалось всё. Даже не забывалось, а уходило, переставало быть. Не оставалось места и девочкам. Соскальзывал полинявшей кожей с души стыд за обмоченные штанишки, дробился осколками панический страх перед чёрной классной доской, к которой меня пришпиливали учительские протыкающие глаза. Я был свободен в полёте, никем не сдерживаем, неуловим, как выпущенная стрела, проворен и увёртлив. Это было понятно и близко. Это было моё настоящее, потому что в те мгновения я никем не был.

Но приходилось выныривать, шумно брызгая водой, и возвращаться домой, приняв облик мальчика в коротеньких штанишках. Приходилось сидеть за столом и глотать, давясь, куски скользкого мяса в соусе. Приходилось заучивать, водя пальцем по книге, правила и слова, лишённые смысла. Приходилось быть человеком.

***

Большинство родителей, с которыми мне приходилось сталкиваться в жизни, мало чем отличались от моих. Делая из своих детей людей, они старались вылепить собственное подобие или же существо, схожее с их идеалом, который, кстати сказать, никогда не имел никакого конкретного образа. Основная масса человеческих желаний не принимает чётких форм, она подобна ощупыванию предметов в глубокой тьме, где что-то лишь угадывается под пальцами, но никогда не проявляется в едином целом. Временами нащупанное частично удовлетворяет слепцов, но далеко не всегда.

Я старался быть послушным. Правда, в большинстве случаев моего согласия никто не спрашивал. Я был одной из вещей, составлявших полный семейный набор. Кукла, которую возят с места на место, не имеет слов. И я был куклой. Меня перетаскивали из города в город, из страны в страну. Я расставался с привычными стульями и стенами, я не успевал привыкать, и мне казалось, что жизнь бывает только такой — постоянно меняющейся, лишённой скелета и конкретного облика. Должно было пройти немало лет, прежде чем я осознал, что такое для человека дом, свой дом, постоянный дом, привычный дом, обжитый и прогретый собственным дыханием. Я был лишён дома. Я представлял собой незначительную игрушку, принадлежащую взрослым людям.

Когда меня привезли в Москву, я с удивлением узнал, что этот город считается моей родиной. Вокруг все разговаривали по-русски, я мог понимать любые слова, сыпавшиеся из толпы, но почему-то это

не сближало меня с людьми. Огромный город смотрел на меня равнодушно, словно меня не видя, не любя.

Жаркий серый асфальт дымился сплюнутой слюной. Чуждо и дико гремели трамваи, а гудящая повсюду русская речь вдруг стала абсолютно ненужной. Что-то глубоко в голове не желало понимать и противилось слушать окружающий мир.

— Новенький? — брызгами дыхнул мне в лицо мальчишка, запорошённый рыжими веснушками. — Здравствуй, новенький!

И в мой живот нырнул круглый кулак, от удара которого мелко пережёванный завтрак поднялся к самому горлу. Кишащий школьниками коридор вместе со мной булькнул в шумную пучину и законопатил уши свистящим эхом. Кто-то подхватил меня под безвольные локти и поволок в класс. Отнявшиеся ноги верёвками тянулись за телом по грязному полу.

— За что его?

— Новенький...

— А... понятно...

Плюхнули за парту, отпрянули, заголосили о своём. Как сквозь мокрое стекло видел я их, размахивающих серыми рукавами школьной формы. И опять сквозь боль, калачиком сидевшую в животе, прорвался стыд. Знакомое желание зубами прогрызть пол и зарыться головой в черноту наваливалось на плечи и затылок. А тут ещё сопли потекли из носа, тягучие, зеленоватые от простуды — втягиваешь их, а они горлом идут, хлюпают, рвоту вызывают, будто это длинная мясная жила никак не проглатывается, скользит туда-сюда.

Я запомнил лицо того мальчугана. Его густо насыпанные веснушки залепили мою память, как снегопад лобовое стекло автомашины. Я боялся даже мысленно встречаться с ним, этим круглолицым коротышкой по прозвищу Мамочка. Кто окрестил его этим именем, мне не ведомо, но с того дня, едва завидев его в конце улицы или школьного коридора, я мигом сворачивал.

В Москве, этом громадном городе, не имеющем границ, где я знал только четыре-пять ближайших улиц, мне негде было скрыться от людей, как я делал в недалёком прошлом, опускаясь на дно спасительного бассейна и слушая урчащее дыхание воды. Во все стороны раскинулось мусорное пространство строек, летали мокрые взъерошенные вороны и обрывки газет, бродили мальчишки в заляпанных грязью пластиковых

куртках. Каждый из них мог обернуться Мамочкой. Вид сверстников навечно поселил в глубине моего сердца неусыпный страх перед людьми и любыми житейскими неожиданностями… Возможно, ничто конкретное меня не пугало, но я страшился вероятностей: они могли произойти вдруг, непредсказуемо, повлияв на спокойное течение событий, изменив хорошее на плохое. Тогда я не знал, что именно подразумевал я под плохими вещами. Я до сих пор не знаю. Я не умею отличить плохое от хорошего, добро от зла.

Плохим или хорошим оказалось моё пребывание в пионерском лагере, насыщенном запахом хвои и безумолкным гомоном детворы?

В первый вечер, едва стало смеркаться, я забился в кусты, подальше от спального корпуса, и разрыдался. Слёзы проедали мне щёки и глаза, а обида на родителей, вышвырнувших меня из-под своего крыла в квохчущую толпу чужих лиц, нестерпимо жгла мне сердце. Меня трясло, рыдания комьями прорывались наружу, а неподалёку, освещённые уютным жёлтым светом из окон, прогуливались перед сном вполне счастливые другие дети.

Со слезами ушла тоска по родному дому, обида на папу-маму растворилась во мраке ночи, никем не подсмотренная, и утро я встретил заново родившимся. Лагерь глубоко вдыхал прозрачный нежный воздух. Под сандалиями похрустывал жёлтенький песочек. Из подвешенных репродукторов в листве хлестала бойкая музыка. И я наравне с другими делал утреннюю зарядку, заглатывал, изголодавшись, вкуснейшую гречневую кашу, коричневую, отваренную с сахаром на молоке, и взбивал ногами прибрежную речную воду на специально отведённом для купания участке. Вместе с группой головорезов я тайно проникал в кладовку, где на высочайших стеллажах (до потолка) хранились чемоданы с приклеенными к ним фамилиями владельцев. В одном из таких чемоданов (принадлежал он безобидному мальчугану) хранилась громадная коробка с конфетами «Коровка». Пожалуй, ничего лакомее не существовало, чем тягучая начинка коричневого цвета, помещённая в хрупкую оболочку, вкусом схожую с высохшими остатками сгущённого молока на стенках опустевшей консервной банки. Мы пауками взбирались за теми конфетами, едва не падая вниз, когда нога соскальзывала, а рука судорожно ловила опору, цепляясь за первый подвернувшийся чемодан, который с грохотом рушился на пол. Затем мы вырывались с полным ртом одурманивающей сладости из сумрачной

кладовой в душистое пространство солнца и лета.

Я приехал в лагерь с двоюродным братом, который был старше меня на год, очутился, следуя за ним, в обществе более взрослых ребят, живших в ином пласту человеческих отношений, который до тех пор оставался закрыт от меня моим наивным неведением. Именно там я узнал о *Самом Главном*, что так строго охранялось от детей взрослыми. После каникул я привёз домой из лагеря знания, не до конца ещё понятные, о странных отношениях между дядями и тётями. Но всё это было лишь языком, громадным слюнявым языком, на который налипло много подробностей (слухи и сплетни) о неведомом и запретном. То не было реальной жизнью и легко уплывало из поля зрения. Тема оставалась мутной и неясной, пустой пока что чашей, куда лишь должно быть налито нечто вкусное, если не обманывали рассказы старшеклассников. Действительность же имела свой лик, хорошо знакомый и осязаемый, временами скучный, а чаще глупо хохочущий и хихикающий.

Дождь заполнял улицы пузыристой грязью. Обувь промокала, расслаивалась на самостоятельные куски и непристойно чавкала при каждом шаге. Тело мелко содрогалось от холода (как непривычен мне был такой холод после изнуряющего солнца Азии) и голода, который не переставал терзать желудок на протяжении нудных классных уроков. Вонючие школьные котлеты не утоляли голод, а лишь раздражали внутренности, будто чья-то невидимая рука пропускала школьные завтраки через мясорубку, заготавливая пахучую массу для выброса в унитаз… Такова была реальность, загромождённая, кроме того, рядами исцарапанных парт и нескончаемым потоком домашних заданий. Двойки и тройки присасывались ко мне, как пиявки, и дорога из школы превращалась в длинную и красочную поэму моих мечтаний, полную всевозможных сцен моей кончины (автокатастрофа, стычка с ордой хулиганов, нападение обезумевшей собаки и т.д.). Любая смерть представлялась желаннее встречи с матерью, чей гнев и презрение из-за моих двоек делали мою жизнь пыткой.

Такова повседневность, а голые дяди и тёти… Что ж, возможно, кто-то в мире и занимался *этим*, но никак не рядом со мной. Мама и папа здорово умели ругаться, грызлись почище дворовых собак — это да! — а вот голыми обниматься… Такого они не умели. Я был уверен.

— А как ты думаешь, — пускал слюни щербатый мой наставник, — ты

на свет появился каким образом? Этим, дурак, все занимаются! — его глаза от возбуждения вываливались из положенных мест, тощие руки елозили в рваных карманах обтрёпанных и мешком висящих штанов.

— Нет, Печкарик, я родился на свет не от этого, — ничто не могло поколебать мою уверенность.

— От чего же?

— От любви…

Так мне объяснила однажды мама, улыбаясь мягкими губами, и возле её глаз, широко обведённых чёрным карандашом, немного морщилась кожа, так мило и ласково морщилась, что хотелось обязательно погладить мамины морщинки. Когда мама не превращалась в клыкастое чудовище, она была лучшим из существ во всем мире, уютным, греющим, охраняющим. Разве такая женщина могла сделать то, о чём брызгал слюной Печко-Печкарик? Не могла. И Суок не могла тоже. Но друзья настаивали и заставляли меня терзаться: неужто я обманут? Многое оставалось неясным, что пробуждало желание поскорее самому повзрослеть и всё разузнать, прикоснуться (наконец-то!) собственной рукой к недозволенному и не отпускать (почему-то казалось, что отпускать не захочется). Глупость? Наивность? Первая клякса в прозрачном, насквозь видимом водоёме невинности? Генетические пороки? Не знаю. Не хочу задумываться. Это взгляд из сегодняшнего дня, а я хочу сейчас смотреть теми глазами, мальчишескими…

***

Подобно лёгкому покрову полупрозрачного тюля опускается невесомое тело памяти на распластанное позади меня пространство прожитых лет.

Чаще других образов перед глазами вырисовывается облик женщины, и кажется мне, что собрано в ней всё, что есть в жизни. Она мягка и тепла, она окутывает убаюкивающим дыханием, надёжно скрывающим от неведомых, но пугающих невзгод. Она ласкова, но краешки её притягательных пухлых губ, покрытых лаковым красным цветом, подрагивают, когда пробегает по ним тень электрического разряда. Она величественна, эта женщина, подобно грандиозному изваянию, вышедшему из-под рук гения, на неё смотришь подолгу, позабыв о тикающих стрелках часов, и тем больше ненасытности испытываешь, чем дольше вглядываешься. Движения её полны тяжести пульсирующего в ней потока крови, который насыщает женское тело

жаром и превращает её мышцы в ленивую, измученную истомой плоть, вытянутую обнажёнными гладкими линиями для раздражения желания.

Нет, не стоит упрекать меня в нечистоте. Я склонял перед женским миром мою воспалённую голову, ощущая превосходство (первородство) этих существ надо мной. Но проникнуть в их тайну — а попасть мне туда было необходимо, жизненно важно — я мог только через глубины женской физической природы. Тайна лежала близко, но она скрывалась от меня, маскировалась, хитроумно меняла обличье. А я тянулся в это манящее нечто, чтобы через прикосновение к бархатным порам нежных живородящих тканей вступить в неделимый союз с природой.

В более старшем возрасте как-то получил я толстый журнал с тончайшими глянцевыми страничками, залитыми яркими фотографиями голых манекенщиц. На нескольких снимках, выполненных под водой фотографом-аквалангистом фигурировала сказочная длинноволосая брюнетка, явно из рода русалок (полупрозрачная, как бы не из плоти, а из сгустков воды сделанная). Она летала. Парящая девочка в мягких голубых тонах водной массы. Её раздетое тельце так не соответствовало облику всех других моделей — сидящих, стоящих, лежащих — и выглядело так невесомо, что обнажённость делалась особенно подчёркнутой. Её фигура висела. Волосы на голове густо расплывались тёмной мутной охапкой морских водорослей. Груди не по-земному округлились. Нежно прорисовывались мышцы живота и сходились клинышком возле ног, где размытым тёмным пушком запечатлелись мягкие волосы (вата в воде), под которыми, казалось, не было ничего, кроме гладкой, как на животе, кожи...

Разумеется, она не была куклой, она (бесспорно!) принадлежала к роду женщин, живых и желанных, и её взмывшее в поднебесье океана тело во всей своей невинной и беззащитной наготе выставлялось на обозрение всему человечеству. Но она не пробуждала во мне влечения... Был восторг и удивление, был удушающий ураган, готовый изничтожить меня за неумение моё проявлять рождающиеся чувства... Та русалка была одновременно всеми женщинами мира: все они могли летать, и волосы каждой из них были клубами мутных водорослей.

Ещё раз говорю: я не стремился ощутить телом девичью плоть, и когда время уложило меня на скрипучий диван с моей первой любовницей, я окончательно убедился, что сказкам запрещено спускаться в наш неповоротливый мир, пахнущий потными подмышками.

А женщина — часть сказки.

Я не полюбил её плоть. Разочарование вытолкало плоть за пределы грёз. Но тело — стройное, светящееся изнутри обаянием, как воск под пламенем горящей свечи, дивное и гладкое тело — осталось со мной, вокруг меня. Тело не было плотью. Оно жило в изгибах акварельных линий, нежилось шёлковой кошачьей спинкой, вздыхало эластичностью девичьих округлостей… Тело принадлежало живописи и светотеням фотографических карточек. Оно не ело, не пило, не мучилось режущими болями в животе, не торопилось по нужде, но при этом оно откусывало хрустящие кусочки от краснобоких яблок, и по губам бежали две-три капли сока; оно держало длинными пальцами хрустальные сосуды с тонкими шейками, где на донышке подрагивали остатки красного терпкого вина; оно, тело, носило многослойные одежды, но снимало их еженощно, сбрасывая комьями на пол, вешая шёлковыми струями на спинки стульев, на плечики бельевых крючков и в шкаф, этот громадный стоячий сундук, где хранятся фиговые листья всех мастей: золотистого полива, матово-чёрной торжественной глади, белоснежной лепестковой складки… Ткани сбрасывались и открывали оживший мрамор с подрагивающей прожилкой под кожей (лошадь), с вырвавшимся из глубины вздохом (колыхнувшаяся на ветру листва могучего дерева), с жеманно потянувшейся спиной (кошечка), с распахнувшимися от волнующих мыслей глазами (водоём, кристальный, глубокий, чарующий живой магией дремлющей стихии).

Тело было одно, плоти — много. Однако все любовницы находились ещё где-то далеко впереди. До них, до их упруго торчащих сосков, до оскаленных белых зубов, предстояло (что за глупость!) долго и торопливо идти (почти бегать от нетерпения поскорее вступить в орден взрослых).

Сердце не раз легко и быстро отдавалось в сладостный плен то одних, то других девчачьих глаз. Внешний вид тех девочек, как теперь ясно видится под пристальным взглядом увеличительного стекла, не имел ничего общего с женщиной, парившей в подводной глубине, но что-то всё же жило в них от будущих прозрачных фей в невесомых кружавчатых комбинашках. Влюблённость забрасывала меня на стремительно вращающуюся карусель, размазывала реальность жирными полосами в головокружительных чувствах, лишало очертаний весь мир, кроме нужных, единственно нужных в те дни стыдливо

вспыхнувших щёк, алеющих облизанных губ и сверкающих глаз.

Пятна вечерних фонарей на дороге, тёмные туши шевелящихся на ветру кипарисов, трепетное касание влажных ладошек…

То происходило в стране вечной любви, где нет границ между людьми, где был лишь я и многочисленное, как цветы на бескрайнем поле, женское начало, от которого веяло сказкой. Это был единственный хрупкий мостик, соединявший болотную жирность моей жизни с миром грёз, где раскинулось широкое приволье, насквозь продуваемое свежим ветром. Из мира этого я скакал верхом на белогривой лошади, играющей пружинистыми мышцами ног, в компанию воркующих девочек, где ожидала меня, гордо оглядывая подружек, моя избранница. В таких мечтах непременно толпились товарищи по классу, завистливо покусывая губы и заусенцы на пальцах. Временами я мчался из моего мира не на свидание, а сразиться с каким-либо соперником, наказать его за наглость или что-то ещё, и разделывался с ним в доли секунды, нещадно паля из грохочущего револьвера.

О, когда успели порасти бурьяном тропы, ведущие в мой чудесный край? Когда я успел позабыть мной самим проложенную туда дорогу? Без присмотра осталась моя красавица-лошадь с влажными ноздрями. Подруги мои повзрослели и ушли из таинственной страны в поисках настоящих женихов, достойных, полновесных, нежных, чтобы состариться вместе с ними и доковылять на дряблых ногах до заслуженного последнего своего ложа.

Как я упустил тебя, прелесть сказочного обмана?

Не уследил, как ты расправила широкопёрые крылья для полета и уже даже взмахнула ими. Мне достались лишь одни взвихрённые листья, согнанные ветром твоих могучих крыльев.

***

В который раз уже швыряют меня в дорожный чемодан, ухватив за шкирку: бесправный перебрасывается так из угла в угол, беспомощно тараща глаза на руку хозяина-великана.

Опять солнце жжёт глаза, жёлтыми наконечниками острых лучей в зрачки стреляет. Шипит от жары земля, а после дождя долго дымит.

Глобус повернулся под ногами, подтянул ковром незнакомые улицы с крикливыми толпами чернокожих человечков. Вновь чужие лица (сколько их ещё на моей планете?) вокруг меня сыплют непонятными словами, белыми зубами улыбаются.

Сменилось место, стены дома, двор с деревьями, но вместе с нами, как впившийся в мякоть тела клещ, приехала душная напряжённость семейных отношений. Домашняя война не отстала, не затерялась в исчезнувшей за горизонтом Москве. Небосклон покрылся чёрным маслом. Густо капало. Куда ни встань, затопило дом тиной.

Семья — ложь. Ветхая тряпка, намотанная на побитые до синяков худые бёдра скитальцев.

Страшно стало ежедневно возвращаться из школы по залитым ослепительным солнцем дорожкам в мрачный дом, сделавшийся камерой пыток и кошмаров, где терзают душу никелированными щипцами ненависти, по кусочкам выдёргивают с кровью ниточки нервов, в мокрые, ещё не зажившие раны вновь и вновь вгоняют холодную зеркальную сталь. И ведь не специально! Нет, не со злым умыслом, но как бы ненароком, случайно, размахивая руками в ожесточённой схватке — отец и мать, самец и самка, тяжеловесные туши двух буйволов, визгливые и юркие тени двух пантер, две оскаленные пасти, обрызганные кровью морды, два бьющихся насмерть рыцаря, которым нет дела до стоящих рядом людей, потому что сейчас для них существует только враг. Они могут затоптать окружающих, разломать их, изрубить своими свистящими мечами…

Впрочем, то не родители мои. Я твёрдо знаю, что я рождён любовью, по любви и от любви. Так говорила мать, так утверждал папа, прижимая меня к себе большой тёплой ладонью. Эти же драконы в изодранной до крови чешуе не верят в любовь, в них клокочет коричневая чума: ненависть, ревность, ярость.

Случалось, что душные тучи рассеивались, изрубленные враги поднимались на шаткие ноги и вспоминали обо мне. Они тянули ко мне руки, отводя друг от друга глаза, они взывали ко мне, к моей милости и жалости, они призывали на свою сторону. А я закапывался в постельное бельё, пугаясь их обезумевших лиц.

Однажды я вышел среди ночи в соседнюю комнату, где гудело пламя очередного скандала. Папа сидел на диване в одной майке, другой одежды не было на нём. Его ноги согнулись в коленях, и между ними, охваченное пятном жёлтого света светильника на резной деревянной подставке, виднелось то, что столь явно отличает мужчину от женщины. Мать казалась настоящей безумицей: глаза сузились в чёрные полоски накрашенных ресниц, вздёрнулась хищно верхняя губа с налипшей

на ней слюной. Папа был спокоен, похоже — утомлён, измотан. Вокруг глаз темнели круги. Но почему раздет? Она — при полном параде, золото на пальцах мерцает, такие же жёлтые капли вокруг шеи набрызганы, а с мочек ушей льются прозрачные струи сцепленных цепочкой камней. А отец наг. И нагота его неприятна — мужской отросток в складках кожи и чёрном обрамлении волос в глаза бросается — и отталкивает гадливостью. В те минуты я мысленно пообещал себе никогда не представать голым перед одетой женщиной, потому что это мерзко и унизительно… Правда, много лет позже я блевал на расстеленный в моей собственной квартире пушистый ковёр, ползал на карачках с голой задницей (но в белой рубашке при этом), и так же отвратительно свисала гадливая мужская плоть. Я передвигался в таком виде перед измученной моим пьянством женой и угрожал ей расправой за её неверность.

Куда подевалось моё детство с его нерастревоженными озёрами глаз?

Откуда подкралось ко мне ничтожество, паутиной опутав меня?

Я не любил, презирал, ненавидел до тошноты себя за то, что я принадлежал к мужской расе. Я был лишён от рождения природой того очарования, которым славен женский род. Я жаждал их красоты, упивался прелестью их форм и презирал себя за те чисто мужские украшения, которыми я наделён. Когда моё возмужание уже требовало прикосновения девичьих пальцев, но я не осмеливался ещё (по скромности ли?) сблизиться с женским телом, мои собственные руки облегчали внезапно приходившее напряжение ненавистного мне органа. Я бесился от презрения к себе, видя вздувшийся хобот и слыша мокрое хлюпанье кожи на нём.

Мерзость. Бесконечная мерзость во мне, которой нет и не может быть в женской природе. Русалкам не свойственна грязь, они всегда омываемы.

Как мне не хватало живого присутствия Суок! Зачем ты ушла, прекрасная девочка? Ведь нет в тебе тех ядов, что поднимают голову моего монстра. Ты могла бы увезти меня в своей цирковой кибитке, но не увезла. Почему? Тебе нечего было бояться. Никогда бы не посягнул я на твою сказочную чистоту. Ты ведь даже если и женщина, так ведь ты — не касающаяся земли русалка, у которой есть лишь формы женщины, но не плоть. У вымысла нет плоти.

А подле меня толпились взрослые люди, пожирающие друг друга, спустив трусы. Уже тогда я спросил себя: раз это настолько скверно, для чего же этим занимаются те, которые любят друг друга? Если настолько бесстыдно голое тело, для чего же человек рождён нагим? И что именно так неприлично в теле — живот, грудь, ягодицы, плечи или шея? Повсюду человека покрывает кожа, но в отдельных местах она внезапно становится запретной для посторонних глаз. Кто же клеймит бесстыдством такие места? И уж раз не положено соприкасаться телами мужчинам и женщинам, то пускай не будет это положено вовсе, но ведь разрешается на людях целовать дамам руку и щёку. Почему? Почему это соприкосновение одной кожи с другой считается невинным, а другое, приносящее не только пьянящую дрожь в теле, но и очередную жизнь, названо грехом? До какой точки мыслится приличным открывать женскую грудь: до середины груди? До взбудораженного соска, дающего молоко? До какой невидимой границы?

Я не знал этого в детстве, не знаю и сейчас, когда еле удерживаю авторучку стариковскими слабыми пальцами.

Моя мать знала хорошо. Она пригвоздила к позорному столбу не один десяток женщин, усмотрев в них природу похоти, которая не соответствовала её понятиям добропорядочности. Она вывернулась наизнанку, чтобы обвинить отца в прелюбодеянии. Она искусала его, истерзала калёным железом ревности. Однажды он вдруг устало улыбнулся, махнул рукой (невесомое перо, выпавшее из крыла подстреленной птицы) и вышел из дома странной походкой.

Бельё, висевшее на просушке, ворохом ссыпалось на пол, влетев в коридор квартиры из ночной тьмы. Я увидел мелькнувшие белые изгибы бельевой верёвки, свисающие из его рук, но я не понял, что происходило. Он удалялся, то обнаруживаясь в фонарных лучах, то пропадая в глубоких тенях. Оглушительно звенели сверчки, и откуда-то неслось треньканье гитары. А потом я увидел вблизи его ноги. Только ноги, на одной из которых ботинок почему-то соскочил с пятки и держался на окоченевших уже пальцах. Над ногами клубился густой мрак, и смутно угадывалась крыша огромной беседки, где в обыкновенные дни играли в домино и шахматы. Теперь тут неподвижно висели ноги растаявшего в темноте человека, а под ним опрокинулся стул с рассохшейся фанерной спинкой, ещё валялась перегоревшая лампочка, кем-то вывинченная и бережно положенная

на пол. Шаркали подошвами набежавшие люди, кто-то непрерывно икал и сломанным голосом извинялся за что-то. Издали доносилось женское рыдание пронзительное и нудное, мешающее, как вздувшийся на пятке пузырь от тесной обуви.

Затем будто кто-то пролил из громадной чаши жидкую вату на весь мир. Она законопатила наглухо мои уши, лишив людей голосов. И я понял тогда, что мне не нужны слова людей. Я мог обходиться без них. Мне оказались ненужными и сами люди. Для чего мне молчаливые истуканы?

Я хотел в те дни только крыльев, под которыми укрыться и согреться: птенец прячется под материнскими перьями. И я метнулся к матери, не умевшей защищать, не знавшей силы любви. Она, родившая меня, вытолкнувшая на свет из тела своего, не умела успокаивать. Она гладила меня по голове и всхлипывала. Я разглядывал морщины её рук, жалел её, но отказывался признать в ней мать, она ведь лишила меня моего отца, единственного во всём мире.

И я сбежал, когда мы возвратились в Москву.

Удрал, чтобы найти приют в неумелых объятиях худенькой девочки в одной из многокомнатных московских квартир. Тепло её щеки, прижавшейся к моей холодной шее, несло в себе материнства куда больше, чем любое прикосновение моей настоящей родительницы. Она вливалась в меня, эта девчурка, черпала из меня горе, облегчала душу мою. Она успокаивала меня, желая дать успокоение, а не отвлечь. Она не произносила ничего, если не знала, какие слова нужны. Она была настоящим человеком, она ещё ничего не успела растерять. И она не спешила превратиться в женщину.

Я ощущал её кожу. Внутри меня всё трепетало от нараставшего нетерпения. Руки жадно шарили по её коленям, пытаясь прокрасться под её легкую юбчонку. Временами я слышал, как её сотрясала дрожь, но в ответ на мою горячую настойчивость я всякий раз слышал её тихий голос:

— Нет, нельзя, рано.

Я отступал, раздосадованный, отчего внутренности мои превращались в жаркий пепел.

Затем судьба украла у меня мою юную маму и отхлестала по лицу грязной тряпкой, снятой с длинной швабры. Не знающие пощады кулаки интернатских ребят прошлись по мне, следуя установленным там

порядкам, и восстановили рассеявшуюся было память о жестокости мира.

Впереди лежала дорога, по которой день ото дня брели толпы людей, толкаясь локтями, переругиваясь, добиваясь счастья, пошучивая и улыбаясь. То была пыльная исхоженная тропа, знакомая всем стадам, и погонщики палками повелевали мне выйти на неё, вычеркнув из головы всякие мысли о добрых сказках.

***

Вряд ли я теперь сумею вспомнить, что за каприз заставил меня не возвратить однажды высокой полногрудой девочке из старшего класса несколько номеров принадлежащих ей журналов «Поп-Фото». Портреты знаменитых длинноволосых музыкантов с дебильными улыбками на физиономиях и с электрогитарами в волосатых руках были испещрены складками и трещинами, побывав не у одного десятка поклонников. Зачем я оставил себе те журналы? Впрочем, не один я положил глаз на них. Пяток коренастых парней, обиженных, раздражённых, посчитавших, что я обошёл их на повороте и не дал заполучить любимых поп-идолов, встретили меня весенним утром возле дверей школы и под руки отволокли на задний двор.

Первый удар пришелся в ухо, и деревья надо мной пошатнулись, зацепив ещё не озеленившимися ветвями нежную голубизну небосвода. Сырая земля с тёмными сгустками грязи метнулась мне в глаза. Тычки остроносых башмаков пропечатали спину вдоль и поперёк, покуда я прятал голову под окровавленными руками и поджатыми коленями прикрывал живот. Светящиеся кольца вспыхнули в мозгу и вздулись, пульсируя, до размеров черепа, после чего красная спираль опоясала изнутри всё тело, упёрлась тугой пружиной в мою оболочку и едва не разорвала меня.

И опять окружил меня стыд и сквозь поры стал просачиваться в глаза и затылок.

Меня могли видеть со стороны, жалкого, превращённого в скомканный ворох тряпья, из которого текли кровавые сопли. Меня могли видеть со стороны в этом отвратительном виде, пока я шарил ладонями по мокрой земле, ослепший от грязи и синяков. Меня страшило, что я мог вызвать жалость, а она жжёт, подобно насыпанным на тебя дымящимся углям.

Но родная Москва и милая сердцу школа остались равнодушны, они

не привыкли замечать упавших. Это избавило от насмешек. Это не опозорило, не унизило моего мужского достоинства в глазах девочек, с которыми предстояло ехать на экскурсию в далёкий Таллин, шептаться с ними в трясущемся ночном поезде, перемигиваться днём в автобусе…

Поездка разочаровала. Я ожидал встретить отряды мушкетеров и рыцарей в лёгких доспехах, рассчитывал полюбоваться плещущими по ветру стягами с золотыми львами и драконами на гербах, однако повсюду глаза натыкались на магазинные витрины и вывески кабачков. Ребята втихаря глотали пиво и тискали девчонок.

Моим пальцам тоже удалось пробраться в чьи-то трусики…

По стенам чёрного купе метались белые кляксы пробегавших мимо фонарей. Резинка женских трусиков мягко давила на тыльную сторону руки. Невидимая мякоть под пальцами жадно заглатывала, как будто это был горячий рот без языка. Раза два ноги девочки дёргались и крепкими мышцами сдавливали мою ладонь, утопшую во влажной глубине.

— Не бойся, — шёпот её пересохших губ в моё ухо.

— Я и не боюсь, — я не узнал мой охрипший от волнения голос.

В ту секунду с грохотом открылась дверь, и всех нас, тесно усевшихся на полках, облил свет. Воспитательница разинула громадный рот и зашипела на нашу взлохмаченную гвардию:

— А как вот загривки вам надеру! Молокососы! Ну-ка живо разойдитесь по своим купе!

И посыпались мальчики от разгорячённых девочек прочь. А за окнами летели фонари и дома, где в уюте жёлтых ламп жили люди. Летели минуты, летели дни и годы. Неумолимо накатывала взрослость, и ускользнуть я от неё не мог. Вероятно, я и не хотел в то время. Думалось, что уходящее детство унесёт с собой зависимость от старших, от их понуканий и запретов. Но старшие никуда не делись, они лишь странно видоизменились. Казалось, я повзрослею и найду самого себя, но получилось, что меня не было вовсе, мне некем было становиться, разве что чьей-то игрушкой, тенью или, быть может, торгашом, занятым поиском выгодной сделки.

С возрастом тело начало источать неприятный запах пота. Чаще прежнего приходилось скоблить щетину на подбородке и щеках. В неотъемлемую деталь повседневности превратились хмельные напитки. Назойливее лезли в голову мысли о содержимом кошелька. Развеялись тайны, о проникновении в которые мечтал детский ум,

исчезли, словно стёрли их с поверхности замусоренного обеденного стола мокрой тряпкой, остались крохотные пупырышки маслянистых капель.

Быть может, жизнь всё-таки могла бы стать иной? Жаль, мне не доставало элементарной решительности, чтобы сделать какие-то важные шаги и превратиться в нормального человека. Я понимаю, оправдываться нет смысла, да никого и не интересуют оправдания. Жизнь уже позади. На сегодняшний день не осталось ничего — ни грязного белья, ни парадных костюмов. Признаться, былое тоже не вспоминается особенно красочным. Разумеется, происходили какие-то события, но они не имели ничего схожего со сказкой. Всё тянулось чересчур монотонно, банально, пахло пошлостью.

На утопленном в коричневых лужах плацу меня учили маршировать в колонне исхудавших солдат.

Можно бы не удерживать в памяти многодневные учения в дождливом лесу, стрельбу по мишеням, изгвазданные дерьмом нужники. Можно было бы вычеркнуть это, выдрать, как запачканную страницу черновика, если бы муштра эта не была прелюдией ко всему дальнейшему.

Казалось, что время страшных войн принадлежит далёкому прошлому, что не потребуется более никому обрывать свои жизни под пулемётным шквалом. Думалось, что армия предназначалась лишь для тренировки, гнусной, унизительной, но всё-таки тренировки человека на какой-нибудь маловероятный случай. Но за много километров от моей войсковой части долбили автоматы и винтовки, распарывая сухой воздух свистящим свинцом. Там шла настоящая война, там текла живая кровь, там корчились без всякого притворства молодые ребята. Я гнал прочь мысль, что меня, подобно многим белобрысым паренькам с глуповатыми улыбками на лицах, могут забросить в душный край чужих гор, где ни на шаг не будет отставать от меня смерть. Я прогонял эти думы, но они становились назойливее, пугали, впивались жалом, чтобы обязательно сбыться.

И вот снова под моими ногами хрустит жаркий песок. Почти в солнечное детство окунулся.

Порой кажется, что оглянусь и увижу густую свежую зелень, где стоит в тени облитая лаком папина автомашина. Но по песку ступают не босоножки, а тяжёлая армейская обувь, под толстой кожей которой

гудят потные ноги. Это не детство и не игра в казаки-разбойники. Здесь я могу рухнуть однажды и остаться среди колючих веточек, вцепившихся коготками в мою гимнастёрку. И не в моей воле не шагать по той земле. Давно уж не ребёнок, но опять чья-то могучая лапа выдернула меня из-под прохладных берёз и зашвырнула в чужую страну, не спрашивая моего согласия. Зубчатая кромка голубоватых гор на горизонте надёжно отрезала меня от родины, к которой никак не удаётся привыкнуть. Да и есть ли у меня родина? Что это такое?

Иногда мне кажется, что мы — беззаботные пацаны и играем в войну. Но это редко. Чаще мерещится, что я крепко и долго сплю, и сон мой тяжёл. Вот напрягусь, поднатужусь, закричу, и лопнет полотно надоевшего холмистого пейзажа, смоются ядовитые краски, пропадут пригнувшиеся бородатые фигурки в чалмах. Но не рвётся киноплёнка, не гаснет экран, не заполняются глаза спокойной комнатной тьмой, а продолжает из пыльных далей бить свинец, и прилипает к спине потная одежда.

Пашка, добряк-весельчак, всегда бривший наголо, чтобы голова на жаре не распаривалась, ткнулся лицом в пригорок, даже руками не придержался — мешок мешком. В сторону от него стеной пошла пыль, пробежали фонтанчики песка, камень ломкий разлетелся острыми брызгами под пулей. Пашка не поднимался, лежал. Выпуская щупальцы, расползлось торопливое красное пятно под его головой, слегка свёрнутой на бок. Слева на шее виднелась малюсенькая тёмная точка — след ужалившей пули, а под правым ухом, где свинцовая пчела вылетела наружу, оторвался кусок мяса и повис на мокром лоскуте кожи, как на клейкой бумаге. Подбородок обвалялся в песке, и пузырилась ещё не умершая слюна. Тоскливо гудело над оттопыренной Пашкиной губой блестящее зеленоватое насекомое, а пыльная жёлтая муть продолжала вздрагивать и отрыгивать выстрелами. Муть эта живет своей отдельной жизнью, как и ползающий под ветром песок. То и дело поднимаются фонтанчики, они почти не имеют ко мне отношения, даже не угрожают, а по прихоти своей извиваются, пританцовывают, разбегаясь рядами, обрываясь иногда возле чьей-нибудь фигуры, которая дёрнется, укушенная, и взмокнет тёмно-кровавым пятном.

Чем пристальнее я всматривался в привычные, казавшиеся непоколебимыми, прочно скроенные формы внешнего мира, тем более понимал я собственное заблуждение: ничто не было надёжно, всё

оказалось хрупким и крошилось от незначительного взмаха руки (полетела граната).

— Ах, ты… ё твоё…

Небесная лазурь вспоролась шипящими полосами дыма. Точно фейерверк на детском карнавале, где пшикают хлопушки и сыплются искры бенгальских огней под восторженный визг детворы.

Дёрнулся склон, поперхнулся снарядом, могучая грудь содрогнулась, в мгновение ока земля вздулась и отрыгнула чёрными комьями с примешанной огненной слюной. Вокруг забарабанило, жахнуло оглушительно и внезапно набросило тяжёлый, наглухо скрывший меня ковёр. Песчинки впились в щёку.

А разбудило робкое дзиньканье хрустальных бокалов, за которым потянулось нудное бубнение дикторского голоса (радио). Кто-то тяжело вздохнул. Прошла в мерцающем воздухе белохалатная тень.

Тоскливое пробуждение. Никто здесь не ждал. Я был одним из тысячи незнакомцев. Меня вертели, протирали, брали обмякшие части тела крепкими пальцами, подсовывали ледяное стекло «утки» под скомканный отросток, отдирали тампоны от кровавой накипи на коже. В нос лился ядовитый медицинский запах. Врачи трудились, исполняя свой долг, сопя и хмурясь. Иногда бесцветная медсестра подмигивала мне после процедур.

— Что грустишь, боец? Счастливо ты отделался, радуйся. Похромаешь несколько месяцев и придёшь в полную норму.

Я отмалчивался и следил глазами за гудевшими под потолком мухами.

***

Случалось всякое: днём, уставившись на омытое дождём окно, я часами валялся неподвижно, затем впадал в ярость, лупил кулаками по пыльному дивану и угрожал кому-то невидимому, а ночью тихо плакал, уткнувшись в зыбкую грудь случайной знакомой, чем пугал её не меньше, чем приступами душераздирающих воплей.

День ото дня уныние меняло форму, перетекало в недоумение: люди настойчиво продолжали жить, когда внутри меня неподъёмным грузом лежала мёртвая пустота. В мире же ничто не изменилось, ничто не разбилось вдрызг. Муравейник кишел, толкался локтями. В этом огромном театре всё шло своим чередом, каждый играл свою роль.

За немудрёной игрой в крестики-нолики прошмыгнула учёба

в институте, куда меня затащили ветераны-приятели. На групповом портрете знакомых появился десяток новых физиономий, одни рыхло потряхивали щеками, иные оптимистично скалили рты. Подсаживались разномастные женские особи и, в ожидании привычных развлечений, томно приспускали занавески пушистых ресниц.

Эти женщины разительно отличались от моих школьниц. Девочки из ясного детства так и не изменились, потому что остались там — в воркующем хороводе белых фартучков и бантов, они смущались и покрывались румянцем, шептались на ухо (по очень важному секрету), украдкой поглядывали на избранников сердца, которые не замечали их. Они жили во мне, а не среди живых людей. Среди людей они взрослели, вытягивались и укрупнялись чертами, делались из шаловливых *неженщин* обыкновенными самками. А внутри меня им не угрожали никакие метаморфозы, они были надёжно впаяны в пласт совершенно определённого времени, которое было помещено в вакуумную камеру, куда не допускались посторонние, могущие поломать и нагадить. Не осталось девочек кротких и испуганных, их заменили красивые женщины, в глазах которых постоянно тлел уголёк циничного, всепонимающего огня. Ни в одной из них, сколько ни всматривался, не удалось приметить ни тени детской простоты.

И всё же объекты моих целомудренных влюбленностей не умерли.

Я знал наверняка, что они продолжали жить вокруг меня и во мне, оставаясь невидимыми для суетного окружающего мира. Если бы они пропали на самом деле, не стало бы и меня, перестало бы вздыхать васильковыми волнами поле (о чём ему так вздыхалось?)…

Ах, впустите меня обратно в цветную сказку! Мне не нравится серая холстина моих теперешних отношений. Сделайте меня вновь крохотным и наивным, не удерживайте меня жестокими законами!

Пусть не взрослеет мир…

Эти женщины разительно отличались от моих школьниц, я не могу не повториться. Одна из них, черноволосая чаровница, буравила меня сквозь полумрак комнаты хищными глазами. Такой взгляд не ищет смущённой улыбки облизанных от волнения губ. Такой взгляд ждёт кивка, знака… Она протянула изящную руку к своей подружке. Змеиная кожа облегающего рукава вспыхнула и померкла. Кончики пальцев с залитыми лаком ногтями вздрогнули. И подруга засмеялась, поняла. Ах, её голос! Шёлковые нити по ветру… Она была вся соткана из своего

голоса. Только бы не утихал он, не растворялся бы в комнатных тенях, предназначенных не для голосов вовсе. Его бы руками взять, пригоршней ко рту поднести и вдохнуть, чтобы ощутить бархатное дыхание этой длинноногой самочки, почувствовать, как мерно вздымаются эластичные стенки её лёгких… Смех её не прерывался. Белки глаз уже совсем близко ко мне подплыли и тут пахнуло кисловатым запахом вина с примесью аромата губной помады. Дыхание её шарило по моему лицу, пульсировало нервно и горячо.

Из-за рассыпчатой копны волос выкатило молочное плечо первой женщины, по которому текли смоляные тяжёлые косы. Из-под махровых ресниц плескала тёмно-зелёная порочность. И я (в который раз подряд!) отдался во власть их требовательной всепожирающей похоти.

В одно мгновение они окончательно оголились, наползли телами с двух сторон, повизгивая, и превратились в груду округлостей, увенчанных крепкими сосцами. Под губами мягко осязались пупырышки кожи. Тяжёлая мгла, пропитанная пьяным дыханием, кишела руками и ногами, сильные мышцы нажимали отовсюду, обволакивающие рты перетекали по телу. Разгорячённые нимфы поочерёдно менялись местами, усаживались на жилистую игрушку, вскрикивали, тяжело валились на бок, откатывались и руками и жаркими губами с жадностью выпускали из меня мужское масло. Временами они забывали обо мне и резвились между собой. Перед моим лицом в подушке утопали упругие шары ягодиц, которые очерчивались глубокой тенью в месте соприкосновения и образовывали чёрную вязь волос, уходивших в бездну (там жило и пульсировало другое пространство, где рука утопала безвозвратно). То и дело находившаяся сверху подружка окунала руку в эту заглатывающую темноту, пальцы исчезали в податливой бездне, тело нервно вздрагивало, будто желая оторваться рывком от мятой постели и взлететь.

Но нет, никто не летал. Не было девочек, плавно скользящих в прозрачных мерцаниях зелёно-голубого пространства. Женщины приходили обычным шагом, сбрасывали цокающие туфельки, стягивали тонкие трусики, слегка согнувшись в спине и поднимая, будто гарцуя, ноги. Перекатывались белеющие очертания ягодиц… Зачем приходили вы, женщины?

Первый поцелуй с очередной школьной любовью беспощадно бил по ногам, лишал сил, заполнял дрожью, и я едва не падал. Касания

робких губ (со всеми хорошо ощутимыми на них трещинками и прикусами) помнилось неделями, и голова бежала кругом. Мы, ничего не знавшие о любви, кроме её очарования, пробирались ощупью по новизне ощущений, захлёбывались влюблённостью, трепетали: а вдруг другой из нас рассмеётся, оттолкнёт? Нежные притрагивания к бархатистой коже на щеке девочки в любое мгновение могли обернуться больно ранящим прикосновением острой бритвы (она ко мне равнодушна, она любит другого… или ещё чёрт знает какой поворот событий). Самый мучительный вопрос: любит ли?

— Да, — едва вздыхала она.

— Да, — шептала очередная девчушка на мой страстный вопрос и прятала глаза.

— Да, — волновалась третья.

Эти не волновались. Спектакль разыгрывался с холодной, расчётливой какой-то яростью. В поцелуях не было таинства. Ничто не было свято. Легко угадывались желания партнёра, послушно извивались тела… Сквозь дебри волнующей неизвестности продрался я (сам себя пришпоривая) на опушку так долго манившей взрослости и не захотел идти дальше. Но было поздно. Дремучий сказочный лес за спиной сдвинул стволы и скрыл от взора ластящихся добрых волков и медведей, смеющихся длинноволосых русалок, витязей в сверкающих доспехах, чародеев под каждым кустиком. Наверное, я оказался недостоин моего мира (моего ли?), и он выпихнул меня, поражённого вирусом нечистоты, в толпу таких же больных.

Затем случайно пришла та, которую не захотелось тянуть за руку в постель, окунать в дурман бесчисленных стонов и ласк. Забегая вперёд, скажу, что ей предстояло сделаться моей женой. Она светилась рассыпчатым золотом вокруг лица, взирала на окружающих спокойно, почти равнодушно. Казалось, что стояла высоко над всеми (летала?).

Однажды жёлтым мазком жидкого солнца прядь её длинных волос, когда она склонила голову, кончиком мизинца потирая краешек прозрачного голубого глаза, потекла по плечу, и мне подумалось, что она явилась посланцем *оттуда*. Во мне зажглась надежда. Божество, которому я поклонялся и приносил в жертву, бросая в огонь, мои чувства, обратило на меня взор. Ливень светлых лучей насытил воздух свежестью, она пронизывала грудь, наполняла сердце простором.

Помнится, я не ждал ничего от неё: вовсе не из нашего мира она

появилась, хоть и была очень земной, осязаемой (прогуливались с ней под руку вечерами). Мне нравилась её походка, чуть-чуть какая-то неверная, будто капелькой неизящности подкрашенная, как бы неумелая. Умиляла манера слегка наклонять голову во время беседы, при этом золотая копна вокруг головы пушисто шевелилась и медленно оползала в наклоненную сторону. Очарование наших встреч таилось в том, что она не казалась женщиной. Очень мила, но ничего женско-влекущего, дразнящего. Увы, именно это и сблизило нас, обманув, ведь в тот период любые отношения заводили в постель. Молодость требовала схватки, иначе самый смысл связи терялся. Мечтая о женщине без осязаемой женской плоти, я одновременно настоятельно требовал чувственного тела.

Она уступила, и моему изумлению не было конца, когда я обнаружил возле себя голенькое тоненькое существо с едва наметившимися грудками и ясно прорисованными рёбрышками под прозрачной кожей. Она смешно горячилась, изображая страсть, но было очевидно, что её сексуальный опыт сводился к двум-трём случаям. Тело её пока что дремало.

Невзирая на взаимное разочарование, мы всё же повторили наше совокупление, но зачем? Ужели нам нравилось находиться вместе, но встречи казались не до конца полноценными без объятия? Что заставило меня порвать всякие отношения с пылкими подружками и заняться хрупкой девочкой, вид голых рук, да и всего тела которой всякий раз окатывал испугом: женщина ли она вообще?

Сейчас я царапаю по бумаге пером, которое то и дело нужно подпитывать чернилами, чтобы не прекращала сочиться тёмно-синяя слюна из раздвоенного носика авторучки, оставляя свитые в слова загогульки. Трудолюбивое, размеренное поскрипывание перьевого кончика с налипшими на нём пылинками напоминает мне неторопливое течение жизни. Идут дни, а я не понимаю, для чего они проходят. В кино и книгах нет места лишнему, всё подчинено логическому руслу повествования, крепко увязано, каждый шаг — во имя следующего шага к определенной цели. Для чего же я изливаю на бумагу моё нутро?

***

Моей женой восторгались поголовно все мои друзья, независимо от их пола. Комплименты звенели, как хрустальные бокалы с игристым вином… поклоны, театральные коленопреклонения, букеты цветов,

флаконы с духами, серьги и прочие мелкие знаки внимания заполняли пространство вокруг неё. Она нравилась, умела влюблять в себя и забавлялась этим, а меня жгла ревность. Она раздаривала себя другим, не ощущая никакой потери, я же каждой клеткой чувствовал, что самая малая её улыбка, адресованная кому-нибудь, была обкрадыванием меня.

Через наставленные на столе стекла тёмных винных бутылок и синеватые блики хрустальных ваз я внимательно следил, прикрывая горящие глаза ладонью, за поворотом её красивой головы, за собранными в пучок волосами, за приглушенной улыбкой, полной притягательной силы. А они, эти дышавшие табаком и водкой самцы, тянулись к ней, явно надеясь не на одну улыбку. Иногда их темноволосые руки в отвёрнутых по самый локоть, как у мясников, рукавах дотрагивались до шелковистых складок её платья.

Мужчины... Я их отлично чувствовал, здоровых, напористых, уверенных в своей мужской неотразимости... Вот у одного к мясистым губам липнет набухший сигаретный фильтр. А у другого ноздри чувственно раздулись, как жабры, втягивают запах её тела.

А она, повелевающая миром, временами капризная, остроумная, шаловливая, мне одному (что за жирная, заглатывающая жадность?) принадлежащая, смеётся в ответ на пошлости, словно не замечая их. Или не хочет портить отношений? Ведь они — мужья подруг. Не давать же им по щекам? Впрочем, могла бы и шлёпнуть разок, а то вон тот ногу на ногу барски закинул, пуговичку на воротнике рубашки расстегнул...

Куклы и комиксы давно сброшены со стола и разлетелись шелестящей стаей отвергнутых бумажных листков, некогда служивших мне незастеклёнными окнами в заколдованные миры. Теперь вокруг — пепел повседневных сигарет на обрывках непристойных любовных записок и горсть противозачаточных таблеток. Я стою на голом столе, покинутый и никому ненужный, как путник посреди холодной пустыни, и вывинчиваю перегоревшую электрическую лампочку. Нежность и любовь, как пугливые молодые зверьки, давно разбежались. Отныне ничего впереди не лежит, кроме продуваемых тоскливым ветром десятков скучных лет. Однажды вступив босыми ногами на тропу бесстыдных взрослых людей, я проколол себе осколками цинизма ступню и тем самым обрёк себя на медленное и мучительное заболевание. Через открытую рану проникла зараза и вылилась моя

душа. С тех пор я обречён на страдание.

Внезапно осознав, что я лишился всей былой светящейся мечтательности, я ужаснулся. Взглянув в зеркало, я себя не узнал. На меня смотрела утомлённая физиономия. В набрякшей коже лба и щёк, в зыбких мешках под глазами и в самих глазах, каких-то мутных и не стоящих на месте, проглядывалось нечто неуловимое, что окатило меня холодом. То была невидимая никем мёртвость.

Всё чаще меня бил озноб.

Я пытался хвататься за предметы, чтобы чувствовать жизнь, но не мог ничем заменить упущенного ветра моего детства, который грел меня раньше, охранял и относил на своих мягких руках в душистые шалаши грёз. Перламутровые статуэтки, разноликие фигурки божков из слоновой кости, толстые пахучие переплёты книг — они наваливались на меня каменными глыбами. Ключом хлестало раздражение и обливало всех без разбора. Капли жгучего яда попадали и на моё собственное сердце, лопались сосуды, брызгала кровь.

Разорившаяся душа давала себя знать. Я ощущал, что схожу с ума. Мной овладевали страх и стыд (давненько он не посещал меня), но сильнее всего терзало страдание, порождённое отчаянием. Мне было больно, и я заставлял себя причинять боль всем вокруг. Жизнь превратилась в один бесконечно длинный пасмурный день. Под закопчённым ватным небом висело мутное марево. Пьяный, я ползал на четвереньках и то и дело смачивал пересохшее горло глотком водки. Тесные коридоры изламывались на моём пути, а жена истерично плакала и хлестала меня мокрым полотенцем.

Я ревновал… Ревность, это неповоротливое, слизистое животное, лишённое глаз и бубнящее вслух одну и ту же мысль, заглотила меня полностью, и я болтался в мешке её чёрного желудка.

Сейчас я знаю, что не верить жене у меня не было тогда причин. Однако, превращаясь в свинью, я желал, чтобы все вокруг уподобились мне. Я наслаждался чужой болью. Жало моего пьяного языка впивалось в тростинку нежного существа, и она, моя жена, не могла укрыться от моего яда.

— Сука! Кошка дешёвая! — рот наполняется слюной, меня душила тошнота.

Конечно, это положение не могло длиться вечно, и однажды произошло то, что должно было произойти, на что я подталкивал жену

непростительными выходками, на которые способен лишь пьяный дурак. Любовь умерла в конвульсиях, сдирая с себя кровоточащую кожу. И тут явился на сцене тот самый человек, который был способен приласкать выбившуюся из сил несчастную женщину. И лицо-то у него вполне обычное, и раньше хаживал в гости, встречался в кругу общих знакомых, но теперь его глаза стали для неё полными понимания, а пальцы — ласковыми.

Да, это произошло.

Тот вялый от зноя день, когда мы выехали на дачу шумной компанией, запомнился глубокими тенями в прохладной комнате. Жёлто-зелёные квадраты окон, не до конца прикрытые шторами, впускали мягкие лучи света с переливами лиственных сгустков. Солнечные струи шарили бесформенными пятнами по дощатому полу и разобранной кровати, с которой разомлевшими складками струилась белоснежная простыня и свешивалась временами бессильная кисть женской руки, так хорошо знакомой мне. Остальные части тела таяли в сумраке. Не виден был и мужчина. Соприкосновение же их тел чувствовалось даже в воздухе. Не глазами прочитывалось, а дыханием, рвавшимся из соединённых уст. И в этом скрытом от глаз, но осязаемом соединении двух объятых горячей страстью тел, таилось то самое величие, которое не вмещалось в слова, к которому мучительно хочется притронуться, в которое тянет погрузиться с головой, но которое, как и многое другое, я безвозвратно утерял годы назад.

Я напряжённо отступил по коридору. В затылке красными вспышками отдавались удары обезумевшего сердца. Панический страх (страх ли?) вскипел внизу живота ледяной пеной и обрызгал горло.

Улица встретила меня удушьем полуденного солнца и ослепила после таинственного мрака любовной комнатки. Горячие лучи полоснули по коже. Оглушительный птичий шквал и шум листвы каскадом обрушились на меня, но слух мой всё ещё не расставался с услышанными вздохами. Запах окружающих цветов и травы пронизывал меня и кружил голову. Поодаль приятели дымили шашлыком и орошали воздух беззаботным смехом.

Минуту или две по закоулкам моего мозга метался сладковатый дурман. Ощущение очень близкое к детскому восторженному волнению от подглядывания в запретную скважину струной напряглось в сердце, звонко задрожало от промчавшегося в последний раз вихря чувств

и застыло. Застыло навеки. Как окаменело.

В тот день я умер окончательно. Крылья величественной птицы счастья, для чего-то взлетевшей из давно оставленной мной страны сказок, обдали меня на прощание знакомым воздухом, и я остался один. Один на долгие годы. Ничто не беспокоило меня более, ни люди, ни их страсти. Временами я пытался задавать себе вопрос, для чего нужна моя жизнь, но вопрос расплавлялся сам собой, как расплавляется молочной массой мороженое, забытое кем-то на скамейке под горячим синим летним небом. Нет вопроса, нет и ответа.

Непонятная сила принудила меня взяться за перо, но и на бумаге я не узрел логики поступков и событий.

Да и припомнились, сказать честно, жалкие обрывки. Не понял я, почему некогда густые цвета движений и форм вдруг стали терять свою былую сочность и сделались полинявшими тряпками, скучными на вид и пригодными разве для вытирания крошек с грязного обеденного стола. Десятки лет слились в белёсое пространство.

Я родился давно, но жизнь моя оказалась коротка...

Январь-февраль 1992

Выдержки из дневника

Сон, Секс, Смерть

Январь 1996

Закрыл глаза не несколько секунд и увидел, что пространство «утыкано» какими-то мягкими голубовато-зелёными шариками. Эти шарики размещены ровными бесконечными рядами, довольно близко друг к другу. Тёмное (на самом деле не тёмное, но кажется таким) пространство и миллионы мягких шариков. Это пространство уходит не только вверх и в стороны, но и вниз. Я чувствовал под ногами твердь земли, а пространство уходило вниз сквозь пол, я видел его бесконечность внизу.

Открыл глаза. Всё исчезло.

Февраль 1999

«Немного секса в холодной воде». Сценарная зарисовка на будущее. История о том, как ко мне во сне пришла молодая Франсуаза Саган, мы вдвоём вырыли в саду бассейн, заполнили его солнечным светом, перемешали с водой, дождались наступления ночи, чтобы эта сияющая смесь в бассейне остудилась, а затем занялись любовью. Проснулись отдельно, каждый в своём мире, но сон запомнился нам обоим. И мы принялись писать друг другу письма сквозь время, но её письма успевали состариться, пока доходили до меня, а мои превращались в детский лепет, пока достигали Франсуазы, и мы ничего не понимали в них. Во сне мы могли быть одинаково молодыми, но письма наши видоизменялись, пытаясь пробиться из снов в реальность, и отдаляли нас друг от друга.

История о сексе и вечной разлуке. То ли мечта о той холодной воде и солнце, то ли тоска о несбывшемся, то ли ещё что-то из области сна, который пытается стать явью вопреки всем законам природы…

Апрель 2001

Когда я пишу любовные сцены, мне кажется, что я занимаюсь любовью с теми женщинами, которых пишу. У меня всякий раз возникает

эрекция. Я люблю их, они приходят ко мне, сюда, за мой рабочий стол. Они отдаются мне, отдаваясь моим персонажам. Я не могу этого ни понять, ни объяснить. Да и не хочу. Мне хорошо с ними. Мне хорошо, что происходит именно так — с нежной страстью и с воодушевлением, а не отстранённо.

Раньше со мной происходило нечто подобное на киносъёмках, когда я смотрел через окуляр кинокамеры. Но это не было связано с сексуальными сценами. Помню, однажды я снимал для телепередачи девушку, это была совершенно незначительная, случайная, проходная картинка. Сначала я взял всю фигуру целиком, затем очень медленно наехал на её лицо. Внезапно из-за туч выкатилось солнце, яркий луч попал девушке в глаз и преломился — глаз вспыхнул. Крупный план её светящегося глаза вызвал во мне целую бурю чувств, в том числе и сексуальных. Кадр длился всего несколько секунд, но я растворился в нём надолго. То же самое случалось, когда работал в фото-студии и делал портреты — именно портреты, а не обнажённую натуру. Это очень важно, ибо во время съёмок эротических сцен такого восторженного возбуждения на меня никогда не накатывало. Была, конечно, эрекция на голые тела, раздвинутые ноги, но то была лишь естественная кратковременная реакция на соответствующие обстоятельства, однако ничего схожего с состоянием восторга.

Ноябрь 2001

Сегодня приснился сон: я разговаривал по телефону с папой. Кажется, он сказал, что чувствует себя нормально. Однако в телефонной трубке были какие-то странные помехи, отчего папин голос плавал и ежесекундно менялся. Во сне мы находились в разных странах, хорошо помню, что я звонил из Испании. Почему? Что это за удивительная ситуация? Должно быть, так проявилось скрытое желание увидеться с ним, а ситуация (мы в разных странах) выстроена таким образом, чтобы показать невозможность этого. Или же это как-то связано с моей книгой «Под сводами высокой лжи»? Юрик ведь в Испании работает.

В другом сне, чуть раньше, я видел молодую женщину со светлыми волосами. Она давала мне интервью, лёжа на спине. Поначалу я видел только её лицо, затем угол моего зрения расширился, и я увидел женщину целиком. Она была голая, очень ладная. С одной стороны от неё лежала девочка лет двенадцати, с другой стороны — совсем

маленькая девчушка. Все были голые и светловолосые. Что это за странное видение? После этого этот сон сменился другим, как меняют друг друга сцены в кинофильме.

Февраль 2003

Купил ещё книжку Генри Миллера, там есть любопытное эссе «Мир секса». Как всегда, нашёл у него удивительно точные высказывания: «Тоньше всех понимали силу секса язычники, обитатели пещер и верующие. Одни возвеличивали его в эстетическом смысле, другие — в магическом и третьи — в духовном. В нашем мире, где господствуют существа, чьё развитие не намного превышает животный уровень, смысл секса утрачивается как таковой».

Май 2003

Сегодня во сне я был будто бы в Венеции. Но это в действительности совсем не Венеция, хотя воды и каналов очень много. Это даже не каналы, а городские площади, по которым плавают лодки и катера. Познакомился я там с каким-то русским пареньком, который возит туристические группы по разным маршрутам, возит на троллейбусе, но этот троллейбус ездит и по воде (слетает с проезжей части в канал и плывёт; «А то там светофоров много, — пояснил мне тот парень, — да и до отеля долго пешком топать. А так я вас со стороны канала прямо к воротам доставлю»). И доставил-таки. Выглядело всё это странно. В этой Венеции было даже метро, а пешеходные дорожки к нему были усыпаны чем-то белым. Я поначалу подумал, что снег, но он не таял под солнцем. Тогда я взял этот снег в руку и понюхал, он вкусно пах (какой-то восточной сладостью), и я рискнул попробовать его на язык. Оказалось — нечто похожее на сахарную пудру. Были там и большие участки, заросшие высокой сухой травой, а в траве журчала исключительной прозрачности ключевая вода.

Откуда все эти картинки взялись?

И в эту же ночь я видел войну. Бомбили Москву. Бомбили с вертолётов. Если вкратце, то досталось и нашему дому. Но его каким-то образом перевезли на новое место, чтобы он не мешал никому. Мы зашли в подъезд — а там только лестницы, лестницы и больше ничего; этакий скелет из лестниц. А вещи ждали нас в другом здании, их туда сложили какие-то администраторы; выдавали по списку, как если бы заранее была сделана опись — что кому вернуть.

От сна было неприятное ощущение, хотя я всё время понимал, что

это вымысел, поэтому ни страха не было, ни паники. Скорее моё состояние напоминало любопытство. Но осадок неприятный.

***

Люди почти повсеместно страшатся того, что секс перестанет быть тайной, а ведь самые большие тайны, которыми человечество упивается, это смерть и секс. Поэтому тема секса почти табуирована. Если вдруг тема секса сделается, так сказать, заурядной, то люди потеряют главное из того прелестного, что скрывается сегодня за половыми отношениями.

Сентябрь 2003

Ю видела сегодня во сне любопытную сцену. Она стояла перед зеркалом и, глядя на своё отражение, хотела поправить очки, но к собственному ужасу вдруг обнаружила, что очков-то на ней нет. В отражении есть, а в действительности нет. Очень значимая сценка. Это и есть наша раздвоенность: можно было и себя вообще не нащупать — мы же в действительности отсутствуем.

Май 2004

Сегодня видел во сне горы. Те самые, которые находятся в Битцевском парке. Раньше этот скрытый от всех участок территории я видел часто, но теперь совсем не вижу и даже забыл про него. И вот сегодня я снова побывал там. На скалах лежал снег, в воздухе плыл туман. Очень легко дышалось. Я впервые смог разглядеть этот горный массив со стороны, будто откуда-то сверху, как выстроенный на столе макет.

Во сне я знаю тайную тропинку, ведущую в то пространство, к тем горам. В жизни я знаю то место, где должна быть тропинка, но тропинки нет.

Январь 2006

Вспомнилось, как я после КАИ попал на «Мосфильм» ассистентом режиссёра к Анатолию Петрицкому. Мы снимали фильм «Причалы» — скучнейшую и до тошноты неинтересную картину. Петрицкий не находил себе места и всё время рвался к камере, там он чувствовал себя на своём месте. Как раз в те дни по телевизору показывали «Войну и мир». Петрицкий работал там оператором-постановщиком. Какая в нём была сила, сколько неуёмной творческой энергии! Они с Бондарчуком создали настоящий шедевр. И вот же попёрся он в режиссуру! Был потрясающим оператором, а стал никаким режиссёром. Но тогда я это понимал не до конца, просто чувствовал что-

то неверное в облике и поведении Петрицкого. Вернее, его никчёмность как режиссёра я видел, потому что он никому толком ничего не мог объяснить и, кажется, не очень-то хотел этого, но его величие как оператора я всё-таки не осознавал. Мне казалось только хорошо, но не более. Теперь же вижу: чудесно, превосходно и всё только от себя, никакого воровства у других, никаких цитат из других фильмов, как это любил делать Годар.

Некоторые сцены в «Войне и мире» завораживают настолько, что от восторга перехватывает дыхание. Можно было бы раствориться в том, что происходит на экране — растворился бы там без остатка, весь бы ушёл в те фигуры, позы, переливы изображения друг в друга. Ведь надо же было придумать так здорово: Наташа подглядывает за целующимися влюблёнными, потом они убегают, а она продолжает видеть их призрачные контуры в пространстве. И при этом так же призрачно звучит то ли бой далёких часов, то ли музыкальная шкатулка. А после этого Наташа зовёт Бориса: «Идите сюда»... И всё это окутано мистически-интимной атмосферой, гомонят птицы, проплывают огромные листья каких-то оранжерейных растений. Работает двойная экспозиция. Наташа увлекает Бориса за собой и предлагает ему поцеловать куклу. Он смущён нелепостью предложения. «А меня хотите поцеловать?» — спрашивает она и сама припадает к его губам.

Меня всегда волновала эта сцена. Будучи ребёнком, я много раз видел её во сне и в предсонном состоянии. Эпизод этот абсолютно целомудренный, но он пробуждал в моём детском сердце некую тревогу, настороженность. В Наташином требовании и в её поведении (как проворно она встаёт на табурет, откидывает мешающие ей волосы и целует Бориса!) таилась угроза. Я чувствовал эту угрозу. Но как же сильно манила меня та сцена. Мне хотелось быть и Борисом, и Наташей, и самой той атмосферой — таинственной, необъяснимой для детского ума.

Теперь в очередной раз просматриваю эпизод за эпизодом и снова меня охватывает что-то из моего детства. Только теперь меня околдовывает мастерство, с каким выполнена сцена, а не Наташа и её жажда целоваться.

Умение творить искусство — великий дар.

Март 2007

Видел сон: мы с Ю зачем-то принесли в дом мешок со змеями

и выпустили их всех на пол; змеи шипят, дёргают плоскими головами. Потом мы отправились гулять, а я шёл и думал о том, что домой может внезапно прийти мама. Она-то ничего не знает про змей, и её непременно укусит какая-нибудь из этих гадюк. Весь этот сон я размышлял, как нам выловить этих змей.

Тягостное ощущение. У каждого человека своя символика снов. Общего ключа к разгадке снов не может быть. Интересно, откуда вдруг пришли ко мне образы змей? Я только в детстве видел змей во сне — их всегда было много, они тянулись из земли вместо травы, то есть сплошной ковёр торчащих из земли змей.

Октябрь 2007

В последние дни сентября угодил в больницу с воспалением лёгких: продуло кондиционером в кабинете у Шмакова. Свалился за один день. Пролежав в больнице пять дней, выписался «под собственную ответственность», так как врачи ни разу не подошли ко мне за это время, только сёстры делали уколы в задницу, а послушать, что у меня там с хрипами никто не удосужился ни разу. Уникальное у нас медицинское обслуживание.

Вернулся домой, пью сок из мёда и лука, настойку из полыни, лимона и чеснока, активно занимаюсь дыхательной гимнастикой. Состояние улучшается быстро.

В больнице видел сон: большое помещение с колоннами, каменными лестницами, высокими потолками. Я ходил по этому зданию, разговаривал о чём-то с папой. Потом мне куда-то пришлось отлучиться, и тут я услышал (именно услышал), как случилось что-то страшное. Я побежал обратно и увидел папу. Его обступили люди, придерживали. Он терял сознание, вокруг рта у него были капли крови. Я подхватил его на руки и понёс куда-то по лестнице. Пока я нёс его, он умер. После этого ракурс изображения сменился, я перестал видеть привычным взором и стал смотреть на эту сцену со стороны, издали. Я видел, как я нес папу на руках, видел кучу людей, шагавших за нами, видел кровь, которая почему-то большими лужами расплескалась по полу, хотя на папином лице её было совсем мало (чуть-чуть вокруг губ). Всё было пропитано каким-то бледно серыми пастельными тонами, словно снято через специальный фильтр.

Почему приснился умирающий папа? Почему я нёс его на руках? Неужели до сих пор где-то на подкорке памяти лежат, время от времени

оживая, те далёкие дни, когда он умирал? Неужели до сих пор это является для меня чем-то значительным, важным?

Ноябрь 2007

Сегодня видел во сне любопытную сцену. Мы с Ю ходили в горы, искали что-то. Деталей не помню, помню только, что забрались высоко.

Неожиданно я заметил на противоположной стороне ущелья какое-то движение. Там, находилось что-то, чего я не мог разглядеть, но почему-то мне сейчас думается, что там, в скалах, располагался монастырь. Внезапно оттуда полетел вниз скелет жёлтого цвета. Он падал долго, ударяясь о камни и переворачиваясь, но не рассыпался. Он был похож на куклу. Возможно, это был человек, одетый в карнавальный комбинезон с изображением скелета спереди и сзади одежды.

Я взобрался ещё немного, и передо мной открылось ровное пространство. Под ногами я обнаружил огромную каменную фигуру Христа. Он был в кардинальской одежде, с высокой кардинальской шапкой на голове. Христос лежал. Поначалу я решил, что изваяние опрокинулась, но потом понял, что фигура изображала именно лежащего Христа. Он спал в каком-то гигантском каменном блюде, наполненном водой. Его высокая шапка то ли лопнула, то ли специально была выполнена как бы чуть отслоившейся от основного изображения. Сам Христос лежал на боку, но верхняя часть туловища немного откинулась на спину. Каменные складки длинного кардинальского наряда плавно растекались по дну блюда. Всё, что лежало под водой, было тёмным, а надводная часть скульптуры выглядела почти белой, словно выгоревшей на ярком солнце.

Я позвал Ю, она быстро взобралась ко мне и сразу заговорила с невесть откуда взявшимся монахом. «Скажите, пан», — обратилась она к нему. Почему «пан»? Мы находились чуть ли не в Перу — горы похожи на перуанские. И вдруг — «пан». Монах что-то стал рассказывать, но я в этот момент проснулся.

Почему я был уверен, что фигура изображала именно Христа, а не абстрактного кардинала? Как это часто случается во сне, обнаружив это изваяние, я сразу понял, что нашёл то, что искал, хотя предыстория сна забылась. Так нередко происходит — снится улица, и понимаешь, что не раз ходил там, узнаёшь все детали, но только узнаешь, а не вспоминаешь. И здесь повторилось то же — увидел то, что искал, хотя помню удивление поначалу: ой, что это здесь такое! ах, это же оно!

оно самое! так вот оно где, это творение рук человеческих, это уникальное произведение, так тщательно скрываемое от посторонних глаз! И с первой же секунды понял, что фигура спящего кардинала — на самом деле Христос. Почему Христос? Как такие вещи понимаются? Из какого информационного поля приходит к нам во сне наша уверенность и убеждённость в том или ином знании?

Март 2009

Проснулся в тоскливой внутренней духоте. Приснилось, что я остался один, что умерла Ю. Она даже не умерла, а просто перестала быть. Не говорилось во сне о смерти, но во сне всегда всё понимаешь. Сидишь там, беседуешь с кем-то и знаешь, что собеседник твой за тысячи километров от тебя, в другой стране, и ничуть не удивляешься тому, что сидите рядышком...

И вот понимаю, что Ю нет. И такая беспомощность во всём моём существе, такая жуткая неприспособленность к жизни! Почему-то ясно увидел, что не умею пришивать пуговицы, всю бытовуху увидел каким-то необъяснимым взглядом. Вся моя «творческая личность» в одно мгновение потеряла всякий смысл. Всё бросилась в глаза и в сердце — вся моя никчёмность. Ю — это такая непередаваемая значимость!

Страшное было чувство.

Проснулся. Лежал и смотрел на Ю, она тихонько посапывала в глубоком сне. Мирно, уютно, а я лежал на дне пропасти, разбитый одиночеством и раздавленный невосполнимой потерей, которую прочувствовала каждая клетка моего тела.

Удивительно устроен человек. Необъяснимо. Божественность наша иногда страшит меня.

Ноябрь 2009

Разговорились с Ю о сновидениях и потустороннем мире. Разговор зашёл после просмотра фильма «Неуместный человек». Ю сказала, что именно таким и представляется ей загробное существование — ровным, спокойным, безвкусным. Я же чувствую, что там всё намного ярче, чем здесь, потому что там у нас нет физического ограничения. У нас есть всё, но нет тела. Во сне мы в значительной степени отрываемся от тела, поэтому наши ощущения увеличиваются многократно, а в потусторонней жизни ощущения становятся вообще безбрежными. Там мы и есть ощущения. Любая мысль там превращается в движение и воплощение идеи в форму, цвет, вкус. Чувства не появляются внутри нас, а становятся

нами.

В жизни я никогда не испытывал ужас, но во сне ужас приходил часто. И это не просто состояние испуга, страха, состояние необъяснимого кошмара приобретает во сне вселенские масштабы. Причём для ужаса порой не бывает объяснимой причины. Сколько раз я видел вдалеке какую-то женскую фигуру, безобидную, неприметную, но она пробуждала во мне такой ужас, что каждая клетка моего тела начинала гудеть и кричать — не спрячешься, не стряхнёшь его с себя. А бывало, что пустое пространство, где не было ничего и никого, рождало безудержный страх, словно передо мной стоял монстр. Мирный пейзаж мог вызвать безумное сердцебиение, которое охватывало меня целиком, поглощало, раздавливало, приводило к смерти, и я просыпался, выныривая из сна. Ничего похожего на это не происходило в реальной жизни. Равно как никогда в реальном мире не слышал я той музыки, которая звучала во сне. Иногда музыка была известной, а иногда новой. Но не в мелодии суть, а в звучании — играло всё пространство вокруг меня, играли не инструменты, а что-то другое, и звук был не вокруг, а внутри меня. Я был самой музыкой. Хорошо помню, как я просыпался с этой музыкой и не мог справиться с тем, что распирало меня. Мне не хватало воздуха, у меня раздувалась грудь, и я продолжал слышать ту музыку, хотя слушал её, проснувшись, уже совсем не так, а лишь едва-едва. Нет, тех состояний, которые приходят во сне, передать невозможно. Впервые я соединился с женщиной тоже во сне, когда ещё и не знал, как ощущается женское тело. И то, что я испытал, никогда не повторилось в действительности — блаженство было подлинным, райским, непередаваемым.

Здешняя жизнь несравнимо скупее в своих проявлениях. Боль и наслаждения здесь локальны, а там они повсеместны, они всюду, они — всё.

Нет, я настаиваю, что после смерти всё будет гораздо ярче. Там мы создаём свою реальность каждый для себя. Там мы управляем своей реальностью. Там мы творим её. Там мы все — художники.

***

Прощальное письмо Маркеса? Да, оно замечательно. Но замечательно лишь потому, что он написал его, сожалея о том, что исправить уже ничего нельзя. Молитва о спасении, которого не будет. Плач о жизни, которую уже не прожить. Наверное, в последние дни

жизни я тоже смогу написать что-нибудь подобное, светлое и возвышенное. А сейчас не могу, потому что сейчас у меня есть ещё шанс изменить что-то в себе, но нет на это сил. Я похож на паралитика, который всё видит и понимает, но не в состоянии шевельнуть ни рукой, ни ногой, чтобы выбраться из своего безволия. Кажется, у меня вполне хватит ещё здоровья, чтобы взобраться на гору и прыгнуть оттуда, но нет внутренних сил, чтобы подняться на ноги и пойти. Я выстрелил в то, что оказалось чёрной дырой и выплюнуло пулю обратно в меня. Мой Кадола так стрелял в других, убивая себя. Я давно сочинил его и вот вдруг обнаруживаю, что выстрел тот написан про меня. Вгрызаясь в окружающее пространство, я вгрызаюсь в себя. Терзая его, я терзаю себя.

Как легко прятаться за выдуманными персонажами! Как выгодно, как удобно скрываться за их поступками и словами, отводя внимание от себя. На них — на моих сочинённых — можно безбоязненно навесить всё, пусть говорят что угодно, пусть говорят о себе бесстыдную правду, ведь они — это не я, они — другое. И пусть я буду тысячи раз повторять, что они и есть моё нутро, со всеми мерзостями, коими пропитана моя мелкая душонка, никто не поверит, что они — это я в развёрнутом виде, потому что моих персонажей много и они разные. Но я-то один! Я-то наплодил их из себя — из моих хромосом, из моих кровяных шариков, из моих клеток моего мозга, из моих заблудившихся мыслей.

У меня был прекрасный шанс спиться однажды. Ничто не сдерживало. Жил без оглядки на других. Жалел их, конечно, сострадал им, если так можно сказать про алкоголика, но продолжал пить. Зачем же я остановился? Так просто — умереть пьяным, не сознавая своей никчёмности, своей грязи, кричать пьяным языком о своей непризнанности и непонятости, колотить себя в грудь нервным кулаком и пускать слёзы. Так просто быть нетрезвым. Пьяный не видит свою гибель, не осознаёт её, он видит только сон. Зачем же я остановился тогда, зачем свернул с такого надёжного и спокойного пути, где мучительно только утреннее похмелье?

Что-то заставило меня вернуться. Что-то сделало трезвым. И вот я трезво разглядываю себя и ужасаюсь тому, что открываю. Новое рождается во мне. Плохое новое. На плохом старом. И лучше опьянеть сейчас, чтобы утопить рассудок.

То, что раньше могло избавить меня от меня, что я не раз проживал

в моих фильмах, теперь не позволено мне из-за трезвости. И придётся идти до конца, не испытывая желания идти. Я страдаю от неодолимого желания спать, мне хочется обернуться в сон, спрятаться в нём, охмелеть от него, сбежать с его помощью. Пить, пить, — умоляю, — дайте напиться сном, дайте забыться. Не дайте проснуться.

Книги заменяли мне его. Я создавал сон, сновидения, грёзы. Не знаю, видел ли кто-нибудь ещё эти сны так, как видел их я, и давали ли они кому-нибудь то, что давали мне, но они дарили мне силы. Работая, я оживал. Оживая, я работал. Из бездонной ямы выбрался я, чтобы почувствовать себя человеком. Работая над книгами, я делился собой. Плоть от плоти моей предлагал окружающему миру. Поэтому всегда ценил чужое творчество, когда видел вложенную в него жизнь, разлитые в нём боль и радость.

Но сейчас во мне песок. Я превратился в песок. Я рассыпаюсь. Как некогда прекрасный Ахетатон стал пустыней, так и я. Песок и ветер. Безрадостность. Зной воспалённой души.

Несколько часов — это так мало. Но лишь на несколько часов хватает моих сил, затем опускаются руки, и я жду сна, чтобы спрятаться в нём. Мечтаю о новых книгах, которые увели бы меня отсюда, умчали бы в безбрежье, унесли бы ввысь. Помечтав несколько минут, падаю, рассыпаюсь. Ненужность!

Как страшно ощущение своей невостребованности! Убийственно…

Остаётся только дневник. Здесь можно ничего не строить. Просто выплеснул — и достаточно. Здесь нет надобности в искусстве. Только выплеснуть. Только проблеваться. И достаточно. Уже легче. Как головой в стену. Отдушина. И никакого искусства. Никто не спросит, не осудит, не плюнет, не похвалит, не удивится. Никто ничего, потому что дневник имеет право быть любым. Жаль, что в дневнике я не могу позволить себе всего того, что увлекало меня в другие пространства, потому что дневник — это я и только я, мои следы, моя грязь, моя духота, моя слабость. В дневнике не скрыться за чужими именами и чужими поступками.

***

Снилась наша индийская квартира. Раньше я видел её чётко, ясно. Она всегда была тёмной из-за того, что на улице слепило яркое солнце. И в квартире всегда царила прохлада из-за включённого кондиционера. Холодный каменный пол. Всё это присутствовало во сне. А в этот раз я

видел только то, что прямо передо мной, остальное растворялось в дымке, остального словно не существовало. Предметы появлялись, только когда я смотрел на них. Во сне всегда я приходил в ту квартиру один, но сегодня был с Ю. Мы ждали, когда привезут из больницы моего отца. Оказывается, он до сих пор снится мне — то больной, то здоровый, и в этом нет никакой логики. Сегодня он был болен. Он лежал рядом со мной. Близко-близко я видел его лицо. Мы о чём-то разговаривали. Он знал, что болен неизлечимо, и ему было больно.

Такой вот непонятный сон. Почему опять снится его боль?

Я совсем не помню теперь снов. Раньше хорошо помнил их, в подробностях, даже если сны были нелепые, бредовые. Теперь не помню. Про сегодняшний сон вспомнил случайно: мелькнула перед глазами какая-то картинка-ощущение, когда принимал душ. Попытался «раскрутить» её, но вспомнилось лишь то, что записал сейчас.

Декабрь 2009

Самое комфортное состояние сейчас — сон. Плохие сны не приходят ко мне, поскольку, наверное, засыпание теперь всегда желанно. Любой сон — хорошо. Не всегда удаётся войти в его двери, иногда только в пол-уха, в пол-глаза заглядываю туда, большую часть ночи провожу мучимый бессонницей, поэтому любой сон хорош — лишь спать. Это не самое хорошее из занятий и уж совсем не продуктивное в смысле творчества, но оно мне теперь кажется самым приятным. Спать. Мне хочется спать. Это болезнь. Я не верю, что болен, но что делать, когда весь организм требует сна — руки, ноги, голова, мысли. Как путник в пустыне жаждет воды, так я жажду сна и не могу получить его.

Сейчас глубокая ночь. Поднялся, дабы не вертеться в кровати, не мешать Ю. Посижу немного, попытаюсь воспроизвести моё состояние в словах, разобраться. Почему не сплю? Что мешает? Мысли? Какие мысли? Я привык прятаться от них во сне, поэтому сон не идёт ко мне. Сон хочет, чтобы я думал и понимал, чтобы я додумался и прочувствовал, как мне вести себя, как вытащить себя из кризиса. Или сон не идёт, чтобы поскорее сломать меня. Это тоже выход из кризиса — растратить силы и перестать быть.

После вчерашнего разговора с Ю мне показалось, что я качнулся в нужную сторону. Однако сегодня опять заныли ноги, опять подкралось нытьё к глазу, опять тяжесть какая-то неуловимая, неопределяемая, но осязаемая внутри меня и вокруг меня. Видимо, спокойствие моё —

фальшивое, поверхностное, а внутри — сжатая пружина, которую нужно немедленно разжать, но не отпустить, а плавно, мягко. Как сделать это? Я говорю, что всё у меня хорошо, а в дальнем углу моего мозга притаился сжавшийся перед прыжком зверёк, и его готовая разбрызгаться в разные стороны ядерная мощь не даёт мне расслабиться.

Убить этого зверька в себе.

Хочу спать.

***

Видел сон. Точнее — не сон, а предсонные видения. Я взбегал по лестнице нашего делийского бассейна и прыгал вниз головой. И вода вдруг исчезала. Даже не исчезала, а я представлял, что она в одно мгновение уходила, бассейн пустел. Я летел головой вниз в бетонный пол. Передать состояние не могу, потому что оно слишком многогранно. Но смысл в том, что за эти короткие мгновения я успел полностью отрешиться от мира, от всего, что меня держало в нём. Это было похоже на какой-то удар изнутри, будто каждый миллиметр моего тела взорвался испариной. И после этого из меня ушло всякое напряжение. Впервые я ощутил отсутствие привязок к миру. Лёгкость необыкновенная. Даже не лёгкость, а свобода. Мышцы расслабленные, мозг чистый. Я лежал и не понимал, как такое произошло. Абсолютная расслабленность и чистота.

Апрель 2011

Сегодня видел папу во сне. Неприятный сон. У папы отсутствовала кожа по всему телу, но он будто не обращал на это внимания. Он болен, как это обычно бывает в моих снах (значит, ум всё-таки твёрдо удерживает этот рубеж), но как-то не жалуется. Мясо по всей поверхности его тела рыхло подрагивало, было мокрым, но простыня не пачкалась. Голова тоже была у него какая-то разобранная, открытая на лбу, как аппарат, и там на какой-то пластине лежала губка. Папа попросил меня поправить эту губку, я вынул её и заткнул обратно. Потом мы легли спать. Ни ужаса, ни отвращения я не испытывал, только некоторое недоумение — как такое возможно?

Проснулся с тяжёлой головой. Глаза опухшие. Возможно, такие сны проявление какой-то «неполадки» в организме, которая складывается в таких «страшных» картинах.

Удивляет, что во сне самая абсурдная и фантастическая ситуация

не вызывает у меня сомнения в реальности такой ситуации. Раз «оно» происходит, значит, «оно» возможно. Есть лишь некоторое любопытство (хотя слово «любопытство» не совсем подходит), но это какое-то детское любопытство, которое не ведёт к изучению, а просто немного удивляет своей необычностью: надо же как! ух ты! Я вижу, разглядываю, участвую, но меня не поражает, не повергает в шок ни самая ужасная, ни самая омерзительная, ни самая светлая ситуация. Полёт во сне нормален, удивляет, пожалуй, когда летать не получается, когда тело только чуть-чуть зависает над землёй, но не взмывает высоко, как должно быть. То есть должно быть высоко и легко, выше облаков. Я прекрасно помню эти полёты и ощущение невесомости тела. Или вытаскивание стеклянной массы изо рта — густой, липкой, колющейся, бесконечной, невесть откуда тянущейся. Она заполняет всю полость рта, всё горло, я вытягиваю её, однако она не заканчивается. И я не удивляюсь ей, я знаю, что такое уже случалось. «Оно» не то чтобы в порядке вещей, но не ново. Как не прекращающийся целый день понос — состояние не нормальное, но не пугающее, временное, случайное. «Оно» закончится, как заканчивается внезапно разразившаяся гроза, затянувшее небо от горизонта до горизонта.

Сон — не что-то постороннее, не что-то нереальное. Все события сна реальны, так как сон — реальность. Не материальная реальность, другая реальность. У каждого из нас много реальностей, некоторые из них сплетаются, проникают одна в другую. Так, например, пространство мыслей — это самостоятельная реальность, в которой мы легко перемещаемся, прокладываем коридоры, без усилий выстраиваем логику. Однако эта логика, соприкасаясь с материальным миром, часто не работает, хотя нам кажется, что в наших мыслях мы опираемся на окружающую действительность. Оказывается, у материального мира своя логика, своя реальность. Эти две реальности нахлёстываются одна на другую, как нахлёстывается на них реальность творчества (нахлёстывается, взаимодействует, но существует всё-таки отдельно, в собственном пространстве). А сон — совсем отдельно…

Декабрь 2011

Сон… В комнату вошла мама. Она медленно упала. Мягко. И перевернулась на спину. В жизни она сейчас почти без волос из-за «химии» после перенесённой операции, но во сне у неё были красивые тёмные волосы. И лицо почти молодое. Я уже забыл, что у неё было

когда-то такое лицо. Халат у неё распахнулся и открыл левую грудь — ту, которой уже нет и вместо которой только жирный шрам, тянущийся аж под самую лопатку. Мама упала, и я почувствовал внутри себя, как она медленно теряет сознание и сила быстро-быстро покидает её. Её состояние было во мне. Эта убегающая сила зацепила что-то во мне, и огромный сгусток нежности, боли и беспомощности поглотил меня целиком.

Беспомощность — это ощущение меня убивает.

Понимание своей полнейшей никчёмности, беспомощность в присутствии смерти. Она делает своё, и я не в состоянии противопоставить ей ничего. И тело умирает на моих руках. Жизнь перестаёт быть.

Январь 2012

Часто вижу во сне коридоры и помещения, из которых невозможно выбраться: они как лабиринт. Сегодня проснулся с пониманием того, что такие сны — призыв к пробуждению. Сон даёт понять, что по этим коридорам блуждать бесполезно, он посылает «шифровку», которая создаёт неуютность, призывая тем самым вырваться из сна.

Ещё о призывах к пробуждению. Бывает, что я хочу в туалет и начинаю видеть всевозможные неудобные туалеты. Во-первых, это всегда общественные туалеты. В-вторых, это неудобные туалеты. Например, высокие, под самый потолок, где надо усесться на корточки, а голова всё равно чуть ли не упирается в потолок. В-третьих, там всегда грязно, пол залит жижей, похожей на растаявший снег (ещё густоватый, ещё с комьями, но уже лужи).

И ещё бывают помещения, где много узких дверей. Это даже не двери, а створки высоких ящиков-ячеек. Человек не спрячется за такими дверцами. Но во сне эти створки распахиваются (обычно они помятые, неровные), и выходят оттуда люди. Сегодня вся стена распахнулась разом: двадцать, тридцать, сорок — сколько их было, этих створок? И оттуда начали выходить люди. Как из заводских ворот в конце рабочего дня — лавина. И я пошёл со всеми, побежал, скользя по мокрому полу. И видел рисунок на кафельном полу: багровые вензеля на красно-коричневом фоне. И по всему полу тянется раздавленный грязный снег. Скользко.

Июнь 2012

Вчера во сне увидел наш район почти тридцатилетней давности.

Боже, как это было неожиданно! Я шёл по сегодняшней улице и внезапно вышел на пространство, где только началось строительство домов. И машины из того времени (правда, ярче, чем тогда, таких красок в те годы не было). Я сразу же проверил, сколько при мне кассет для видеокамеры: часа на четыре хватит. Четыре часа кинохроники из прошлого! Голова кругом пошла от охвативших меня чувств. И я принялся снимать, снимать, снимать очень длинными планами, чтобы время запечатлелось в своём подлинном ритме. Время, время, время — оно было вокруг таким неожиданным… Затем я вдруг испугался и почувствовал что-то пугающее в моём присутствии там (то ли я неуместен там с моим наглым любопытством, с моей жадностью оставить прошлое при мне). Мне захотелось немедленно вырваться оттуда. И я проснулся.

Июнь 2014

Видел во сне окровавленное ухо. Кто-то дал мне в руки ножницы и сказал, что ухо необходимо разрезать. Я не смог, кто-то сделал это за меня: вставил ножницы в ушную раковину и разрезал ухо снизу вверх. Неприятный сон.

Ноябрь 2014

Сегодня во сне ко мне приходили какие-то зверьки.

Я проснулся от того, что кто-то покусывал меня в левый угол рта, за нижнюю губу. Проснулся и увидел их. Но проснулся во сне. То есть мне снилось, что я сплю, и я проснулся внутри моего сна. Этих зверьков было много. Они похожи шкуркой на выдру, но мордочка остренькая. Они копошились вокруг меня, залезали ко мне на руки, а один из этих зверьков всё норовил куснуть меня, но кусал не больно, а как бы играл (заигрывал, может быть?)…

Вот такой был сон. Фрагмент сна — потому что остального не помню.

Апрель 2016

В первозданном мире ангелы были ангелами, а дерьмо было дерьмом, всё подчинялось истине. Сегодня дерьмо размазывают по холсту, выдавая эту мазню за произведение искусства. Искусство было проявлением божественности. Теперь ангелов с детства приучают к мысли, что Бога нет, и они вырастают бездушными ублюдками. В сегодняшнем мире нет истины, потому что люди боятся быть честными.

Честность подменяют прямолинейностью и цинизмом. Если где и встречаются честность, так в психиатрической больнице, но там честность — это лишь проявление воспалённой психики, а не отражение истины.

***

Сон непостижим. Во сне происходит самое страшное, самое красивое, самое непристойное. Всё это — я, и этот «я» наверняка живёт не только в моём сне, но и во время бодрствования. Как же ему удаётся спрятаться?

Во сне человек сталкивается с истиной, освобождённой от оков логики.

Июнь 2017

Сегодня проснулся, цепляясь за отголоски невероятно сложных снов. Всякий раз, когда хочу восстановить в памяти сны, ничего не получается. В лучшем случае удаётся восстановить отдельные картины, даже не сцены, а лишь картины, кадры. Сны отличаются от кино отсутствием «человеческой» логики. Невозможно, вспомнив одну сцену сна, распутывать весь клубок сюжета, потому что сюжета нет. Во сне происходит нечто такое, что не имеет названия, если говорить, например, об искусстве. Сон наполнен ощущениями, чувствами, изображением, которые лишь «внешне» (если так можно сказать о чувствах) похожи на то, что мы испытываем и делаем в жизни, вне сна.

Сегодня я подумал, что наша жизнь есть отдых от сна. Мозг не перестаёт работать ни в состоянии сна, ни в состоянии бодрствования, но в состоянии бодрствования наши мысли подчинены логике, а во сне логика отсутствует. Во сне легко можно узнать знакомого человека под личиной другого человека или под личиной зверя. Можно легко услышать мысли окружающих предметов. Можно без усилий менять собственную форму. Сегодня ночью я проникал в какие-то не то скважины, не то расщелины, не то коридоры (некоторые были в необъятной для глаз снежной стене, другие были вообще все всякой материи) и через них получал возможность выйти как бы в иное пространство, но при этом остаться в собственном теле, одновременно смотреть на своё тело со стороны (но не с воздуха смотреть, не из космоса, а из другого своего тела). Точнее сформулировать не могу.

Во сне есть всё. Во сне нам доступны любые возможности, самые

непостижимые, самые невообразимые. Если черпать откуда-то «сюрреалистические» образы и ситуации, то это из снов. Однако весь сюрреализм, вся сказочность, вся небывальщина держится во сне всё же на привычных образах — снег, тело, улица, город, безлюдность, то есть мы погружены как бы в привычную декорацию, однако эта декорация существует по законам, которых мы не знаем. В жизни бодрствующего человека таких законов нет. Случись с человеком в момент бодрствования то, что происходит во сне, человек бы сошёл с ума. Но во сне мы не сходим с ума. Во сне всё для нас «само собой разумеется». Мы летаем, мы проходим сквозь стены, мы проникаем в чужие тела, мы живём на иных планетах — и это всё «само собой разумеется». Во сне мы редко удивляемся.

Моё самое большое удивление связано с появлением умершего отца и умершей матери. Удивляло не то, что они вчера умерли, а сегодня вновь ожили, но то, что я не знаю, как им объяснить, что они вчера умерли. Сам факт их «воскресения» не удивляет. Значит, это не удивление, а попытка мозга вписать мир сновидения в отголоски мыслей из жизни-бодрствования.

Нет ни одного произведения искусства, которое воздействовало бы так сильно, как сон. Нет гениев, создавших хотя бы нечто приблизительно равное по силе и глубине. Нечто более сильное, чем мысль и чувство, сокрыто во сне. Непостижимое величие материи, из которой созданы мы все.

Человек создаёт понятное, человек хочет быть понят, поэтому разжёвывает так и сяк свои чувства и мысли, чтобы донести их до публики. А сон ничего не разжёвывает, он просто делает нас частью себя, превращает меня в ту материю, которой он является, поэтому мы во сне — в естественной среде, нам не требуются пояснения, мы всё понимаем. Но едва мы пробуждаемся, как понимание исчезает. Состояние бодрствования сильно ограничивает нас.

Август 2017

Несколько дней назад, засыпая, я увидел ясную картину того, что представляет собой искусство. Увидел мысль об искусстве, увидел развенчание искусства, увидел понимание искусства. Боюсь, что для изложения этой мысли, для передачи всей её полноты и выпуклости надо написать целый трактат. Но мысль эта так важна для меня, что постараюсь записать её хоть как-нибудь, хотя в сжатом виде она

покажется банальной и плоской.

Искусство не есть что-то особенное. Все занимаются им ежедневно, но некоторые почему-то считают себя избранными и называют себя художниками. Я тоже называл себя так. Это, конечно, гордыня и ничего больше. Искусством занимаются все: дети, взрослые, старики, умные, глупые, вдумчивые и поверхностные. В искусстве нет и не может быть критериев качества. Есть только критерии мастерства. Один рисует гладкую линию, выводит её тонко, без поправок, и весь его рисунок кажется хрупким и прозрачным. Другой не умеет так рисовать и чертит на бумаге грубыми штрихами, размазывает их пальцами, бумага выглядит чумазой, но результат получается выразительный. Первое и второе нельзя сравнивать. И таких различий не счесть. Есть всевозможные школы, каждая бьётся за право называться истинной, но ни одна не есть истинная. То же самое — в боевых искусствах, в карате и кунг-фу, там сотни школ и каждая считает себя лучшей и самой правильной. Так всюду.

Дети рисуют и танцуют. Они получают удовольствие от того, что делают. И до тех пор, пока им не вобьют в голову, что они занимаются искусством, они просто получают удовольствие. Когда надоедает, они перестают рисовать, перестают лепить, перестают танцевать. Это ведь порыв души. Не все они будут стремиться к совершенству, но улучшать свой стиль будут всегда, пока не оставят своего увлечения. Совершенствование — это лишь дело времени, это закономерный процесс обретения навыков.

Лишь те люди называют своё увлечение искусством, которые придают ему значимость, ставят его на некий пьедестал, с течением времени превращают это в профессию и мечтают занять на этом пути выдающееся место. Но это не значит, что они занимаются чем-то существенным, значительным, важным для человечества. Зато они много говорят о важности своего дела. Есть великие музыкальные произведения, картины и книги, о которых большинство людей даже не слышали, потому что без этого можно жить. Произведение искусства — ничто. Сожгите книгу или картину, и человечество не заметит этого. Война разрушила крупнейшие библиотеки, но ничего не изменилось. Краски жизни, запахи, вкусы, любовь, ненависть, еда, сон, здоровье, болезни — вот настоящая жизнь, которой надо уметь наслаждаться. Можно обойтись без книгопечатания.

Все вокруг рассказывают что-то друг другу, все развлекают друг друга историями. По сути, все вокруг немного писатели, сочинители, но не называют себя этим словом. Ничто из рассказываемого людьми не является абсолютной правдой, всё приобретает особый ракурс, новые тона и цвета. Любой разговор — это соприкосновение (или столкновение) разных авторов. Но сочиняют все. Все занимаются украшательством своего дома. Все занимаются кулинарией. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но не все называют себя дизайнерами, художниками, поварами, ораторами, музыкантами. Искусство повсюду, потому что его в действительности не существует вовсе. Некоторые превращаются в мастеров с большой буквы, некоторые — в ремесленников, но их произведения меня не трогают, не волнуют, несмотря на точность форм и умелость руки. А некоторые люди кричат, потому что не могут терпеть; они не умеют рисовать, не обладают красивым голосом, не умеют много другого, но они хотят излить свои чувства, и вот они-то рождают то, что пробивает меня насквозь.

Искусство есть, но его нет, раз не существует правил и раз постоянно появляются новые виды, новые технологии, новые материалы. Никакая школа не имеет права претендовать на истину. Всё вокруг испорчено школами, вывесками, наставниками и специалистами. Всё испорчено амбициями.

Очень много красивых слов сказано об искусстве, написано несчётное множество книг о художниках, писателях, актёрах, режиссёрах. «Искусство — вызов смерти», разве не восхитительно сказано? О чём ещё можно так сказать, не сказав при этом ничего?

Но главное — это всего лишь потребность отдельно взятого человека претворять свои «сны» в действительность. Создавать — для меня значит освободиться от чего-то, что распирает изнутри. Я привык говорить, что я делюсь с другими, веду диалог с помощью моих книг, но на самом деле никто не поддерживает со мной этот диалог, это лишь моё желание поговорить, но не чьё-то ещё. А вот делиться я делюсь, все вокруг делятся друг с другом тем, что с ними случилось, и тем, что не случилось. Людям свойственно делиться мыслями и чувствами. Все выходят на сцены и играют роль: в гостях, на работе, в семье, всюду, ежеминутно. Некоторые доводят своё умение до совершенства, так и не став профессиональными актёрами и даже не стремясь быть ими.

«Знаем ли мы по-настоящему, кто мы есть? Может статься, выходишь

на сцену, чтобы утратить себя. Но возможно, что, вопреки бытующему представлению, там себя и обретаешь. Разве превращение в Других не помогает осознать себя самого? Играть на сцене — значит изгонять злых духов нашего персонажа. Позволено ли мне выразиться так: я играю на сцене, чтобы не играть в комедии жизни?» (Жан Луи Барро).

Я тоже изгоняю из себя «злых духов», когда пишу. Во мне много персонажей, много всякого надо изгнать, освободиться от бремени их пороков. Это для себя. Это истинное. Когда оглядываюсь на других, жду чьей-то реакции, я изменяю себе. Подлинное искусство состоит в освобождении, а освобождение может быть только для себя.

В последние дни, когда мысль об искусстве предстала предо мной во всей своей полноте, я всюду вижу подтверждения ей. Вчера в телепередаче, где обсуждались сны, психотерапевт сказал про литературу, что она, по сути своей, является сновидением писателя, она выполняет ту же функцию, что и сон. Несомненно, так оно и есть. И все виды искусства — тоже сон, выбросы из глубин человеческой души, из подсознания. Какое удовлетворение порой я испытываю, закончив писать что-то! Словами не выразить. Облегчение, свобода, блаженство.

Ничего нового, всё давно мне известно, но я будто бы протёр стекло, прояснил изображение. Искусство есть форма жизни, не одна из областей человеческой деятельности, а форма человеческой жизни вообще, форма взаимодействия человеческого сообщества. Освободившись от этой формы, человек становится Буддой.

В сущности, искусство можно назвать разновидностью религии. Все вокруг во что-то верят, самые слабовольные присоединяются к общепринятым религиозным взглядам, это как членство в партии — строгие правила, догмы. Бунтари предпочитают то, что принято называть искусством, потому что там есть возможность «самовыражения». Но на самом деле все вокруг занимаются искусством и все имеют свою собственную религию.

Если бы человек мог честно сказать, какую цель он преследует, «делая искусство», было бы проще жить. Ложь мешает всем нам. Нечестность перед самими собой. Неумение быть честными.

***

Странный сон был. Восстановить его не получится даже частично. Во сне было ощущение и понимание, что я вижу моё будущее, которого не может быть. Оно есть, но его не может быть. Как это объяснить?

Точнее говоря, я видел я не само будущее, не линию жизни, а момент, от которого это будущее должно начаться. Единственное, что я запомнил — девушка, стоящая на коленях передо мной. Она голая. Я приближаюсь к ней, сажусь на корточки и обнимаю. Никакого влечения. Просто обнимаю и успокаиваю. Помню её плечо и ключицу. Всё происходит в нашей квартире, в большой комнате. Бывает кожа влажная, бывает сухая, у некоторых она горячая. У этой девушки кожа была будто присыпанная тальком. Никакого сцепления с моей кожей. Необыкновенная гладкость. Тёплый мрамор, присыпанный тальком. Она — не живая плоть, но она была живая. Этого не передать словами. Наверное, таким мог быть человек, сошедший с экрана (как это случилось в «Пурпурной розе Каира») — он живой, осязаемый, но не имеет ни запахов, ни всего другого, чем отличается человеческая плоть.

Декабрь 2017

Сегодня был сон. Я мчался на каком-то грузовике по узким улочкам, сидели небольшой компанией в какой-то квартире на полу, были девушки (школьницы-старшеклассницы или студентки-первокурсницы, теперь я не отличу одних от других). Затем мы опять куда-то ехали, и одна из девушек легла со мной в постель — нежная, гладкая, голая. Я обнимал её, но ничего не испытывал, никаких желаний. Такого не могло быть даже во сне, но такое было.

Сразу вспомнился давний сон, в котором я занимался сексом с какой-то девицей. В помещении было темно, красно, душно, тесно — какой-то вязкий и липкий воздух. Её тело было мокрое от пота. Жуткий, безостановочный, головокружительный секс, а меня сверлила мысль, что я изменяю жене и что в моей любовнице сидит какая-то венерическя зараза. Я занимался сексом, и ужас одолевал меня от мыслей о болезни. Но я не мог остановиться, меня как будто в воронку затягивало. Случалось и раньше, что во сне секс доставлял сказочное удовольствие, не сравнимое с тем, что происходит в действительности, однако в том удушающем сне удовольствия не было, была безудержная тяга к незнакомой девице, адское колдовство.

Сегодня было по-другому: девушка лежала на мне, скользила по мне, как лёгкая кошечка, ворковала о чём-то, я гладил её всюду, но во мне ничто не шевельнулось. Лёгкая товарищеская атмосфера, но елозила девчонка по мне совсем не по-товарищески. И я ничего не чувствовал,

будто её не было рядом, будто её шелковистая кожа и длинные волосы не скользили по моему телу. И меня это не удивляло, словно только так и можно проводить время в постели с симпатичной девушкой.

Невероятно, но я расстался с сексом. Никакого огорчения нет, потому что без секса гораздо легче, но есть удивление.

***

Смотрели какой-то фильм, и там промелькнула сцена супружеской измены. Сначала я даже не обратил на неё внимания, но через некоторое время почувствовал, что меня беспокоит нечто неприятное внутри, в памяти. Включил внутренний локатор, прощупал мысли и обнаружил, что меня тревожит воспоминание о той женщине, с которой я однажды занимался сексом. И только через несколько секунд осознал, что это не воспоминание, а тот самый сон, про который я написал здесь вчера. Сон вгрызся в память, как действительно произошедшее событие. И так бывало уже не раз — что-то бередит, пытается вылезти из прошлого, напомнить о себе, а потом, когда формулируется окончательно, становится ясно, что это воспоминания о сне, не о жизни. Время всё чаще совмещает их в оной плоскости. В детстве такое тоже случалось, но не пугало меня, а теперь пугает. Так можно вообще спутать реальности.

Октябрь 2018

Приснилась Ира Губанова. Я видел её в институте, будучи студентом третьего курса, а она была на первом. До этого дружил с ней в раннем детстве. Между нами не сохранилось никаких отношений, и вот она вдруг приснилась. Ира заговорила со мной так, будто мы не разлучались никогда и все годы оставались близкими друзьями. Это чувствовалось во всём: в словах, интонациях, взгляде. А я смотрел на неё и думал: «Она перепутала меня с кем-то, приняла за другого. Мы же не знаем друг друга, чтобы *вот так* разговаривать». Меня давило недоумение.

Откуда такой сон? Что за игры подсознания? За какие невидимые ответвления чувств и мыслей оно зацепилось и создало этот сон? Беспричинный сон.

***

После «Кино без правил» мне хочется разложить мою жизнь на много разных плоскостей. О литературной плоскости моей жизни я рассказал, осталось добавить совсем немного. О болезни тоже рассказал,

тоже надо добавить чуточку для полноты картины. Про кино рассказал. «Эон памяти» — самостоятельная плоскость моей жизни, которую можно развить, рассказывая о родителях и семье. Отдельная тема — алкоголизм. Через всё это я понял, что плоскостей можно набрать очень много. Где-то что-то будет слегка пересекаться, вопреки утверждению, что параллельные плоскости не пересекаются. Но они, хоть и параллельные, но всё-таки не параллельные, да простят меня математики и эзотерики. Я снимаю с себя стружку за стружкой, «плоскость за плоскостью», стараясь делать это так, чтобы все они были раздельными. В этом сложность. И в этом особый мой интерес, если тут уместно слово «интерес». Сергей Рожков сказал после прочтения моего «Стивена Кинга», что я разделся полностью. А вот и нет, на мне ещё много всякого надето. Много разных масок сбросить надо с себя. Вот только зачем? Вопрос вопросов.

***

Сегодня опять видел сон, где фигурирует общественный туалет. Это из категории «повторяющихся» снов. Повторяются не место действия, не ситуации, а некая «идея» ситуации, «идея» места, «идея» события. Общественные туалеты я вижу во сне такими, какие мне никогда не встречались. Там загажено всё: стены, пол, унитазы. Чаще всего унитазов там вообще нет. Есть кабинки, но унитазы отсутствуют. Нередко кабинки отделены от остального пространства тонкой занавеской. Нигде нет умывальников. И почти всегда в мужском туалете находятся женщины. Обычно места для испражнений размещаются где-то под самым потолком, там невозможно устроиться. В сегодняшнем сне я нашёл какой-то желобок в полу, встал над ним и понял, что нахожусь на груде кирпичей, цемента и кафельных плиток, метра на полтора выше пола. И опять всюду серо-коричневая, скользкая грязь. Эти сны призывают меня проснуться. Сегодня я зашёл в этот ужасный туалет и понял, что я уже бывал там. Но после сна я также понял, что этот не какой-то конкретный обосранный сортир, а просто образ. Такие же во сне образы дворцов и квартир, «где я бывал уже не раз». Они узнаваемы, но на самом деле я никогда там не бывал, потому что их просто нет. Однако мозг посылает сигнал «узнаваемости».

Довольно отвратительная игра подсознания, если принимать её близко к сердцу.

Ноябрь 2018

«Сны приятны, но в них нельзя жить… По-моему, надо всё попробовать» (из фильма «Knight of Cups»).

Но невозможно всё попробовать. Стремление прикоснуться ко всему, повидать всё, вкусить всё приводит к гонке за впечатлениями. Погоня — губительная сторона жизни.

Хочется убежать в сон, но из сна хочется в конце концов вынырнуть.

Жизнь кончается. Чувствую это каждый день. Это очень странное чувство. Оно вызывает во мне некоторую растерянность. Возможно, будь я занят «внешними» делами, мои чувства были бы приглушены к тому, что происходит на линии жизни. Но ничего не происходит, кроме безмолвного поиска себя. В глубочайшей тишине. И поэтому слышно то, чего я не слышал прежде. И чувствуется то, чего я не слышал прежде.

Всю жизнь я блуждал между здешней явью и состоянием сна, присутствовал одновременно в двух мирах, во множестве измерений, но телом оставался здесь и воспринимал жизнь всё-таки через моё тело. Одновременно с неподвижным созерцанием я гнался за чувственностью, одновременно с погоней за чувственностью я жаждал эстетики, я задыхался от невозможности совместить одно с другим. Торчащий член торопился войти в женское тело, а я хотел любить глазами, но любить так, чтобы женщина получала от моего созерцания такое же наслаждение, как от физического секса… Крепко стоять на земле обеими ногами и одновременно невесомо парить высоко в небе… Смотреть на одного человека, видеть в нём совершенно другого и одновременно понимать, что он не первый и не второй, а какой-то третий, которого я прежде не встречал, но прекрасно знаю его… Эти противоречия исчезали во сне.

Хочется ли мне жить в снах?

В моей абсолютной внутренней тишине я ощущаю близость пространства, куда человек попадает после смерти. Я чувствую близость смерти и пытаюсь разобраться, в чём проявляется эта близость. Каков он, приближающийся конец жизни? Как мягкое засыпание? Или как нудная бессонница, от которой хочется удрать, нырнуть с разбега в пучину сна, как в тяжёлую морскую волну?

Март 2020

3 марта. Во сне присутствовала необъятная кровать, чуть ли не от горизонта до горизонта (такое ощущение). На кровати лежали женщины, много женщин, обнажённые, смеющиеся. И среди них я, тоже

смеющийся и тоже без одежды. Состояние беспредельной свободы — такое, будто я сам от горизонта до горизонта распластался телом (хотя это, конечно, не тело было, а дух). Женщины меня целовали, тормошили, перемешивались со мной (не понимаю, как это происходило). Эти объятия были необыкновенны, словно вовсе не тела наши обнимались, а нечто иное, находящееся вне тел. И всё было похоже на воздух, на ветер. Тела — как воздух, пьянящий воздух, сладкий воздух, терпкий воздух.

Проснулся из-за того, что переполнявший меня восторг мог разорвать меня. Ох уж эти сны...

Апрель 2021

Было несколько снов, которые я успел «перехватить» до того, как они исчезли. Уже и раньше я видел «детали», то есть то, из чего состоят сны, но это были разовые явления, а теперь несколько раз подряд (включилась какая-то бдительность, позволяющая «расшифровывать» то, что я вижу во сне). И вывод очень странный: я вижу (мы все видим) вовсе не те образы, которые составляют наш сон. Мы видим какие-то символы, зачастую не имеющие никакого отношения к окончательному «изображению».

Впервые, когда я усомнился в «правильности» изображения, я увидел диалог (то ли мой с кем-то, то вообще посторонний), но я «отлетел» от этого диалога на некоторое расстояние (не знаю, как ещё обозначить для понимания это состояние, поэтому пишу «отлетел»), и увидел, как слова, которые только что были точными и понятными, превратились в какие-то чёрточки, и чем дальше я отлетал, тем более бессмысленным становился диалог. Вернее, он перестал быть диалогом сразу и стал превращаться в некий «мокрый песок», из которого лепились какие-то «фигурки», а дальше это всё превращалось просто в набрызг точек и чёрточек. Но если я каким-то образом возвращался в прежнее, только что утерянное состояние, то весь этот абсурд приобретал «смысл», и я успевал считать его... Сюжет не был сюжетом, а были только какие-то «эмоциональные» точки, россыпи точек, но сюжет легко «выдумывался», опираясь на эти точки. Вполне возможно, что сюжет мог «развиваться» не только в этом направлении, но и в каком-то ином, потому что каждая «эмоция» тех точек, думаю, могла иметь тысячи вариантов своего визуального (иначе говоря, сюжетного и смыслового) проявления.

После первого случая «озарения», произошедшего некоторое время назад, я несколько раз подряд увидел нечто похожее, что привело меня к мысли (ощущению), что всё видимое является таким же обманом, как и сон. Мы привыкли видеть конкретные формы, но не видим, что скрывается за этими формами. Несколько раз видел сны, действие которых воспринималось, как вполне «логичный» сюжет, хотя многое было абсурдным (я видел отца, но знал, что это вовсе не мой отец и т.п.), однако когда при пробуждении мне удавалось ухватить «хвостик» сна, когда только что виденное успевало предстать в «подлинном виде» тех самых «эмоциональных точек», мне открывался обман только что представших предо мной картин, как если бы на киносъёмках оператор отвёл камеру в сторону и показал декорацию, осветительные приборы и всю киносъёмочную группу, что привело бы к разрушению «подлинности» только инсценированных событий и превратило бы их в нечто принципиально другое по форме и содержанию. Впрочем, это сравнение не отражает сути того, что я видел. В моём случае это не так, я видел иное. Я видел, как изображение внезапно превращалось в то, что можно сегодняшним языком назвать словом «пиксели», хотя это вовсе не пиксели, а некая «компьютерная графика», не имеющая ничего общего с компьютерами…

Нет, всё, что я помнил до настоящего момента, уже ушло. У меня не получается объяснить это. Жаль. Наверное, точно так невозможно объяснить саму жизнь.

Единственное, что я могу написать с уверенностью, — жизнь не есть то, что мы видим.

То, как я увидел «составной материал» снов, принципиально отличается от того, что видит глаз человека, удаляясь от поверхности земли: сначала видна трава, затем она перестаёт различаться, видны деревья, затем — пятна полей и лесов, затем детали скрадываются ещё сильнее, всё обобщается, и в конце концов глаз видит круглую планету. Но это целостный объект. Не происходит разъятия на бессмысленные куски, не происходит разрушения цельности. А то, из чего «состоят» мои сны, — хаос. Удаляясь от «поверхности» сна, я вижу, как исчезает сначала внятность, затем и цельность.

Получается, что в плотную материю можно погружаться сколько угодно далеко, и будут открываться всё новые и новые частицы, из которых состоит эта материя. А если удаляться от этих частиц, то они

соединяются в цельное тело. Сколько не удаляйся, плотность тела будет лишь усиливаться, потому что составных частиц будет больше и больше. Но в тонком мире всё наоборот: чем дальше от материи, тем больше она разъединяется, распадается на какие-то немыслимые, бесформенные куски, никак не связанные друг с другом, а затем я выхожу из этой хаотичной, безостановочной, подвижной материи в плотную и вижу себя в человеческом теле.

СДЕЛАНО В СССР

Поставить точку

Хорошие люди нас покидают (Уолдо Фрэнк)

Люди уходят навсегда, унося с собою тени.
Ни голосов их, ни следов.
Только распахнутые двери…

Тот же город.

Те же мутные вялые тучи.

Те же улицы, перекосившиеся на склоне холма, похожие на почерневший и развалившийся позвоночник. Странно, что город заложили именно здесь. Почему на холме? И почему потом продолжали налепливать домики на взгорбившуюся землю? Взгорбившаяся земля. Взгорбившийся город. Его так и называли — Горбатый город.

Каблуки громко стучали о землю. Осень только начиналась, а земля уже промерзла и умерла. Здесь всегда так. Он это помнил. Он многое помнил, но ещё больше позабыл, и сейчас, неторопливо шагая по окаменевшей дорожной грязи, он будто окунался в сон, увиденный очень давно.

В Горбатом городе его прозвали Барсуком. Так часто в детстве случается, кто-то обозвал, кличка привязалась, а имя позабылось. Так бывает. Он отзанимался в училище, получил выпускной листок и уехал. Теперь он возвращался, влача на плечах множество тяжелых прошлых лет.

Городок, городом его всё же не назовешь — слишком он мал и неуклюж — просыпался. Где-то затарахтел старенький моторчик, поперхнулся и замолк. Повисла тишина. Только каблуки стучали. В утренней мгле дрожали зажигающиеся в окнах огни.

Барсук остановился. Вот и место, которое он должен назвать родным, домом своего детства. Он поправил шерстяную шапочку на голове и пошевелил плечами. Похоже, он заходил в девятнадцатый, а то и восемнадцатый век. Глядя на эти жалкие домишки, повязшие в грязи,

не верилось, что где-то шумят широкие проспекты больших городов, и светящиеся стены небоскребов тонут в ночных облаках. Не верилось, что он жил здесь и был весел. Не верилось, что здесь вообще можно жить. Теперь он смотрел другими глазами и сквозь искривленные стекла времени видел застывшее тело маленького городочка. Колченогие ряды заборов. Засохшие морщины кривых улиц… Мумия города… Годы не изменили её, но Барсуку этот облик был почти незнаком и на редкость чужд.

Он взял портфель в правую руку, спрятав левую в карман, чтобы отогрелась, и пошёл дальше. Вот и старенький осевший домик. Краска на поблекших стенах его пооблупилась и дрожала на ледяном ветру, как клочки облезающей шерсти. Все тот же старенький домик, где Барсук коротал время с приятелями, удирая с уроков по утрам. Холодное пиво в кружках из толстого стекла, отполированная множеством рук поверхность стола, помутневшие от грязного воздуха окна. Вспоминая последний год в училище, ему теперь казалось, что на занятиях они совсем не появлялись, все время торчали в этой забегаловке, где беззубый старикан с жиденькими волосами рассказывал им о своих молодых годах, полных пьяными оргиями и кровоточащими драками.

Барсук подошел к двери, но взявшись за медную ручку, помедлил. Он постоял в раздумье, опустил руку и отступил на шаг. На руке осталось холодное прикосновение металла. Кто там внутри? Знакомые лица? Новые? Он не хотел входить, не хотел вопросов, наверняка зная, что всё равно в этом захолустье их не избежать. Приезжие притягивают к себе, а он приехал, он вернулся.

По дороге, втянув голову в плечи, быстро приближался человек. Черная шляпа-котелок, черное пальто, широкие брюки. Подойдя и увидев Барсука, он замедлил шаг, затем совсем остановился. Вытянутое лицо его с торчащим вперёд подбородком наклонилось, как у удивлённой собаки.

— Ха! — произнёс он через какое-то время.

— Что «ха»?

— Так… Вырвалось, — ответил он. — Я сначала тебя не признал… Изменился ты сильно.

— А ты всё такой же, Алекс, — Барсук протянул руку, и человек в котелке пожал её длинными костлявыми пальцами. — И у тебя всё такой же кривой нос.

— А куда же он денется?

— Ты же собирался операцию какую-то сделать, — сказал Барсук и сам себе удивился, как он это вспомнил? В сущности ему было наплевать на кривой нос Алекса, как и на многое другое.

— Глупости всё это, Барсук, детское и никому не нужное желание быть красивым, но мне для этого всю мою морду надо перекроить. А в нашей глуши такими делами не занимаются, спецов нет, — губы Алекса растянулись в резиновой улыбке. — Слушай, холодно так торчать. Может, войдём?

Барсук пропустил его вперёд и вошёл следом. Все было без изменений. Те же столы, стулья, замызганный прилавок. Скрипящий пол под ногами. Лопнувшее стекло на единственной выцветшей картинке. Кажется, даже пыльные обрывки паутины под потолком именно те же.

Трое незнакомых пареньков в уголке обернулись на скрипнувшую дверь и с интересом уставились на Барсука. Он стянул с головы шапочку и сунул её в карман. Непослушные волосы рассыпались, встали торчком на затылке и за ушами.

— Привет, ребята, — сказал Алекс парням. — Отсиживаетесь?

Они молча кивнули и отвернулись.

— По кружечке? Как в старые добрые времена? — предложил Алекс.

— Угу.

— Ты пока присаживайся… Лара! Дай-ка нам холодненького!

Из двери, ведущей на кухню, выплыла пухлая девица с рыбьими глазами и ярко-рыжими косами.

— Это кто? — кивнул в её сторону Барсук, когда Алекс поставил перед ними облитые пеной кружки.

— Лара. Добрая девочка. Тихая. Глуповата немного, но ничего. В её деле это не главное.

— А старик где?

— Помер. Уже два года, если не больше. Я уж не помню. Совсем ветхий стал. А Лара ему племянница троюродная или что-то такое.

— Вон оно как, — Барсук сдунул пену на пол.

— Ну как живёшь-то? Рассказал бы. Сколько лет не виделись-то! Ты ведь давно-давно умахнул отсюда, да?

Барсук кивнул. Лет двадцать, подумал он, или не двадцать, какая разница?

— Всё тут другое стало? Не узнаёшь?

— Не узнаю, — поддакнул Барсук и опустил глаза. Не радовала его встреча после долгой разлуки. А чему радоваться? С кем он повстречался? Перед ним сидел совершенно чужой человек, которого он не знал, таких людей вокруг полно, весь мир. Он знал Алекса-мальчика, да и то они не были друзьями, а этот лысеющий тип не имеет никакого отношения к детству, хотя у него и остались те же лисьи глаза и кривой нос.

— Чем живёшь-то, Барсук? — Алекс подался вперёд, предвкушая долгий занимательный рассказ, но Барсук промолчал, попробовал губами пиво, отпил немного и одобрительно кивнул головой.

— Так... — неопределённо сказал он. — Знаешь, Алекс, я понял, только что понял, что на старые места возвращаться нельзя. Ожидаешь, что все по-прежнему, а на деле ничего от прежнего не осталось. Всё новое, всё изменилось. Внешне, может быть, всё такое же, но это только внешне. А ты, обманутый, лезешь со старыми мыслями и представлениями. Но они не подходят, и ты тужишься изо всех сил, пытаясь втиснуться в прошлое. А прошлого-то нет. Есть настоящее...

И он ощутил в ту же секунду, что эта мысль была высказана уже тысячи раз в самых разных книгах. Но внезапный порыв вынудил его произнести её всё-таки своими словами, не совсем внятными, не слишком яркими, чтобы они могли достичь слушателя... Но он сказал их, сказал и замолчал в неловкости...

— Не пойму, ты о чём, — Алекс дернул лицом. — Ты же только приехал, ты ещё ничего не видел.

— А что мне надо увидеть? Стоят дома на холме, как они стояли. Ребята пьют пиво по утрам, как мы пили. Какой посёлок был, такой и остался. Но это внешне. Или даже не внешне. Ты вот рос, с тобой распухали и твои мыслишки, и тебе казалось, что все вокруг на своих местах. А потом ты вдруг видишь сосунков и не можешь понять, почему они живут не так, как ты. А на самом-то деле они живут именно так, как ты жил в их годы. Но ты изменился, просто не чувствуешь этого. Твое время утекло плавно, незаметно. И ты совсем теперь иной.

— Правильно. Видишь, ты все разобрал, что же тогда тебе не так? — Алекс осушил кружку.

Барсук вдруг разозлился на себя, для чего пускаться в такие разговоры, что они дают? Он постучал ногтем по стакану и сказал:

— Я здесь не рос. Я сам по себе, а Горбатый сам по себе. А теперь я

пришёл в него с ощущениями из детства, а надобно воспринимать это иначе. Ты-то здесь вырос, и для тебя время осталось в тебе неизменившимся. Я же вернулся через много лет, принеся с собой тысячи безумных событий в миллионах тех самых снующих частиц, которые названы временем. И теперь я нахожусь в том времени, которое давно исчезло, должно было исчезнуть… Хорошо, когда город твоего детства снесен с лица земли совсем, как ненужная дряхлая изба… А наш Горбатый стоит на своем месте, словно стрелки часов его не касаются. В нем все на своих местах. Но пойми, Алекс, время касается всего. И я пришёл туда, где все должно было давно перемениться. Здесь же все, словно в колдовстве каком-то, остается нетронутым, даже этот дерьмовый кабачок…

— Странный ты стал, — перебил его Алекс. Он приподнял шляпу и почесал лысеющую голову. — Или не странный. Может, ты всегда такой был, просто я отвык? У тебя свой мир был, зачем ты приехал сюда? У тебя стряслось что-нибудь?

— У меня? Нет. У Барсука никогда ничего не случалось…

— Э-э! Брось, как бы не так! Не случалось, — передразнил Алекс его. Он гнусаво засмеялся и погрозил пальцем. — А разве не помнишь, как ты руку сломал, когда мы с крыши гостиницы на докторский драндулет прыгали?

— Это мы с Рыжим прыгали, а ты пялился на нас. Только таких случаев у меня, если их в столбик записать, на целый справочник наберётся, — Барсук нехотя улыбнулся, а когда улыбка пропала, его лицо стало серым и осунувшимся. — Кто из наших ещё здесь?

— Никого. Разбежались. Этот Горбатый никому на хрен не нужен. Я вот, дурак, остался преподавать в нашем училище, а больше никого нет. Все ушлёпали в большой мир.

— Так ты преподаёшь? Учишь…

Алекс кивнул, не сводя глаз с Барсука. Какое другое лицо. Какие крупные складки у носа и над бровями. Совсем другие глаза. Неужели так сильно время искажает наши черты? Ежедневно мы видим себя в зеркале и не замечаем изменений и вдруг сталкиваемся с кем-то, а он сокрушённо качает головой: что время делает, ай-ай! И мы вздрагиваем, а вечером долго стоим перед своим отражением и сравниваем его с фотографией десятилетней давности.

— Ты так и не сказал, где работаешь, — Алекс сунул между зубов

спичку.

— Теперь нигде.

— А до того?

Барсук сделал вид, что не услышал вопроса и сказал:

— Старик, ты бы лучше посоветовал, где остановиться можно. Я видел, отель ваш заколочен наглухо. Ломать, что ли, собрались?

— Говорят, новый собираются строить.

— Понятно. А где же несчастному туристу найти пристанище? Или же вместе с бездомными псами под забором ночевать?

— Зачем под забором? Найдём мы тебе крышу, не беспокойся. Что у нас, людей добрых нет? Вон, к примеру, Марина. Лучше всего у нее. Она баба что надо, накормит, пригреет…

— Кто такая?

— Вдова. Или не вдова, но все считают её вдовой. Муж у нее пропал, то ли за кордон улизнул, то ли пристукнули где-нибудь и закопали. Он раньше в артели старателей вкалывал, любил про золото рассказывать. Ни разу ни крупицы не показал, но рассказывал. А золото, оно ведь на любые мозги давит. Вот и могли череп раскроить, люди здесь всякие есть.

— Люди везде всякие, Горбатый этим не выделился. Ты допил пиво? Тогда пошли к этой Марине. У меня из вещей только один портфель, но таскаться с ним весь день не хочется.

* * *

Женщина поставила на стол хлеб, сыр и чай.

— Учитель сказал, что вы тут жили раньше, — она посмотрела на Барсука, он молча кивнул. — А теперь вы где?

— Нигде. Разъезжаю по земле, дома не имею. Надумал сюда заглянуть.

— Ну и как здесь? Изменилось что-нибудь?

— Дома те же, улицы те же, разве что люди сменились.

— Ну ладно, дома у вас нет, а по профессии вы кто?

— Никто, — Барсук поднёс чашку к губам.

— Как же так? — Марина удивленно подняла брови.

— Так вот. Никто. Я вообще теперь никто. Был кем-то, но помнить об этом не хочу. Умер я, нет меня больше…

— Странно. А я считала, что мёртвые не разговаривают, — попыталась пошутить она.

— Я не говорил, что я мёртвый. Я живой. Именно поэтому и хочу не вспоминать о прошлом. Другим я стал, скажем, родился заново. Теперь прошлого у меня нет, как не бывает его у новорожденных.

— Любопытная вы личность. Наверное, любите таинственность?

— Не люблю. Сыт ею по горло.

— Что же вы тогда скрываете?

— Я не скрываю, я стараюсь забыть. Я не хочу быть тем, кем я был. Если я скажу о себе, будет слишком много вопросов. Такое объяснение вас устраивает? — Она в ответ пожала плечами, мол, всё устраивает, не из любопытных. — А чтобы мне не приходилось вам грубо отвечать или вообще не отвечать, вы меня лучше ни о чём не спрашивайте.

— Мне-то что? Я проживу и без ваших ответов. Просто Горбатый — это не столица, здесь людей мало, все на виду. Спрашивать меня будут, что вы за человек. Не скажу же я им, что понятия не имею. А вашими словами объяснять, так они вас за ненормального сочтут. Человек просто так свое прошлое не захочет зачеркнуть. Плохое ещё можно, да и то, как без прошлого?

— А вы им скажите, что я турист.

— Ну а имя-то у вас есть? Или тоже скроете?

— Имя есть, только я к нему не привык. Не звал никто по имени. Мне и без имени хорошо. Можете называть меня, как хотите, хотя бы господином Икс.

— Скажите, господин Икс, — она села напротив него. — А вы сами как бы отреагировали на такого постояльца?

— Если честно, то раньше я бы его выгнал. А сейчас оставил бы. Но у вас свои взгляды, так что поступайте по своему усмотрению.

Она поднялась и прошла в другую комнату, потом вновь появилась и остановилась в дверном проеме. Свет сзади зажег вокруг её головы ореол распушенных волос. Она указала рукой в комнату.

— Спать будете здесь. Подушка и одеяло в шкафчике. Полотенце в ванной комнате, вытирайтесь розовым. Входную дверь я не запираю, красть у меня нечего, так что ключей я вам не даю. Я ими не пользуюсь, так что войдете без труда в любое время. Обедаю я дома, если будет желание обедать в компании, тогда приходите, не стесняйтесь. Вот так. Больше ничего. А сейчас мне пора уходить, спешу на работу...

***

Серый воздух. Серые дни. Душное серое настроение. Память

оказалась штукой чертовски привязчивой. Стоит закрыть глаза, тут же выплывают картинки прошлого, наползают друг на друга, кишат, толкаются, шумят чужими лицами…

Барсук остановился и посмотрел через плечо назад, словно желая увидёть позади три дня, проведенные в Горбатом городе. Изображая живое существо, по земле полз кривляющийся обрывок газеты. Ветер шевелил тонкие веточки голых кустиков. Эти хилые дрожащие ломанные полосочки в туманном воздухе были столь похожи на трясущихся старичков, задумавшихся после недолгой беседы, что Барсук опустил голову, чтобы разглядеть их лица. Но лиц не было, не было и старичков. Дрожали тоненькие шершавые веточки.

Он просунул руку между застегнутых пуговиц и нащупал под левой рукой жесткую кобуру. Он обернулся ещё раз, прикидывая, донесутся ли выстрелы до города, и решил отойти подальше. Остановившись за небольшой рощицей, он извлёк из кобуры револьвер. Затем он достал спичечный коробок и прицепил его к стволу осины. Барсук стрелял хорошо, отлично даже. С пятнадцати шагов, стреляя навскидку, он попадал в коробок с первого раза. Вот и сейчас, чуть прищурив на ветру глаза, он несуетливо поднял руку с оружием и почти сразу нажал на спусковой крючок. Воздух разорвало сильным хлопком, и от этого звука, казалось, испуганно заметался ветер, разгоняя сизое облако порохового дыма. Коробок отскочил от вздрогнувшего ствола дерева.

— Что-то старая закваска в тебе никак не умрет, дружище, — сказал он сам себе, пряча револьвер в кобуру под мышкой. — Но ты не горюй. Это не самая дурная из твоих привычек.

Барсук вернулся на дорогу и пошёл вверх по склону. Теперь можно заглянуть в «Синего кита» и согреться чашечкой горячего кофе. Смешно, назвали такую тесную забегаловку «Китом», а там и пятнадцать человек не втиснутся. Да и кофе там, признаться, больше похож на разогретые чернила, чем на какой-нибудь напиток. Барсук засмеялся от этих мыслей. Прошлая жизнь явно не покидала его, постоянно подлезая во всяких сопоставлениях. Душистый чай, прочая мишура… Он мог не говорить о ней, но она присутствовала. Он мог убеждать себя, что забыл обо всем, но память упорно окрашивала действительность в скучный серый цвет.

— Чашку кофе, — обратился он к продавщице. Она громыхнула железным подносом, поставила под краник шипящей кофеварки чашку и, пока черная жидкость лениво нацеживалась в исцарапанную

посудинку, протерла краем мятого фартука мокрый прилавок.

— Возьмите-ка.

— Спасибо, — Барсук бросил в кофе два кусочка сахара, поболтал ложечкой и отошел к дальнему столику. Он сел спиной к двери, чтобы не отвлекаться на тех, кто мог войти. Люди мешали ему. Он давно думал над этим, но не мог разобраться, почему люди мешали ему. Они не докучали ему расспросами, выясняя все о нем между собой, не кричали и не смеялись надрывно, да и вообще в здешних пивных и кафе никогда не сидело много народа. И все же что-то мешало Барсуку, даже раздражало. Опять прошлая жизнь, её опрятность, её накрахмаленные воротнички? Или что-то другое? Может быть, от здешних людей исходил особый дух, который отвлекал его? Отвлекал… От чего отвлекал? Барсук даже вытянулся лицом от такого вопроса. Чем он занят, чтобы его отвлекать? Думает? И все?

— Ха! — вырвалось у него.

Кто-то вошёл в кафе, негромко попросил кофе с молоком. Барсук услышал зашипевший механизм, сплевывающий в чашку горькую жидкость, булькнула бутылка, видимо, молочная. Потом посетитель повернулся на каблуках, его шаги замерли у окна, затем вновь простучали и приблизились к столу Барсука.

— Можно присесть, старик? — не дожидаясь ответа, говоривший устроился рядом. Из глубины лица смотрели из-под низких бровей чёрные глаза. Длинные тёмные волосы густо рассыпались по плечам, когда он откинулся на спинку стула. — Приезжий?

— Ага, — Барсук кивнул.

— Охотник?

— Почему охотник? — Барсук удивленно посмотрел на парня.

— Стреляешь лихо, — он криво улыбнулся потрескавшимися губами и, видя недоумение на лице собеседника, пояснил. — Я тебя сейчас у рощи видел. Ты из пушки пальнул разок.

Барсук почесал глаз. Как это он не заметил волосатого?

— Меня зовут Мохнатым, — представился парень, облизывая губы. Он порылся длинными пальцами в боковом кармане куртки и извлек сломанную сигарету. — Чёрт. Помял…

— А меня — Барсук, — неожиданно для себя самого сказал Барсук. Почему сказал? Хотел припугнуть? Произвести впечатление? Барсук, это же кличка, это же не имя, как и Мохнатый. Барсук, здорово

владеющий револьвером, это уже человек с кличкой, это уже опасный человек… Зверь с оружием…

Мохнатый поднял глаза. Поломанная сигарета дрогнула между губ. Не отводя глаз, от чиркнул спичкой и закурил.

— Ты кто?

— Никто, — в голосе Барсука послышалась металлическая нотка.

Длинноволосый парень выпустил дым и сплюнул на пол. Потом вдруг сделал равнодушное лицо и посмотрел на потолок. Возле электрического провода, тянущегося к лампе, торчал ржавый крюк с огрызком веревки. Из рассохшихся досок свисали тонкие полоски паутины. Мохнатый подался вперёд к своей чашке, скрипнул стулом, залпом выпил содержимое и встал.

— Ну, бывай, старина Барсук.

Барсук молча проводил взглядом его разболтанную фигуру. Когда дверь закрылась, он взял свою чашку. Странный парень, вернее, не он странный, а реакция на него. Реакция Барсука на парня и реакция парня на Барсука. Барсук удивленно качнул головой. Ладно, нечего тут сидёть. Надо идти. Он поднялся. А куда идти? И почему надо идти? Куда он собрался? У него здесь нет дел. Просто это опять старая жизнь влезает, суета привычек…

***

— Как дела, господин Икс? — Марина повесила сумку на крючок у входной двери.

— Спасибо. Никогда не думал, что безделье может быть таким утомительным. Раньше я всегда был завален делами, вечно в водовороте событий, вечно спешка…

— Плохо же вы свое прошлое «я» убили, раз оно вам мешает и не позволяет спокойно побездельничать. Вы ужинать будете?

— Нет, благодарю. Я два раза в «Кита» заходил. Загрузился какими-то сардельками в чьем-то соусе. А вот чайку с вами выпью. Хороший вы чай делаете. Фирменный.

— Господин Икс, а вы в Бога верите? — спросила вдруг Марина.

— Зачем в него верить?

— А во что вы тогда верите?

— Зачем мне во что-то верить? Вокруг всего достаточно, для чего сочинять что-то новое и верить в него?

— Интересно. И вы никогда ни во что не верили?

— Верил. Во многое верил, но это все умерло. Теперь я не верю, а принимаю или не принимаю только то, что есть.

— А любовь? Как насчёт её? Она есть? В неё вы верите? — Марина повернула к нему лицо. Настенная лампа дрожащей желтой каплей отражалась в её глазах.

— Любовь есть, — Барсук отошел от нее на пол шага, не отрывая от неё глаз. — И в любовь не надо верить. Она просто есть, как рождение, как смерть. Но она не во всех, не в каждом, поэтому не каждый умеет любить.

— Странно. Вы похожи на человека, убежавшего от жизни, убежавшего от всего. Но говорите, что верите в любовь.

— Я не убегал от жизни. И я не верю в любовь. Она есть, поэтому не требует веры в себя. Вы же не требуете, чтобы в вас верили. Вы просто есть, независимо от желания окружающих. Вам, возможно, хотелось бы, чтобы верили, что вы способны на какое-то чувство. И это можно обозвать верой в вас. Но мне кажется, что это вера в ваши способности, качества, которые либо есть в вас, либо их в вас нет. Поэтому в них верят или не верят. А сама вы есть. В вас не нужно верить.

— Знаете, господин Икс...

— Бросьте вы это чертово имя!

— Но вы же сами сказали, — засмеялась она, стараясь смягчить атмосферу.

— К черту! Я не Икс и не Игрек. У меня было имя, но никто никогда меня по имени не называл. Все называли Барсуком. Зовите и вы.

— Вы полагаете, что Барсук лучше Икса?

— О боже... — он уткнулся лбом в кухонный шкаф, будто желая пройти сквозь эту поверхность в другое измерение. — У всех людей, почти у всех есть прозвища. Чьё-то прозвище рождено фамилией человека, другое — его внешностью, кого-то прозвали из-за его привычек... Много причин для рождения прозвища. Я привык к моему, и мне не хочется рассказывать, откуда взялся Барсук. Долгая и неинтересная цепочка малозначительных событий.

— Ну ладно, ладно. Пусть будет Барсук. Так вот я хотела сказать вам, что все вокруг говорят только о вас. Вы стали прямо-таки самой модной темой для разговоров. Ну и меня не оставили в стороне. Молчаливый чужак. Человек, который что-то или кого-то ищет. Может быть, он сотрудник Службы? С ним нужно поосторожнее. Да он ещё виртуозно

стреляет из пистолета.

— А об этом когда узнали? Я же сегодня утром первый раз хлопнул. Один единственный раз, при этом выбрался за город, где не было ни души. Но все же какой-то Мохнатый меня выследил. Не пойму, как я его не заметил?

— Значит, все же стреляли? Не врут люди?

— Не врут.

— А про Службу? — Марина скосила на него глаза.

— А про все остальное врут. Остальное им не известно, вот и сочиняют бог знает что. Я не из Службы, я не Охотник, я не шпион, я не уголовник. Я никто. Марина, я же просил вас не спрашивать меня. Я всё равно не скажу, даже если кто-нибудь и сделает правильное предположение.

— Ладно, Барсук, — имя его она проговорила с трудом, оно ей явно не нравилось. — Я не это хотела сказать. Мне кажется, я нашла разгадку. Я знаю, кто вы такой.

Барсук холодно посмотрел ей в глаза. Ей вдруг представилось, что скрываемая его прошлая жизнь — это не просто тайна, а что-то страшное, и за разгадку, вероятно, можно даже лишиться жизни. И Марине стало жутко. Не нужно больше говорить с ним об этом. Не нужно, но она все же решила договорить. И она улыбнулась.

— Вы философ? Бродячий философ. Писатель, поэт. Разыскиваете истину, как странствующие рыцари средних веков. Но вы не желаете, чтобы кто-либо отгадал вашу романтическую сущность. Вот и напускаете на себя таинственность.

Он улыбнулся.

— Пусть будет так.

— Но имя ваше мне все же не нравится, — она покачала головой. — Хищное оно какое-то…

— А я привык.

— Я люблю абстрактные имена, чтобы в них не было смысла. Просто складный звук, удачное сочетание слогов. — Она налила чай в чашки. Душистый запах какой-то травы поднялся с паром.

— Любое имя что-то означает. Ведь имена идут из древности, от дикарей. Просто многое позабылось. Многое пришло их других языков. Ведь и ваше имя не простое звукосочетание. Вы — Вышедшая из моря, Морская. Что-то в этом духе. Но это чужой язык. А чужой язык,

если он не знаком, всегда для нас просто звук.

Марина посмотрела на него с интересом. Глаза её смеялись. Вышедшая из моря. А он поэт. Почему он ушёл из старой жизни? Почему он решил забыть прошлого себя? Все бросить, чтобы не иметь ничего, запретить себе думать об оставленном… Что-то привлекало её в этом человеке, какая-то неведомая сила. Её муж был совсем другой. Худое лицо, ходящие желваки, бегающие глаза. Он не мог отказаться от своего прошлого, он то и дело возвращался в разговорах к золотому промыслу, то и дело собирался вновь уехать на прииски. Марина не пускала его, помнила, как он отхаркивался кровью по возвращении, помнила два длинных шрама на спине от ножа. Но он болел золотом. Барсук же зачеркнул прошлое, даже если оно и сидело ещё в его памяти. Он ушёл, заставил себя уйти, умер и родился заново. Может быть, пока не совсем родился, но рождался. Это был сильный человек. Это был мужчина.

Опять на улице протарахтел мотор. Барсук увидел в окне проезжающую грузовую машину. Коробка на колесах, подумалось ему. Напоминание о том, что где-то существует цивилизованный мир. Свет фар прыгнул по неровной дороге и пропал в темноте. На мгновение Барсуку почудился моргающий свет ресторанных ламп. Он услышал музыку и гул голосов, сладкий запах дорогих духов ударил в нос, перед самым лицом возникли удивительные женские глаза.

— Ещё налить? — Он посмотрел на пустую чашку и кивнул. Марина взяла чайник. Потянувшись через стол, она случайно зацепила чашку и опрокинула её. От неожиданности она дернулась и выплеснула кипяток. Барсук не сразу сообразил, что на него льется бурлящая вода, он все ещё находился во власти видения, поэтому не успел убрать руку. Но боль вернула его в действительность. Марина бросилась к нему, видя вздувшуюся кожу.

— Надо же! Как же я так? Вам больно? — она засуетилась, полезла в шкафчик, выронила несколько склянок.

— Это что? — Барсук увидел в её руках флакончик.

— Мазь. Очень хорошая мазь. Боль снимает и заживляет раны. Давайте мне руку. Как же я так, растяпа, — она взяла его руку и стала размазывать густую массу по пузырям ошпаренной кожи. Её пальцы дрожали.

— Марина, вы сказали, что вас не обошли стороной в разговорах обо мне. А что же о вас говорят? — они стояли близко, но она наклонила

голову, и он не видел её глаз.

— Не так уж много оригинального можно придумать о мужчине и женщине. Сделали нас любовниками, положили в постель…

— Вам неприятны эти разговоры? Может, мне лучше съехать от вас? — он не отводил от нее взгляда. У нее такие красивые волосы, коричневые, немного блестят золотом. И пушистые.

— Нет. Пусть говорят. Мне не мешает, — она повела плечами.

— А я вот не люблю пустые разговоры. Я вообще все беспочвенное не люблю.- Марина ощутила, как от его дыхания колыхнулись её волосы. Она посмотрела на него. Он слабо улыбался. И она вдруг поняла, что он не просто сильный мужчина, способный только ломать, но он ещё и нежный. Просто боится проявлять свою нежность. Сильные всегда стесняются тонких чувств, считают их слабостями…

— Больно? — она принялась забинтовывать руку. Барсук отрицательно покачал головой. Внезапно он увидел себя со стороны. Мальчишка стоит вот так перед девочкой, которая ему нравится, и не смеет вымолвить слова, только смотрит, оглушённый потоком мыслей и чувств.

Марина приблизилась к нему вплотную и смотрела на него снизу верх. Его пальцы сжали её руку.

— Волк, — тихо произнесла она, погружаясь в его глаза. — Изголодавшийся волк.

В дверь постучали. Марина вздрогнула и отодвинулась от Барсука.

— Войдите! — она направилась в коридор. Барсук услышал голос Алекса.

— Удивительные существа всё-таки эти люди. Мне начинает казаться, что я бездарная личность и лишен всякого воображения, — в дверном проеме появился Алекс, за его спиной виднелось лицо Марины — Народ насочинял про тебя такое, старина, что у меня начинают вылезать оставшиеся на голове волосы. Я сожалею, что я не писатель, по крайней мере, несколько занимательных рассказиков я бы уже состряпал.

— Что же там говорят? — Барсук, собравшийся было сесть, задержался. — Ищейкой меня уже сделали, так что непосильную шпионскую работу я уже взвалил на свои плечи. Придётся для подтверждения этой версии почаще заглядывать в чужие окна.

— Этого я не слышал. Но собственными ушами слышал в пивнушке, что ты прибыл сюда свести счеты с кем-то из школьных дружков своих.

И привез с собой пистолет. Вот так. А у тебя на самом деле оружие?

— На самом деле, — буркнул Барсук. — Только я ещё не выбрал, кого бы мне шлёпнуть. Так что ты успокой народ, Алекс, что все мои школьные дружки разбежались из Горбатого давным-давно. Один ты остался. Так что…

— Да что им объяснять, — Алекс сел за стол и махнул рукой. — Если эта история не пройдёт, завтра же сочинят другую. Грязные людишки, только бы поговорить о ком-нибудь. Ну да бог с ними. Как ты? Не мешает он вам, Марина? — он повернулся к кухонной двери, где стояла женщина.

— Не мешает. Он похож на кошку.

— Ну? Это чем же? — Алекс с любопытством взглянул на Барсука.

— Именно тем, что не мешает. Ходит, думает о своём, — она почти неслышно хихикнула. И не пристает, добавила мысленно. А жаль. Никогда она не смотрела на посторонних мужчин, никогда не увлекалась ими, но этот человек вдруг потянул её к себе.

— Вот какого я вам постояльца привел, — гордо улыбнулся Алекс. — Ну я побегу. Я ведь на секундочку забежал. Просто узнать, как дела. Думал, может, надо чем помочь… Ну, помчал я! Бывайте!

Он ушёл. Барсук сел.

— Дерьмо, — сказал он без злобы, почти равнолушно. — Как был дерьмом, так и остался.

— Почему? У нас говорят, что Учитель — хороший человек.

— Здесь и про меня кое-что говорят и про вас. Правду говорят? Или как? А Алекс, так ведь он Учитель, он учит город. Как научит, так Горбатый и будет жить. Люди, как собаки, бывают породистые, а бывают дворняжками, разве что у собак порода ни на что не влияет, только внешне. Обучить приносить палку, подавать лапу, послушно ходить и выполнять всякие другие команды можно любого пса, самого ободранного и беспородного. А у людей все наоборот. Порода — это внутри, это глубоко внутри. Вы думаете, зачем Алекс приходил? Посмотреть, как мы тут с вами. А вдруг повезет, вдруг углядит что-нибудь, о чем посудачить можно? Вот посмотрите, завтра куда-то да всунут мою забинтованную руку.

— Бросьте. Вы же не говорите зло о людях… Обычно не говорите, — Марина неловко пожала плечами.

— Обычно не говорю. Это вы правы, обычно не говорю. Стараюсь

не говорить, даже когда мне на ноги наступают и в лицо плюют. Но иногда прорывается, ведь у каждого в душе есть дерьмо, целое море всякой дряни. А как её сдержать? Это же стихия! Подымается ураган, так поди, утихомирь его! Нужно не кидать камни в душу, не баламутить эту черную воду в других. Вы меня спрашивали про любовь, Марина, так это и есть любовь — не терзать других. Обращайтесь с одним лишь добром к людям, вот и будет любовь.

— А вы так умеете?

— Нет. Не умею, это трудно. Но я стараюсь. И все же, когда наступают в лужу моего душевного дерьма, брызги летят во все стороны. Тут уж держись, народ! Попадет всякому, кто под рукой у меня окажется…

— Опасный вы человек, — засмеялась Марина.

— Был… — Барсук провёл рукой по своим волосам, вспахивая их крепкими пальцами. — Теперь я сама добродетель. Муху не трону.

Марина недоверчиво покачала головой, видимо, вспоминая рассказы о стрельбе из револьвера. Она взяла чашки со стола и поставила их в раковину.

— Я всё-таки правильно сказала, что вы философ. В вас на самом деле бездна добра, но и от сатаны вы взяли не меньше. И если каждый философ держит в своей голове столько противоречий и ещё трезво оценивает их, то все они — страшные люди. Я даже не уверена, стоит ли ими восторгаться или опасаться. И вы такой же…

***

Длинноволосый парень в коротенькой куртке на меху качался на задних ножках стула. Вокруг сидело ещё несколько человек, все молодые ребята, безусые, ясноглазые.

— Когда всё-таки будет, Мохнатый?

— Ты обещал через неделю, а флаконов всё нет.

— Мужики, я же не бог, — длинноволосый кисло растянул губы. Не все делается одним взмахом руки, говорило его лицо. — Ведь не одни мы живем в навозной куче, таких мест полно, сами знаете. Везде хотят выпить… Всюду хотят оторваться, дурь спустить…

— И что с того? Мы платим, а твоё дело привозить!

— Почему нас должно волновать чужое болото? Тащи пузыри и точка! — голоса звенели недовольно, почти на уровне предельно натянутой струны.

— Будут, будут пузыри, орлы. Но не могу я сразу. Ну, задержал товар,

виноват, что теперь? Машину мне не дали. Я официально работаю, братцы. Мне же транспортную оформить надо, закон просто так не окрутишь. Власть, она штука крепкая, ей всякие фентили неизвестны. Вы-то чем рискуете? А мне небо в клеточку видно будет. То-то.

— Ладно, Мохнатый, ты брось заливать! Тащи товар! Ещё два дня даём тебе, а не будет пузырей, лучше не появляйся! Мы на пределе торчим…

Длинноволосый резко подпрыгнул, отпихивая ногой ветхий стульчик, и вцепился длинными руками в говорившего. Спрятанные глубоко под бровями злые глаза выпучились, готовые лопнуть, и он зашептал:

— Ты мне угрозы не суй, сопля! Я себе сам командир! — он отпихнул паренька с такой силой, что тот опрокинул ещё двух сидящих. Мохнатый быстро выхватил из-под куртки небольшой пистолет и затряс им в воздухе. — И через любого — запомните! — через любого перешагну, если выступать будет.

В неосвещённой пивнушке повисла тишина. Рыжая девица за прилавком спала, подперев голову кулаком. Мохнатый спрятал пистолет и сипло закашлял.

Дверь ломика распахнулась, и на пороге остановилась крепкая фигура Барсука. Мохнатый повернул голову.

— Закрыто, что ли? — спросил вошедший.

— Проходи. Работает. Лампочка не включается, потому и темно. — Мохнатый шагнул к прилавку. — Лара! Проснись ты, дура толстая! Налей пива.

Двое ребят поднялись и направились к двери. Барсук посторонился, пропуская их. Остальные сидели. Во мраке тускло поблескивали белки глаз.

— Что стоишь, Охотник? Проходи, — Мохнатый повернулся к Барсуку.

— По-моему, я вам помешал. Вы тут важно разговаривали? Тему какую-то перетирали не для чужих ушей, если судить по вашим лицам…

— Нет, чужак. Нам никто не мешает, и мы не мешаем никому. У нас свободный город. Проходи, будешь знакомиться с моими орлами.

Барсук подошёл к прилавку и смахнул с него крошки.

— Не нравится тебе у нас? — из-под бровей зыркнул Мохнатый, приближая к нему лицо. — Это не столица. Я слышал, ты здешний, наше училище закончил? Учитель говорил. Он с тобой в одной группе был. Учитель свой парень. Ваши все разъехались, разбежались. Я год назад

закончил, тоже из группы один остался. Все бегут. Все хотят на светлых улицах жить, где много огней, где яркие девочки. Вот мы с ребятами про это сейчас говорили. Может, ты им сейчас загнёшь что-нибудь про большие города, Охотник?

— Я не Охотник, — сказал Барсук. Пухлая девица с рыжими космами поставила на прилавок две кружки с пивом. Слипающимися глазами она уставилась на свои короткие пальцы.- Я тебе уже говорил в «Синем ките», что я не Охотник…

— Ну извини, старик, не злись. Это я так, вроде шутки, — они подошли к столу, возле которого ждали молчаливые парни. Мохнатый кивнул на Барсука. — Знакомьтесь. Барсук. Из здешних. Вместе с Учителем в группе был.

Сидевшие юнцы что-то забубнили, по всей видимости, представлялись, но разобрать что-либо из их слов было невозможно.

— Хмурые у тебя дружки что-то, — заметил Барсук.

— Сопляки. Я их всё жизни пытаюсь научить, а они только злятся.

— А ты не учи. Сами увидят всё. А ошибутся, на себя пенять будут.

— Жалко. Глупые они…

— Что жалко? Жалко, что носы себе в жизни расшибут, или жалко, что авторитетом у них не пользуешься? — Барсук увидел, как у Мохнатого дрогнула щека.

— Жалко, что советов не слушают, — Мохнатый сочно сплюнул.

— Может, советы бестолковые? Может, ты ерунду несёшь, вот они и не слушают?

— Я? Ерунду? Слушай, Барсук, ты эти слова брось! — Мохнатый залпом осушил кружку. — Я для них царь и бог. Я им спиртуху привожу, так что они мне поклоняться должны!

— Вот я и говорю, что ты хреново их жизни учишь.

— А… — протянул Мохнатый. — Теперь я тебя понял. Вот ты куда гнёшь. Выходит, народ тебя верно к шпикам причислил. Вынюхиваешь, выуживаешь, паскуда…

— Больно ты мне нужен, червяк, — Барсук допил пиво и поставил кружку на стол. Пузырьки пены лениво поползли по стеклу вниз. — Я таких, как ты, давил всегда на месте и ничего не вынюхивал. Барсук вообще никогда ничего не вынюхивал. А ты… Ты о жизни-то знать ничего не знаешь, а выпендриваешься, мафиози из себя строишь… Прилип к каким-то подонкам и ребят за собой тащишь. Небось, бумажки

втихомолку пересчитываешь? Денежками жизнь отшелушиваешь?

Мохнатый злобно скрипнул зубами. Он хотел ответить что-нибудь, но не знал, что надо сказать. Просто брызгать слюной в бешенстве, обкладывать этого пижона руганью? Или же пригрозить ему? Но он помнил стреляющего Барсука. И он смолчал.

— Молчишь? Вот и молчи. Пока ты урока не получишь, пока жизнь тебя мордой об стол не стукнет, ты ничего не поймешь, — Барсук встал. Длинноволосый смотрел на него с кривой улыбкой.

— Не криви морду, Мохнатый, — почти добродушно сказал Барсук. — Ещё вспомнишь меня. Жизнь начинаешь ценить, только когда она на волоске висит. А до тех пор к ней относишься шутя, мол, никуда она не денется. Но подойдёт к тебе однажды старая ведьма по имени смерть и заглянет в твои глаза, вот тогда тебе не до шуток станет, малыш, и хорошо, если она не обнимет, а только посмотрит, такое бывает. Если шею тебе она свернет, проку с того не поимеешь, лёжа в ящике, жизни не научишься, Мохнач, разве что другим что-то покажешь. Но если смерть в лицо тебе дыхнет, но не тронет, ты это запомнишь, — Барсук замолчал и пошёл между сжавшимися хмурыми ребятами. Возле двери он остановился. — Тебе дружкам своим надо бы совсем другие уроки давать, да ты их сам пока не проходил. Спирт глушить дело не хитрое, в пьяном угаре шататься и без мозгов можно. И дурак ты, если этого не понимаешь. Дурак.

Барсук закрыл за собой дверь.

В тишине тёмного помещения слышалось чьё-то тяжёлое дыхание. Рыжая девка за прилавком мирно спала, причмокивая толстыми губами. Скрипнул рассохшийся стул.

— Сука, — прошипел Мохнатый. — Падлюга. А вы что уши развесили? Вам тут вонючие сказки про мораль читают, а вы слушаете? Он, думаете, такой весь из себя праведный? Умненький? Хрен вам! Выкусите! Строит из себя особенность, а сам с нашими бабами спит. Пока ещё только Маринку дерет, но и до ваших телушек доберется! Сам в постелях их мусолить будет, а вам слова говорить будет о том, как это всё очень нехорошо. Скотина! Ищейка чёртова! Нюхальник выставил! Но ничего ты тут не откопаешь. На нас так легко не накапаешь, хрен собачий!

Мохнатый схватил кружку и с размаху треснул её о край стола. Стекло громко лопнуло и разлетелось на куски.

***

— Смотри-ка, — Марина показала на окно. — Солнце!

Через комнату протянулись жиденькие полоски солнечного света, в них лениво шевелилась пыль.

— Тебе не понять. Тебе должно быть странно, что здесь нет солнца. А мне странно, что оно появилось. Это редкость. Настоящая редкость. В Горбатом не бывает солнца. Это ты его принес? — Марина повернулась к Барсуку и оперлась на локоть. Барсук посмотрел на неё, такую гибкую, живую, мягкую, вытянувшуюся рядом, и негромко засмеялся. Солнце скроется, подумал он. Просто сегодня воскресный день, но придёт ночь и чёрной тряпкой смоет солнечный свет.

Он ласково опрокинул Марину на спину и поцеловал ей грудь. Возле самых глаз возникла мягкая ткань кожи, пронизанная бесчисленными порами. Он потянулся и захватил губами торчащий сосок, твёрдый, наполненный своей отдельной упругой жизнью. Поворачиваясь, Барсук заметил в складках простыни расслабленную руку с голубенькой прожилкой. Сегодня Марина протянула эту руку и погладила его по щеке. Сегодня выглянуло солнце. Сегодня день потонул в нежности. Сегодня необыкновенный день. А завтра с раннего утра потянутся будни.

Барсук откинул одеяло и ощутил горячую волну, исходившую от женского тела. Он подался вперёд и окунулся в поток пахучих волос, таких золотых и таких рассыпчатых. От его дыхания они распушались, плавно поднимались в воздух, висели, падали ему на лицо. Он открыл глаза и увидел далекое окно, сквозь которое боязливо пробивался солнечный свет. На улице прыгали две неуклюжие фигурки: мальчик и девочка. Малюсенькими ручонками они цеплялись друг другу в плечи, висели, падали, снова карабкались друг на друга и, задирая головы в больших шапках, заразительно смеялись. Но в доме не было слышно их смеха. В доме громко плавало дыхание женщины.

***

— Барсук! — услышал он голос. Кричал Мохнатый, нервно кричал, злобно. Марина вышла из коридора и испуганно посмотрела на Барсука. Он сидел с закрытыми глазами, спиной упершись в стену. Куртка наглухо застегнута, руки в карманах. Он не шевелился, словно не желая выходить из тёплого уютного сна. Но он не спал.

— Барсук! — снова донеслось с улицы.

Третий день подряд Мохнатый ругался в пивной с Барсуком. Каждый раз Барсук уходил, не желая устраивать драки, и каждый раз

длинноволосый вожак юнцов кричал, что заставит Барсука проглотить собственный язык. Сегодня он выхватил пистолет, но Барсук сшиб его с ног ударом кулака.

— Барсук!

— Вот горлопан, — тихо, почти шёпотом проговорил он и открыл глаза. Лицо его не выражало ничего. Он вздохнул, пошевелил утомленно плечами и повернулся к Марине. — Ты что? Боишься чего-то? Нечего тут бояться. Дай-ка мне чашечку чая.

— Кипятку нет, — ответила она.

— Поставь чайник. Учить тебя, что ли? — с едва заметным раздражением проговорил он и подошёл к окну. На улице виднелась кучка растрепанных людей. Он повернулся и расстегнул куртку. Марина увидела полоски ремешков, тянущиеся к кобуре под мышкой. Он посмотрел на женщину. — Я же тебе сказал, поставь чайник.

Она суетливо пошла на кухню, делая какие-то непонятные движения руками. Барсук устало почесал правый глаз. Неторопливо достал револьвер, проверил барабан, задумчиво облизал сухие губы, сунул оружие за пояс. Он открыл дверь и вышел на улицу. Холодный воздух схватил лицо и грудь.

Группа вокруг Мохнатого расступилась.

— Не дури, — сказал кто-то ему, но Мохнатый отмахнулся.

— Пропади всё, — хрипел он. Поиграем на прощание в Дикий Запад, — ветер трепал его темную копну волос. Мохнатый сплюнул и закричал надорвано. — Отвалите все к чертям! — Его тело согнулось, как от удара, затем медленно распрямилось, и он повернулся лицом к Барсуку. Большие руки его дрожали, выпученные от напряжения глаза замерли, вцепившись в спокойное лицо Барсука. Что это за Барсук такой? Не лицо, а маска. Не человек, а машина. Ни тени волнения, ни намёка на тревогу. Значит, он на самом деле профессионал. Человек, знающий толк в убийствах, близкий друг Сатаны, крестный отец Смерти.

Волнение вдруг покинуло Мохнатого. Руки успокоились. Он понял, что настал конец. Хмель улетучился из головы. Животная ярость, бешенство на самого себя стали медленно закипать в нём, заполняя его необъяснимой силой. Неведомая ему пружина взводилась внутри, готовая вот-вот разжаться и швырнуть его руку к пистолету за поясом.

Барсук стоял неподвижно. Немного боком. Руки опущены. Голова поднята. Непослушные волосы торчат на затылке.

Внезапно задвижка пружины соскочила, Мохнатый дёрнулся, отбрасывая край куртки левой рукой, правой хватая рукоять оружия… Но застыл неподвижно.

Барсук уже смотрел на него, выкинув руку с револьвером перед собой. Совсем близко, как будто он стоял вплотную, Мохнатый увидел срез ствола, холодный цвет металла и чёрное, уходящее в бесконечность жерло. Это Смерть. Он уже ощутил разрезаемый пулей воздух, удар выстрела по ушам…

Но Барсук не стрелял. Указательный палец неподвижно лежал на спусковом крючке. Сволочь, пронеслось в голове у Мохнатого. В благородность играет, в порядочность… Или издевается? Слепая злоба вновь обожгла его. Рука выдернула из-за пояса пистолет и он выстрелил.

Пуля с визгом оторвала клочок ржавого фонарного крючка над головой Барсука. Он взглянул на упавшую железку, всё та же маска безразличия на лице. Ржавчина обсыпала промерзшую землю рыжей пылью. Барсук опустил револьвер, но не успел убрать его. Последовал второй выстрел.

Сквозь голубоватую завесу порохового дыма Мохнатый увидел, как Барсук отшатнулся от сильного удара в грудь и, наткнувшись на ступеньку, опрокинулся. Он не пошевелился, остался лежать, нелепо выгнувшись в спине. Губы его застыли, не то в улыбке, не то искривлённые болью.

— Вот так, — прохрипел Мохнатый, тяжело дыша. Он стоял мокрый, как марафонец после забега, и соленые капли пота стекали по лицу, попадая в глаза и рот. — Вот так.

Люди вокруг не двигались, изумленно глядя на мёртвого человека. Вывалившийся револьвер угрюмо блестел на простуженной земле. Мохнатый приблизился к бездыханному телу нетвёрдыми шагами, остановился. Ему казалось, что Барсук сейчас откроет глаза и заговорит. Но он молчал. Мохнатый тряхнул головой и осмотрелся. Улица застыла в немой сцене. В запотевшем окне дома виднелось серое лицо Марины с остекленевшими глазами. Мохнатый рванул ворот рубашки, подставляя холодному воздуху взмокшую грудь. Отскочившие пуговицы упали возле револьвера. Мохнатый наклонился и поднял оружие.

— Вот так, — опять прохрипел он и ещё раз тряхнул головой, как бы желая что-то сбросить. Потом он вдруг побежал на негнущихся ногах, сначала неуклюже, затем тверже и быстрее. Вот так, стучало в голове,

вот так. Улица запрыгала перед глазами, дёргаясь из стороны в сторону и скрываясь под ногами.

Он остановился от холода. Оглянулся. Уродливо изогнувшиеся заборы и кривые домики на горбатой спине холма превратились в далекие черточки.

— Пусть себе, — вырвалось из груди. — Разбирайтесь, а нам не нужно. Вот так.

Мохнатый задрожал и схватился за ворот рубашки. Теперь только он заметил зажатое в руках оружие. Выпустив свой пистолет, он трясущимися пальцами ощупал револьвер Барсука. Это была его смерть. Неслучившаяся почему-то смерть. Почему? Теперь он трогал её, держал её, ощупывал, живой, но все ещё не веривший в это. Его шестизарядная смерть.

Он сел на землю, сжавшись в комок и закутавшись в куртку. Длинные волосы прилипли к потной шее. Он долго сидел неподвижно и смотрел на револьвер в руках. Потом вдруг непослушными пальцами он откинул барабан револьвера и непонимающе уставился на него. Барабан был пуст. Чёрные проемы, в которых должны сидеть жёлтенькие гильзы, просматривались насквозь. Револьвер не был заряжен.

Мохнатый обмяк. Перед глазами возникла фигура Барсука с вытянутой рукой, ствол револьвера. Сердце вновь сжалось от неожиданно вспомнившегося страха смерти…

Наползал вечер, заглатывая лес и холмы, наваливаясь непроглядной мглой на одинокого человека, скованного тяжкими мыслями, испуганного и обманутого. Он был маленький и дрожащий, похожий на только что вылупившегося птенца, который едва прошел муки рождения и теперь смотрит непонимающим взором на окружающий мир. Человек, которому старая ведьма по имени Смерть заглянула в глаза. Ребёнок…

Декабрь 1985

Человек, сотканный из сновидений

Шутник не успел ничего сделать. Сильный удар швырнул его назад через слабенькую оконную раму.

Он запомнил на несколько секунд белый пороховой дым в тесном душном помещении, чёрную фигурку стреляющего, почти растаявшую в полумраке. Выстрел показался ему огромным воздушным копьем, ткнувшимся в грудь, и наконечник копья горячо разорвался внутри. Обжигающая лава брызнула по телу в разные стороны. В те же несколько мгновений втиснулся звон бьющегося стекла. Мелькнуло вечернее небо… И всё позабылось, пропало. Исчезла боль, распалось в прах напряжение, не стало ненависти. Осталось на тёмной сырой земле, попав правой рукой в лужу, мёртвое тело Шутника.

— Быстро в машину! Бегом! — донёсся из разбитого окна нервный голос, кто-то сипло закашлялся. — Брось кассу, козёл! Здесь рядом где-то Рыжий… Накроет!

Распахнулась от удара ногой хлипкая дверца и выбросила на улицу две фигуры в длинных чёрных плащах. Они без оглядки добежали до угла дома, громко чавкая ногами по мокрой дороге, и прыгнули в открытый старенький лимузин. В тот же момент возле заднего колеса взвизгнула пуля, и с противоположного конца кривой деревенской улицы донёсся выстрел. Машина надрывно заревела, харкнула из-под себя грязью и сорвалась с места, оставляя за собой глубокие борозды от остервенело вращающихся колес.

Едва скрылся лимузин, к дому подбежал длинноволосый человек в старой, сильно поношенной замшевой куртке. Он едва взглянул в сторону умчавшейся машины, встряхнул головой, отбрасывая волосы со лба, и кинулся к неподвижному телу Шутника. Первым движением его было нагнуться и осмотреть приятеля, но он остановился, увидев незакрывшиеся глаза Шутника, такие ясные и живые при жизни, теперь же неподвижные, закатившиеся зрачками под самые брови. Голова Шутника сильно запрокинулась назад. Казалось, Шутник собирался, не поднимаясь со спины, разглядеть что-то у себя под

головой, выгнул шею, упёрся лбом в мокрую землю и остолбенел от внезапно увиденного. Рыжий машинально спрятал револьвер в кобуру под курткой и окинул невидящим взглядом притихшую улицу, вдоль которой перекошено жались друг к другу старинные домишки. Тихое небо, засыпающее небо натягивало на поселок вялые тёмные облака. И никто не выходил на улицу…

Рыжий вспомнил это, зайдя в огромный холл сверкающего ресторана.

Как не был похож этот мир большого города на вымершие силуэты далёких провинциальных городков. Находясь в море рекламных огней, невозможно было верить, что где-то лежат странные маленькие посёлки начала века, что жители напряжённо всматриваются в лицо всякого незнакомца, что к телу убитого долго не решаются подойти…

Рыжий приблизился к бармену и попросил двойной виски. Владелец многочисленных полок с разнообразными бутылками с любопытством оглядел посетителя. Он странно выделялся на фоне общей массы. Замшевая куртка в отдельных местах совсем почернела от времени, обтрепанная бахрома на плечах спуталась, почти незаметные остатки бисерной вышивки больше походили на прилипшую грязь, чем на украшение. А длинные неухоженные волосы наводили на мысль, что с ними сумел бы справиться только очень опытный парикмахер.

— Так что вам? — переспросил бармен, сообразив, что разглядывает клиента слишком долго и пристально.

— Двойной виски… шотландский… любой…

Шутник тоже пил виски, но всегда разбавлял водой. Бедный Шутник… Хотя почему бедный? Рыжий слегка улыбнулся. Шутник всегда говорил, что хотел бы умереть, сражаясь. Именно так он и погиб. Почему же называть его несчастным?

— Впрочем, мы стали такими не от хорошей жизни… Довольствуемся счастьем умирать, — произнёс Рыжий.

— Простите? — бармен внимательно вытянул шею.

— Я не вам, — холодно скользнул по нему глазами Рыжий. Тряхнув головой, он медленно пошёл между занятыми столиками к свободному и сел лицом к двери.

— Я хочу драться! Я жажду драться! И я хочу погибнуть в схватке, — услышал Рыжий глубоко в себе голос Шутника и увидел себя рядом с ним в плохо освещённом кабачке за маленьким кривеньким

столиком. — Я хочу драться, но я не хочу на самом деле никого убивать. Это парадокс. В нашей профессии мы должны хотеть чужой смерти, а я не хочу. Как так может быть? Я начинаю замечать, что становлюсь похожим на самоубийцу, который ищет пули. А Смертник вовсе не самоубийца. Смертник обязан жить, хоть и не имеет права цепляться за жизнь. Я же…

— Ты просто остаешься поэтом, Шутник, — Рыжий ласково посмотрел на друга. — А поэты никогда не научатся быть убийцами.

— Я давно не поэт, — махнул рукой тот, — поэт умер, и вместо него родился теперешний я. У меня ещё в школе ощущалось непонятное желание, потребность, страшная потребность умереть. Умереть за кого-то. Чтобы показать мою силу. Не сломать что-то, не разрушить, а именно умереть. Легко, просто.

Рыжий поднёс к губам бокал и увидел, как в нём переливаются разные цвета. Он поднял голову и снова увидел себя в большом ресторане. Шутника не было. Шутник крепко спал в деревянном гробу на маленьком заросшем кладбище далеко-далеко от огромного города, многоэтажного, электрического и шумного.

— Фрачник! — Рыжий поднял руку и жестом позвал официанта во фраке. — Ещё одну порцию и пожевать чего-нибудь попроще.

— Орешки или, может, гамбургер?

— Орехи и чипсы…

Удивительно пусто и одиноко было Рыжему в этом многолюдном заведении, переполненном шумной музыкой и гулом людей. Он откинулся на мягкую спинку стула и закрыл глаза. Усталость не покидала его много дней. Охотничий нюх вел его вперёд и вперёд. Теперь же Рыжий вдруг ощутил, как усталость начала сворачиваться в тяжёлый бутон, состоящий из множества влажных пахучих лепестков, и из бутона вылупляется странный, незнакомый Рыжему человек.

Свет померк и оставил в помещении лишь вертикальные блики на вымытых столах, без следа растворив всё другое. Тогда я понял, что жизнь отступает, пряча лицо в жирную чёрную тень, и подгоняет ко мне густой сон, где начнут вязнуть друг в друге люди, прилипать животами и ногами к животам и ногам, вытягивать розовые языки, длинные и бесконечные, как верёвки. Я знал это, видел такое уже тысячи раз именно в этом хрупком стеклянном ресторане. У бармена вон на лысине скользит жидкое световое пятнышко. Сейчас оно потечет и увлечет

за собой все его рельефное пластилиновое лицо, и лицо потеряет форму, вытянется и лениво сползет расплавленной резиновой маской, от которой пахнет гарью… Тесто, а не бармен.

***

Тьма лизнула мои глаза и стёрла хлюпающее тесто. И тогда я торопливо построил карточный домик, чтобы спрятаться, скрыться, спастись, потому что припомнил, что мой дом есть моя крепость. Но крепость разлетелась от сильных газов, рвущихся из невидимого теперь чавкающего и бурлящего теста. И меня поглотило болото, втягивая дрожащие мои ноги в мясистую бездну своей прожорливой глотки, запихивая мне в рот бесформенные жидкие пальцы и дыша в лицо зелёным запахом помойного ящика.

Со скрипом отворилась дверь, и сквозь неё в глаза ударил жёлтый свет, и я увидел, что скрип превратился в изломанного человека, изломанного в теле, руках, шее, глазах. Человек тот визжал и скрипел, а дверь вторила ему качаниями в жёлтом свете.

Тогда я плюхнул рукой в жидкое тесто и, вырвав из него бурлящий горячий клок, брызнул им в распахнутый рот кричащего человека. Он зажмурился, передёрнулся, развалился рассохшимся красным кирпичом. И дверь замолчала.

Я выбрался из болота и на четырёх конечностях направился к безмолвному дверному проёму, который не переставал упираться мне в лицо жёлтым столбом света. Я ощущал кожей миллионы колючек, а губами впитывал сладкий, почти ликерный вкус света, руки раздвигали его плотное желтое тело, а я полз вперёд.

Внезапно, словно выскочив откуда-то из-под меня самого, перед моими глазами появился странный дирижер, неугомонно размахивающий длинными резиновыми руками. Он дрыгался спиной ко мне, и я видел макаронины его немытых жёлтых волос. Они громко стукались друг о друга, падали ему на уши и плечи, нервно скрючивались, сплетались в толстую верёвку и вновь разваливались ленивой массой, будто выползая из горячей опрокинутой кастрюли. А из-за самого дирижёра слышалась пьяная музыка тысячи скрипок и труб, которой вторили изогнувшиеся дугой тени бездомных кошек. Руки дирижёра в очередной раз взвились в жёлтое небо и упали вниз, разрубив безумствующую музыку пополам. Одна половина её гулко рухнула наземь в наступившей тишине и подняла густую едкую пыль.

Другая же, издав протяжный вздох, почему-то похожий на ополоумевшее эхо, судорожно взмыла вверх и растаяла в высокой бездне. Кошачьи тени тихонько зашипели и неподвижно застыли в кривых положениях… Чёрные безглазые силуэты. Дирижер вытянул шею, совершенно скрытую грязными макаронными волосами, и медленно повернул ко мне голову. Лицо его оказалось сильно изъедено глубокими оспинами.

— Маэстро! — хрипло и громко заорал вдруг из-за его спины неожиданно объявившийся краснощекий клоун в золотой хламиде. — Вам необходимо замазать оспины жидким пластилином! С такой отвратительной рожей никак невозможно появиться перед публикой. Замажьте оспины, Скрипичный Маг! Сгладьте уродство, обожаемый мой Виртуоз! Вот свежеподогретыи поднос, полный наилучшего расплавленного пластилина. Но берегите, умоляю Вас, белые манжеты и нагуталиненный фрак, Маэстро! Искусство способно иногда замарать гения…

Выплеснув данную тираду, клоун подпрыгнул перед неподвижным дирижером и с силой шкваркнул ему в лицо тяжелый дымящийся поднос.

И потекло рябое лицо обожаемого виртуоза и властелина небесной музыки. Из-под пластилинового теста вдруг вырвались, с трудом преодолевая горячую лаву, размалеванные пасхальные яйца.

— Приютите бескрылых! — завизжали они. — Нас пытаются загубить. Нас изжарить хотят. Где наши будущие крылья? Мы желаем быть павлинами и белыми лебедями. Долой яичницы и омлеты!

— Маэстро, музыку прошу, — воскликнул клоун и сорвал обе свои красные щёки с лица, бросив их яблоками в желтое небо. Оба яблока прилипли к невидимому потолку и выпростали из себя тысячи тонких яблоневых веток, на которых в мгновение ока распустились белые цветы, и возле каждого вздулось по сочному яблоку. Затрепетали яркие зелёные листья, громко зашелестели и запели неведомые песни бескрайних диких садов.

— Музыку, Маэстро! — не унимался клоун.

Дирижер дёрнулся червяком, и сверху, громко разгребая густую листву, посыпались скрипки, лютни, клавесины. Музыка захлестнула цветущий сад и брызнула голубыми фонтанами.

— Летать хотим! — пели пасхальные яйца. — Дайте нам крылья!

— Да здравствует полубред! — вопил безумный клоун, отбивая чечётку.

— Бессмертия жажду! — закричал пропитым голосом непонятно откуда взявшийся хиппи в грязной длинной рубашке. — Бессмертия! Разрубите крест на дрова! — он свалил со спины здоровенный крест из плохо отёсанных досок и принялся неистово топтать его босыми ногами.

Я качнулся и медленно пополз на четвереньках вперёд.

— Пусть вечно будет пьяная погода! — пропищал у меня над ухом комар и, нацепив на себя резиновую маску синего вампира, впился мне в ухо длинными клыками. Я поднял отяжелевшую от водоворота нахлынувших видений руку и хотел было прихлопнуть кровопийцу, но тот выхватил откуда-то картонный плакат и сунул мне его в самые глаза. «Отдавайте свою донорскую кровь! Исполняйте гражданский долг! Спасайте обескровленных вампиризмом! Отдайте свою каплю крови в борьбе с упырями!»

Я отмахнулся ладонью от плаката. И в этот самый момент из-под моих ног вырвалась стая чёрных бабочек. Шумом крыльев они заглушили музыку. Их крылышки мелькали серебряными рисунками восточных мастеров, хлопали рассыпающимися точками сказочных узоров, звонко осыпали меня золотой пыльцой библейских сказаний. Наконец, одна из них опустилась мне на лицо и наложила тонкую чёрную вуаль крыльев мне на зрачки. Я ощутил бархатное прикосновение чего-то неизвестного к открытой кровоточащей ране моей души.

И тогда пришёл сон. Тогда навалилась тихая тьма…

***

Рыжий открыл глаза и от неожиданности даже тряхнул головой. Он не думал, что успел задремать, заснуть, что улетел во сне в страну пьяных бредней, что потерял себя самого.

Он покопался в кармане и положил на стол мятую бумажку.

— Фрачник! — Рыжий поднял руку и щёлкнул пальцами над головой. — Я оплатил!

Он неторопливо протиснулся сквозь толпу танцующих и выбрался на улицу. Гулкая, замешанная на шаркающих ботинках, бубнящая музыка почти скрылась за плавно съехавшимися створками стеклянных дверей. Рыжий постоял на месте, по привычке незаметно для окружающих

оглядывая улицу, пошарил во внутреннем кармане куртки и извлёк из приютившейся там пачки длинную толстую сигару. Над его головой мирно сипел вздрагивающий свет люминисцентной лампы. Улица тихо и почти безлюдно вытянулась в сумерках стеклянным коридором витрин. Рыжий тремя пальцами сломал сигару и одну из половинок сунул в рот, неспешно спрятав вторую обратно в карман.

За спиной зашипела дверь. Рыжий не шевельнулся. Он даже не выпустил сигару из пальцев, зная действие торопливых движений на профессионалов. Несколько секунд он продолжал стоять и крутить пальцами огрызок сигары. На губах появился мокрый вкус табака.

— Простите, — услышал он тонкий девичий голос сзади, — вы не артист случайно?

Рыжий плавно обернулся.

— Нет, — отрицательно покачал он головой, осматривая собеседниц. Их было две… Которая из них спросила? Та, что более изящно накрашена? Похоже. Другая выглядит менее броско, смотрит не так заигрывающе. — А почему я должен быть артистом?

Яркая блондиночка виновато шмыгнула носиком и сложила напомаженные губки трубочкой.

— Вы так странно одеты, — проговорила она, — куртка ваша…

— А что куртка? — он невольно провёл рукой по левому борту, проверяя, не слишком ли выделяется револьвер.

— Видите ли, — заговорила вторая. Она казалась почти незаметной рядом со своей подругой, но при вторичном взгляде становилась видно её удивительное лицо, словно освещённое изнутри таинственным светом. Спокойные, много знающие глаза, строгие, не допускающие к себе чужого губы, темно — русые волосы, гладко зачесанные и убранные в пучок. — Видите ли, вы не похожи на здешнего… на городского. Или же вы специально так оделись, как актёр… Чужие пытаются одеваться, как здешние, чтобы не выделяться… Простите нас за нахальство…

Рыжий слегка улыбнулся. Никогда его не принимали за артиста.

— К сожалению, я не актёр. И не художник…

— А кто вы тогда? — не удержалась первая, глядя ему прямо в глаза. Так обычно смотрят влюбленные женщины. Рыжий вспомнил давнюю школьную подружку с пышным бантом на затылке. Когда-то она так же смотрела на него и однажды вечером со слезами на глазах объяснилась

ему в любви. Рыжему вдруг стало безумно жаль ту девчушку, стало стыдно за себя. Чувство беспричинной вины подкатило к горлу.

— Я не актёр, — покачал он головой. — Я, скорее, алкоголик…

— Но, — растерялась напомаженная, вы вовсе не пьяный. Какой же вы алкоголик, если алкоголик должен быть пьяным? Да и не профессия это вовсе…

Он неопределённо пожал плечами.

— Пью много…

Неужели он должен что-то объяснять этим трогательным созданиям? Он много пьет, но это его дело. У него собачья жизнь, но их это не касается. И вообще, подумал он, зачем ему разговаривать с ними?

— Я Смертник, — неожиданно для себя произнёс он.

— То есть? — спросили они одновременно.

— Смертник, Охотник, — повторил он и тут понял, что в этом огромном городе, возможно, никому не известна эта страшная доля.

— Так что это такое? — снова спросила раскрашенная блондинка.

Рыжий поднял голову и почему-то посмотрел на моргающую белую лампу под красной электрической вывеской.

Там, на границе цивилизации, на границе дикости и дерьма, где всякий проповедник читает с церковной кафедры, не убирая руки на всякий случай с рукоятки пистолета, всякий младенец знает, что такое Смертник. Их знают по именам. Их узнают в лицо. Отдельных определяют даже по голосу. Здесь же, в многоэтажном свете небоскрёбов, о смертниках не слышал никто. Здесь есть полиция… А смертники нужны там, где люди сжимаются от страха при виде неумытого головореза и не смеют произнести ни слова на хамское рычание бандита.

Как объяснить, кто такой Смертник?

Смертники — люди, готовые принять пулю и нож, вставшие стеной, защитники униженных, блюстители закона, где нет закона, мстители… Это люди, умершие в несчастии своём, позабывшие себя, потому не теряющие ничего, а несущие в руках чужую надежду на защиту от бесчестия, наглости, подлости, лжи, издевательства, бесправия. Их прозвали смертниками за безотказность их, за мгновенное согласие умереть, если нужно умереть. За то, что свою личную жизнь они потеряли давно, желание жить потеряли. За то, что кровью своей орошают жизнь чужую.

— Что же это такое? — вновь спросила блондинка.

— Это вроде фокусника, — попробовал улыбнуться Рыжий.

— Ну я же говорила, что артист! — радостно воскликнула она и принялась трясти ему руку. — Очень рада с вами познакомиться. Очень приятно, честное слово… А как вас звать?

— Меня называют Рыжим, — ухмыльнулся он. — Это псевдоним.

— Но ведь вы вовсе не рыжий. Или вы в парике выступаете? Но у вас такие длинные волосы…

— Меня так приятель мой назвал, — объяснил он и сразу расхотел говорить дальше, но всё же продолжил. — Он говорил когда-то, что я был очень весёлым, как рыжее солнце… Всякая такая лирика. Он был поэтом…

— А почему был? — вторая девочка подняла левую бровь.

— Его убили, — ответил Рыжий очень спокойно, и в тоже мгновение девушка заметила в его глазах луч беспокойства, настороженности. Рыжий замолчал, а губы его беззвучно произнесли «Шутник». Стеклянным взглядом он смотрел на зеркальную поверхность витрины, в которой отражались фигуры редких прохожих. Один из них остановился и потер большим пальцем под глазом. Рыжий хорошо помнил этот жест. Именно та! временами почесывал шрам под глазом один из тех, кто убил Шутника.

— А вот скажите, — защебетала блондинка.

Рыжий уже не слышал её голоса. Он чувствовал, как медленно вываливается из его рта огрызок сигары с размокшим от слюны концом, как гулко задевает он жесткий засаленный рукав куртки, как рука громко рассекает воздух, парусом хлопает отброшенный край куртки, громко скрипит кобура, пока из нее выскальзывает тяжелый металл револьвера, капля пота звонко скатывается по небритой щеке и стучит с воротник. Он видел, как правая рука с револьвером тяжело продирается сквозь воздушную массу, в то время как левая толкает обеих девушек вниз, и их глаза в ужасе распахиваются и дрожат слезами. Он видел отражение револьвера в стекле, видел застывшую в воздухе копну собственных волос, оскалившееся белыми зубами свое лицо. Он видел черного человека, который слишком быстро прекратил чесаться и чрезмерно быстро оглянулся, заметив Рыжего. Он видел, как человек ловко присел и выдернул из-под длинного чёрного плаща автоматическую винтовку с обрезанным стволом. И человек с грохотом успел выпустить из нее

желтую слюну огня, окутав её своим истошным криком. Рыжий видел, как его рука с револьвером, словно выныривая из океанских глубин на воздух, вдруг набрала безумную скорость, вскинулась и нажала на спусковой крючок. Раздался выстрел. Чёрный плащ подпрыгнул и побежал. Но он успел сделать всего пару шагов. Второй выстрел Рыжего заставил его споткнуться и упасть.

Краем глаза он увидел осыпающееся стекло витрины, которую пробила пуля чёрного плаща, и упавшие фигуры девушек. Рыжий снова нажал на спусковой крючок. И вновь время приобрело маслянистую растянутость. Рыжему показалось, что он даже услышал ленивый звук вылетающей пули. Чёрный плащ дернулся, вскинул руки и застыл. Вокруг завизжали женские голоса, людские тени кинулись в разные стороны. Под ногами захрустело битое стекло.

— Дьявол! — закричало внутри Рыжего. — Чего орёте?

Рыжий тремя прыжками приблизился к неподвижному телу в чёрном плаще. Прохожие медленно, как во сне, разбегались. Рыжий нагнулся над упавшим и заглянул в его раскрытые глаза, ещё полные жизни, полные слёз, в которых отражались дрожащие чёрточки рекламных огней. Но у Рыжего не было времени разглядывать огни. Он приставил револьвер к голове упавшего и выстрелил.

После этого он побежал по совершенно опустевшей улице, слушая оглушительный стук башмаков.

Он кивнул бармену и подвинул к себе тонкий стакан с красным вином. За спиной гудели посетители, негромко наигрывала музыкальная коробка. Рыжий настороженно прислушивался к голосам. Ему представилась полиция вокруг трупа в чёрном плаще, нервные выкрики свидётелей. Что они говорили? Чёрт возьми, у него слишком заметный вид, эта куртка… День — два он сумеет продержаться, но шансов маловато. Его могут накрыть в любой момент. А полиция ему не нужна, у него с ней нет войны, однако для полисменов он — просто убийца.

— Сколько с меня? — спросил он у бармена.

Дурацкое место этот город, да и любой другой город тоже. Идти по следам, как бродят охотники в лесах и горах, это одно дело, но в городе совсем иначе. Чтобы пожрать, нужно заплатить, а где доставать деньги? Рыжий покачал головой. В округе, где Смертник известен всякому, ему помогают, ему дают ночлег, он получает еду. Здесь же…

Рыжий отсчитал деньги и положил на стойку. Прежде чем повернуться и уйти, он поднял глаза к большому зеркалу за спиной бармена и осмотрел отражающийся там зал. В приглушенном свете он увидел за собой знакомое лицо. Он медленно повернулся… Вот и свидётель.

— Привет.

— Привет, — ответил он. Перед ним стояла одна из двух девушек, с которыми он разговаривал на улице.

— Обошлось? — спросила она и провёла тонкой рукой по бледному лицу. Она нервничала.- Всё в порядке?

— Пока что, — Рыжий обвёл глазами помещение и остановился на входной двери. Ничего подозрительного.

— Вы мне возьмёте выпить? — спросила девушка и поправила пучок.

— Нет.

— Почему? Это странно… Нелюбезно.

— У меня мало денег. Я не могу позволить себе ухаживаний, — угрюмо ответил он.

Она долго смотрела на него.

— Что-то не так? — спросил он, невольно поглядывая поверх её головы в зал.

— Нет. Всё нормально. Если не считать, что вы убили человека…

— Это не первый, — он привычно провёл рукой под курткой. — С вами полиция?

Девушка недоумённо подняла левую бровь и даже оглянулась.

— О боже! — вырвалось у Рыжего при виде такой наивности. Девушка опять посмотрела на него. Близко — близко он увидел её глаза. В такие глаза надо подолгу смотреть и говорить им о любви. Их надо целовать, а он о полиции… Впрочем, каждому своё.

— Простите, — неловко улыбнулся он. — Я подозрителен. Я привык быть начеку. Не нервы, а вечно взведённый курок… Извините меня… Я вам уже сказал, что я Смертник, но вам это незнакомо. Вы живёте в мире, который практически не знаком со смертью, кроме старости, который не знает раскаленного железа на груди, первобытной жестокости…

Она внимательно слушала Рыжего, а он все говорил и говорил. Его разобрало, какая-то пружина сработала, и он не мог теперь остановиться. Он начал шепотом, но постепенно его голос усиливался,

и девушка вдруг взяла его за рукав. Рыжий замолчал.

— Что?

— Вы слишком громко стали говорить, — она предупредительно поднесла палец к губам и смутилась. — Вас могут услышать… Но я вам верю, не бойтесь…

Он даже затаил дыхание от этого «не бойтесь». Ему неожиданно почудилось, что он на самом деле боялся, что это ясноглазое существо ему не поверит. Или не почудилось? Может быть, жутко ему было здесь находиться одному, среди вздыбленных небоскребов, среди бесконечно убегавших вверх огромных жёлтых окон, среди множества равнодушных и Девушка взяла его за руку и вывела на улицу.

— Никогда не приходилось слушать столько разного. Я даже не подозревала, что такое возможно в жизни, а не в кино. Конечно, вы могли всё насочинять… Но я видела, как вы стреляли.

Она замолчала, а он ждал, потому что больше ему ничего не оставалось. Спать негде. Идти некуда. А ветер дул поганый, прямо-таки первобытный какой-то, холодный, серый.

— Мне негде ночевать, — сказал он, глядя в сторону. Тёмные волосы густо шевелились на его голове, и девушке подумалось, что этот человек забрёл на освещённую улицу из другого времени, где ездят на потных лошадях, где женщины в длинных платьях…

— Я могу вас пригласить к себе, — неуверенно предложила она.

— Хорошо. Это очень хорошо, — голос его прозвучал спокойно и тихо, — Это просто чудесно. — Он улыбнулся и посмотрел на неё. Она снова ощутила необъяснимое смущение. А он неожиданно оборвал свою улыбку. — Вы меня не бойтесь. Если хотите, я даже оставлю на ночь револьвер около вас, чтобы вы чувствовали себя уверенней. Это, правда, против моих правил. Смертник не расстается с оружием. Он всегда должен быть готов, каждую минуту…

Она легонько покачала головой.

— Нет нужды…

Как удивительно время любви. Жаль, что оно нам не знакомо.

Такая мысль приснилась ему в эту ночь. И видел он вокруг неё множество цветов с золотыми лепестками. Почему золото? Почему жёлтый цвет? Всё на удивление странно. Всё необъяснимо, таинственно и непохоже на жизнь. Все оплетено перламутровой паутиной мысли…

И тогда он попробовал любить эту мысль, но не знал, как делать то,

что казалось ему любовью. Он напрягался, тужился, но из него начинали струиться белёсые соки, а силы превращались в мечты.

— Не могу! — закричал Рыжий, потому что не хотел мечтать. И он сорвался с места и побежал в ту сторону, где на густо-синем небосводе вырисовывалась громадная фигура в чёрном покрывале и с капюшоном на голове. Из-под невидимых складок торчала холодная кривая коса.

— Возьми меня! — вскинул руки Рыжий, подбегая ближе, и увидел, как смерть указывает на него кривым пальцем, сплошь покрытым крупными прыщами. Палец приблизился к его лицу, и Рыжий разглядел, что прыщи на глазах преобразились в крохотные домики с полуразвалившимися крышами, а между ними на городской площади грязный фонтан с грязной гипсовой фигуркой ангела брызжет кровью.

Рыжий бежал, но смерть не удалялась, а город разрастался, распухал вокруг него, обступая его немытыми кирпичными стенами и стёклами окон. Окна дрожали от текущих капель дождя и превращались в заплаканные глаза. Дома кривились, вздувались старыми облупившимися стенами и вылепливали на своей поверхности измученные листья, обтянутые рыхлой кожей. Рыжий бежал между ними, обхватив голову руками, однако смерть стремительно удалялась. И тогда он понял, что не угнаться за смертью, что нужно просто ждать на месте, и он остановился. Однако сон не давал ожидания.

И тут перед глазами мелькнула тень, смыв, словно рукой, черноту небосвода, превращая его из ночного в утренний. Рыжий увидел, как в утреннем пространстве появляются новые глаза, чистые, ясные, манящие. Он протянул к ним руку, и они улыбнулись в ответ. Тогда Рыжий понял, что любит их...

В это мгновение с неба, где сверкала лазурь и начал рассыпаться светлый жемчужный дождь, оглушительно шлепнулась чёрная клякса. Она стала хохотать и разрастаться, корчась и строя безумные рожи. И вдруг сразу превратилась в огромный стальной штопор, воткнулась в Рыжего с невероятной силой, пробуравила его насквозь и переполнила кислой кровавой массой сжавшееся горло.

Рыжий тряхнул головой и сел на кровати, чувствуя холодный пот на лице и до боли сжавшееся сердце. В комнате тихонько тикали часы. Слабый зеленый свет от рекламной вывески на улице падал на стену. В соседней комнате горела лампа.

— Вы не спите? — спросил Рыжий.

— Нет, — услышал он в ответ. — А вы?

— Спал. Но сон дурной.

Он поднялся, надел брюки и босиком прошел в комнату хозяйки. Она сидела на кровати в тонкой ночной рубашке, обхватив голые ноги тонкими руками. Пучок на голове исчез, волосы распущены и беспорядочно рассыпались по плечам. Рядом лежала раскрытая книга.

— Не спится? — остановился он перед ней.

— Я часто не сплю, — она пожала плечами. — Обычно для этого не бывает причин, а теперь их больше необходимого. Смерть на улице, кровь, выстрелы, полиция, вы... Неужели этого мало?

— Понимаю, — Рыжий обеими руками отбросил волосы назад. — Только вы забудьте об этом. Считайте, что вы видели фильм с лихим сюжетом. Просто фильм, где гангстеры стреляют, где витрина рассыпается, где непонятный человек забрёл в город... и ушёл, не оставив после себя следов.

— Как же без следов? А память?

— Память имеет странное свойство всё перекрашивать. Вам нужна романтика? Вам не хватает её? Так память подарит вам её. Вам нужен кошмар? Она и это умеет преподнести...

— А как же настоящее? Что станет с настоящим? Оно ни во что не окрашено.

— Настоящего нет, милая девушка. Есть только окрашенное в наши ощущения «вчера». И оно всегда искажено, всегда почти выдумано, оно никогда не бывает настоящим. Увы... с этим обманувшим нас «вчера» мы направляемся в завтрашний день, который обманет нас ещё больше. Обманет тем, что будет не таким, каким мы его ожидаем, не задержится в сегодняшнем дне, а останется лишь во вчерашнем, опять же перекрашенном...

— Странная у вас философия, — она не отрывала от него глаз.

— Какая философия? Просто картинка, а не философия. Просто ощущения, я ведь не знаю вас, но вижу вас в определённом свете. Это и есть та самая краска, которой покроется память о вас. И никакой философии. Желание чего-то, потребность в чём-то есть оттенок памяти...

— И что же вы запомните обо мне? — улыбнулась она.

— Не знаю. Память приходит потом. Сегодня у меня могут быть только мечты.

— И чего же вы хотите? Какие у вас мечты?

Рыжий разглядел её глаза. Глаза из только что развеявшегося сна. Глаза, которые он полюбил, которые не смог бы любить, если попытался бы воплотить это чувство в жизнь.

— Не знаю.

Она удивлённо подняла левую бровь.

— Я не знаю, чего я хочу. Я и смерти не хочу, и жизни не желаю. Я спутал одно с другим. Если бы не чувствовал все время присутствия смерти, её постоянной близости, зубов её, то я бы, вероятно, не ощущал бы полноту жизни. Потому что жизнь — это риск… Или нет. У меня жизнь стала животная какая-то. В ней нет ничего, радости нет, ожидания нет… Мечты? Они бесформенные слишком. Да и не могу я иметь их. Смертник не может мечтать, потому что всякая мечта скрывает в себе надежду на жизнь. Я же не должен ждать жизни, ибо такое ожидание породит боязнь смерти, нежелание принять её. Пропадет риск. Я превращусь из внимательного в осторожного, опасающегося, боязливого… Я ничего не хочу.

— Но так нельзя.

— Кто сказал? Почему нельзя? Я так живу, я такой есть. Я знаю других Смертников. Они живут именно так…

Разговор незаметно прекратился, и Рыжий ушёл к себе в комнату, но уснул лишь под утро, ощутив внезапный покой и уют в душе.

Он спал неподвижно, уткнувшись лицом в подушку, и крупные капли пота расплывались пятнами на белой наволочке. А девушка тихонько сгребла его грязные вещи в кучу и собралась стирать их. Мягкий ремень с жёсткой кобурой она повесила на спинку стула, и он, как ей показалось, пустил по тихой квартире непонятную волну. Ей увиделось, как холодная здоровая рукоять револьвера, подобно кинопроектору, излучает из себя изображение перекособоченной коричневой улочки, где толпятся испуганные люди вокруг нескольких неподвижных тел в грязных лужах.

— Странно, — прошептала она. — Это странно. Похоже на гипноз.

Она извлекла из карманов куртки пригоршню монет, ворох мятых мелких бумажных денег и уронила на пол записную книжку, ветхие страницы которой рассыпались беспорядочно по полу. Она присела и принялась собирать разлетевшиеся листочки.

«Разве не слышишь ты, что дух превратился здесь в простую игру

слов? Отвратительные слова — помои! И они делают ещё газеты из этих слов — помоев!»

Она с удивлением прочитала страничку до самого конца. Поразительное впечатление произвели на неё кривые торопливые буковки, нацарапанные авторучкой, иногда почти не различимые, где бумага пропиталась потом под пальцами писавшего. Это были выписки из разных книг, которые он успевал читать когда-то.

«Разве не слышишь ты запаха бойни и харчевни духа? Разве не стоит над этим городом смрад умершего духа?»

«Теперь я буду добиваться того, чего никто ещё не добивался».

«Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную».

«Я не пленник разума моего».

«Поверь же соловьям и совам, терпи, самообман любя, — смерть громыхнет тугим засовом и в вечность выпустит тебя».

«Я видел правду только раз, когда солгали мне».

Она перелистывала страницы, с боязнью трогая обтрёпанные края, и с волнением чувствовала, как проникает в неё сердце человека, который делал выписки, даже не помечая авторов. Но вскоре она спохватилась, суетливо собрала листочки вместе и сложила их в потёртую корочку записной книжки.

Клубящиеся клочья тёмных туч бурлили в лучах заходящего солнца и медленно расплывались, подобно чернилам в воде. Постепенно ветер размазал их по всему небосводу, но затем вдруг стремительно согнал в одну мохнатую массу и вывернул из неё два косматых крыла. Туча обратилась в смоляную птицу невероятных размеров и со страшным лицом. Острый металлический клюв три раза царапнул по блестящим когтям.

Земля под птицей съежилась в ужасе, собрала в кучу мохнатые ели и укрылась от птицы их густыми ветвями. Однако крылатый демон взмахнул посильнее перьями и ураганным ветром сорвал лесной ковёр…

Распахнулось окно.

Рыжий настороженно открыл глаза. Стекло задребезжало в оконной раме. За окном сгущались тучи, надвигалась гроза. Рыжий поднялся и затворил окно. Раскатисто хрустнул гром.

— Ой! — услышал Рыжий за спиной. — Вас гроза разбудила?

— Ничего страшного, — он покачал головой. — А где моя одежда?

— Сохнет. Я простирнула её… Извините, что без разрешения. Но я была уверена, что это вам не повредит, — девушка виновато опустила глаза. — А я вам халатик приготовила пока, правда, женский, но довольно просторный.

Рыжий увидел на спинке стула, где чернел револьвер в кобуре, светленький халат с красными китайскими розами.

— Что ж, придётся на время окунуться в семейное блаженство, — засмеялся Рыжий.

— Разве это плохо? — ещё гуще покраснела она.

Он отрицательно покачал головой, но почувствовал приближающийся к сердцу острый нож. Нельзя! Не вспоминать семью! Иначе гибель! Его память о семье — тюрьма. Свобода смертника граничит с преступностью, поэтому каждый из них фанатично выдирает из себя остатки совести…

— Вы не хотите пока в ванную? А я тем временем приготовлю кофе.

Она выжидающе посмотрела на него. Он неподвижно стоял на фоне окна, за которым торопливо бежали и корчились замысловатые облака и шумел дождь.

— Вам с сахаром сделать?

— Без…

Рыжий бросил на плечо женский халатик с пестрыми розами и направился в ванную комнату.

Стоя под тёплыми струями воды, впитывая в себя запах душистого мыла, пахучего пузырька с туалетной водой, Рыжий заметил, что к нему подкатывается тоска. Длинная, холодная, зубастая и безглазая. Она обхватила невидимыми пальцами его сильные плечи и принялась оглаживать его шершавыми ногтями.

— Нет! — прохрипел он и удивился внезапному своему голосу, потому что звук вырвался из него хрипло и злобно.

— Нет! Надо уходить! — эхом прошептал кто-то внутри него. Рыжий наскоро вытерся, набросил на себя халат и вышел.

Девушка стояла на кухне и разливала кофе. Он видел сзади её тонкую шею, почти прозрачную нежную кожу, влекущую, божественную, видел собранные в торопливый пучок волосы, стройное тело под лёгкой тканью домашнего платьица, босые ноги…

Она обернулась, на лице заиграла улыбка, ровненькие зубки, парочка первых морщинок в уголках рта, левая бровь приподнята, глаза

светятся.

— Кофе готов.

— Спасибо вам, — Рыжий угрюмо сел за стол, вслушиваясь в громкий стук сердца, отдававшийся где-то в горле и ушах.

— Вы знаете, — заговорила девушка, — я сейчас сбе́гаю ненадолго... У нас тут в доме есть чудненький магазинчик... Я, если вы не против, принесу ликеру или вина... Ладно?

Рыжий поднял глаза и понял, что ему очень больно во всём теле, мучительно больно. Понял, что безумно хочется поцеловать это прелестное личико. Понял, что хочет не покидать этот дом как можно дольше... Но всё же он заставил себя улыбнуться в ответ.

— Я быстренько, — моргнула она и выпорхнула из кухни.

Рыжий резко поднялся. Звякнула ложечка в кофейной чашке... Кофейная чашка, золотая паутина восточных рисунков на ней, серебряные узоры на изящной ложечке...

Он быстро прошёл в комнату, сбросил халат с розами и решительно принялся натягивать на себя свою мокрую одежду. Привычным движением он нацепил ремень с кобурой, поправил пряжку, запихнул в карманы куртки мятые бумажки денег. Тяжёлый револьвер неприятно прижал сырую рубашку к чистому телу. Да что рубашка! Или не приходилось ему сутками под дождём мокнуть? Или ветра ему бояться?

Он зашёл на кухню и опорожнил кофе. Душистое тепло разлилось по телу. Надо бы поблагодарить её, подумал Рыжий, но как? Уйти вот так, подобно жулику? И не сказать ничего?

Он извлёк из кармана истрепанную свою записную книжку, повертел её в руках и написал на засаленной обложке «Спасибо». Положив книжечку возле пустой кофейной чашки, он вздохнул и направился к входной двери. На мгновение его охватили сомнения... Он мокрый... Что о нём подумают? Подозрительно... Но тут Рыжий сообразил, что на улице дождь, и спокойно вышел за дверь.

— Пора работать. Шутник заждался, — пробормотал он и неспешно пошёл вниз по лестнице, чтобы не столкнуться в лифте с девушкой, которая удивлённо подняла бы левую бровь, увидев его.

Июнь 1989

Обманутые любовью

Часы едва уловимо рассыпали мягкое тиканье по затаившейся квартире. Луна прилепила неприятный белый глаз к холодному чёрному окну. Поздний осенний ветер царапал промерзшими ветвями голых деревьев по стеклу. Лёва окаменело сидел в кресле и смотрел на неясные световые тени, болтающиеся на узорчатых обоях. Изредка проезжающая машина ополаскивала тёмную комнату светом фар, и тогда тени оживали, приобретали форму, сначала чуть расплывчатую, затем более конкретную, оконную, квадратную, а потом резко вдоль стены, изламывались на потолке и исчезали. Комната снова тонула во мраке, и лунные пятна опять робко и безмолвно припадали к стене, слегка озаряя нарисованные ромашки. Лёва с безразличием следил за бессмысленной игрой света. Иногда его взгляд опускался на большой стол посреди комнаты. Стаканы, рюмочки, тарелки, салатницы, остатки еды… Как-то слишком глупо выглядел этот стол. Слишком бестолково. Слишком неуместно. Может быть, даже кощунственно.

Лёва почти бессильно пошевелил головой, распустил галстук и ощутил, как затекла шея. Сейчас ему показалось, что в затылок впилось несколько сотен тонких шипучих иголочек.

Он дотянулся до ближайшей рюмки, на донышке которой различалась какая-то жидкость, и поднёс её к губам. Он ничего не имел против похорон, против поминок, но какое отношение имели к нему все эти люди? Откуда они все вдруг набрались? Их не было видно при жизни матери, так зачем они появились после её смерти?

— Лёвик, ты за меня не болей, — говорила мать, — просто срок уже пришёл… Не пугайся того, что придёт… смерть… Тебе будет проще без меня…

Лёва опорожнил рюмку. Кажется, там была водка. Обожгло. Он выпустил горький воздух сквозь стиснутые губы и закрыл глаза. Отца ему не довелось увидеть ни разу, может, его вообще никто не видел и не знал. Тётки шептались, что мать была вольная характером. Но ему она говорила, что отец умер, погиб в экспедиции. Банально, но пусть так.

Разве есть разница, кто отец и где он, если его никогда не было рядом… Лёвка не копался в чужом прошлом. Ему хватало своего. Жена ушла на второй год семейной жизни к какому-то научному дарованию. Тоже банально. Но что поделать? Любовь и положение… Хорошо, что детей не успели народить. А теперь вот такое дело, опять не из весёлых. Только успел привыкнуть, что Ленки нет, только успокоился… Он ведь её — Ленку свою — любил, боготворил даже. Красивая, умная, хитрая и жестокая. Он не сказал ни слова упрёка, когда она ушла, но разве в этом дело? А теперь вот смерть. Тоже не упрекнёшь. Вошла, шагнула, впилась длинными белыми пальцами в больное лицо и раздавило его, превращая жизнь в порошок. Смерть накрыла, перечеркнула всё. Как фокусник одним движением скрывает всё от глаз чёрным полотном, так смерть отгородила вдруг от Лёвы друзей, работу и улицу. Осталась только тесная комната, гроб, сухое мёртвое лицо и тишина. Сначала тишина была страшной и пустой, но постепенно она наполнялась густой тяжестью, пока не превратилась в вязкое безволие. Появились суетившиеся люди, цветы, свечи, приглушённые голоса и всхлипывания. Ему помнились собственные руки, покрывающие неподвижное спокойное лицо белым полотном, чёрная крышка гроба с красной лентой, которая навсегда отрезала от него мать, чей-то торопливый молитвенный шёпот над ухом и глухие удары тяжёлых комьев земли.

— Лёвик…

Он открыл глаза и даже не удивился, не увидев перед собой материнское лицо. Казалось, ему виделся сон, где её не было, но она присутствовала. Неведомый ему ветер перелистывал утомлённую память.

За окном медленно проехала автомашина, вкрадчиво прошуршали по грязному асфальту мокрые шины, свет белыми квадратами пробежал по стене, хлопнула дверца, затем ещё одна. Негромкий смех и стук каблучков.

— А теперь? — спросил вдруг Лёва. — Что теперь?

Смерть казалась непреодолимой границей, за которой бесконечно раскинулась необъяснимая пустота. Пустоту требовалось чем-то заполнить, но чем? Неужели грязной посудой? Работой? Чем же? Он выставил всех за дверь, не позволил ничего мыть, трогать, не разрешил никому остаться… Он должен сам… Понять бы что именно должен? Шевелиться? Не обязательно сразу сегодня, сегодня устал. Сегодня

плевать на всё. Можно завтра начать. Но что начать? Начать мыть посуду? Оттирать залапанные стаканы? Так это не начать, это продолжить. Он их мыл каждый день, он их мыл всегда. Всё осталось, как всегда. Ничего не изменилось. Просто кто-то умер. И не один. На кладбище очередь.

Всё как всегда…

Неожиданно зазвонил телефон. Его резкий звук воткнулся в темную комнату ледяным лезвием бритвы. Лёва зачем-то поднялся и тяжело взял трубку. Там внимательно ждали.

— Алло? — сказал он.

— Это… — и пауза. Что-то знакомое было в прозвучавшем голосе. Что-то знакомое, но очень далёкое, почти исчезнувшее, не существующее. Каруселью пробежали в голове сотни женских лиц. Красивые, блёклые, нравившиеся и случайные…

— Я слушаю, — сказал он, устало прижимая трубку плечом.

— Кто это? — робко проговорил тонкий голосок. Карусель внезапно остановилась.

— Это я, Танюш, — он увидел её лицо. Слегка надутые обиженные губки. Рыжеватые волосы.

— Ты узнал? — она удивилась. Восемь лет он не слышал её голоса.

— Угу, узнал, — он тоже удивился, опустился на корточки и прислонился спиной к стене.

— Я не разбудила?

— Нет, — он представил себя в школьном коридоре рядом с ней. Вокруг пыльно клубится солнечный свет, безумствуют младшие классы, швыряют портфели и учебники. А она стоит, смущенно скрестив руки за спиной и опустив голову. Ангел в школьной форме. — Откуда ты взялась? Я тебя не слышал семь лет.

— Восемь…

— Даже так, — он ощутил сжавшийся в груди комок. — Целых восемь… У тебя такая память…

— Ты извини, что я звоню, — трубка заторопилась, — я ведь без повода. Я просто так… Хотела голос услышать… Жена будет ругаться?

— Лена ушла от меня, Танюш, — он прижал к себе трубку, будто хотел удержать способную ускользнуть в любой миг родившуюся надежду. — Любовь у неё случилась.

— Да?

— Угу. А ты откуда?

— Из автомата. Возле булочной. Знаешь такой автомат?

Лёва замолчал, даже затаился, боясь спугнуть её. Автомат этот он знал хорошо, но поверить в то, что Таня так близко, он не мог. Булочная находилась прямо напротив дома, в двадцати шагах.

— Алло? — донеслось из трубки.

— Танька, миленькая, подожди. Не уходи никуда. Я сейчас…

Лёва сорвался с места и бросился на улицу. Каждая ступенька вниз возвращала его в школу, в счастливое, почти беззаботное детство и солнечную влюблённость. Каждый шаг приближал к потерянному детскому счастью. Сердце барабанило так сильно, что в глазах образовались мигающие золотые круги… Рыжеволосая школьница медленно надела клетчатое пальто и повернулась в дверях. Натужно скрипнула пружина, вспыхнуло солнце, попав на стекло…

Он выскочил из подъезда в холодный чёрный воздух.

— Танька! — он вдруг ощутил, что выбежал босиком. Наплевать! Трижды наплевать! Он побежал к булочной, шумно разгребая жёсткие ветви кустарника.

— Танька! — он никогда так не кричал, даже в школе, когда они расстались. Но крик этот, имя её, звонкое и больное до слез, ускользающее и убивающее своим исчезновением, имя её звучало в нем всегда. Почему он не закричал так в школьном коридоре? — Танька!

Пальто оказалось другим. Под жёлтым фонарём оно смотрелось фиолетовым, но днём, наверное, оно было синим. Синим, а не в коричневую клетку. Однако волосы те же. И глаза.

Лёва замер в двух шагах, тяжело дыша. Пар изо рта мешал ему смотреть.

— Надо же, — выдавил он.

— Ты что? — она увидела его босые ноги. — Ты рехнулся что ли, Лёвка?

Она бросилась к нему и хотела сказать что-то ещё, но он сгрёб её обеими руками и, прижав её голову к себе, уткнулся в пахучую копну волос. На мгновение у него возник странный вопрос: почему она не дала ему губы свои? Почему не встретила поцелуем? Но вопрос растаял в осенней тьме, как их школьная любовь. Любовь без единого поцелуя…

Когда они вошли в квартиру, он споткнулся о свои ботинки.

— Надо же… Хорошо, что ключи в кармане лежали, — улыбнулся он,

не выпуская её руки, а она не отнимала её, как послушный ребенок. — У меня тут погром. Извини... — он махнул свободной рукой в сторону заваленного посудой и объедками стола.

— Гулял, что ли? — Таня игриво улыбнулась.

— Ну... — он неопределённо повёл головой.

— Я не помешала?

— Нет! Нет, что ты, — он поспешно прижал к себе обе её руки, будто она уже уходила. Снова возникла перед ним стеклянная школьная дверь и школьница в клетчатом пальто.- Ты совершенно не изменилась. Совсем такая же.

— Я могу снять пальто?

— Прости, я забылся, — он помог ей.

Они прошли в комнату, он зажёг свет. Заметив, что галстук у него висит безвольным чёрным червяком, Лёва сорвал его и швырнул куда-то в угол.

— Ну? — Таня огляделась. — Показывай, как живёшь.

— Ты откуда узнала, что я женат... был? — спросил он.

— Слухи. Ты же всеобщий любимчик был в школе.

— Ясно. А тут как оказалась?

— Случайно, — она повернулась к нему. Улыбка исчезла с лица. В глазах появилась грусть. — Случайно. У меня подруга рядом живёт. Шла от неё и увидела свет в окне. Я же помню твои окна.

— У меня не горел свет, — он протянул к ней руку и тронул большим пальцем её губы. — Я только что включил его.

Она какое-то время стояла молча, даже не замечая его прикосновения.

— Как же? Четвёртый этаж. Второй подъезд, — она удивленно вскинула брови.

— Пятый этаж, — поправил он и положил руку ей на плечо. Его начинало знобить.

— Как пятый? Разве пятый? — она опустила глаза и долго хмурилась, беззвучно шевеля иногда губами. Лёва внимательно разглядывал её лицо, пытаясь уловить новые черты. Может, в углу рта более жёстко кожа собирается? Может быть, между бровей морщинка появилась? Но ведь это так мало. Она всё та же школьница.

Таня медленно села на стул, непонимающе оглянулась.

— Не может быть. Получается, что я столько лет плакала под чужими

окнами? И тень на занавеске была чужой? — её глаза остановились на его лице. — Разве это возможно? Я ошибалась?

Он сел рядом, потирая ногу о ногу. Озноб проникал во всё тело.

— Хочешь выпить? Тут ещё море всего осталось…

Они выпили по стаканчику вина. Потом ещё. Лёву продолжало лихорадить. Наверное, это не от холода, а нервное, решил он.

— Неужели ты снова уйдёшь? — спросил вдруг он.

— Я? Уйду? — Она уже успокоилась. Изучив его лицо, Таня пожала плечами. — Не знаю.

— А почему мы с тобой поругались в школе?

— Разве мы поругались? — Таня положила руки на колени и отрицательно покачала головой. — Нет. Я не помню такого.

— Как же не помнишь? Ты ещё сказала, что мы не пара…

— И что? Мы не ругались. Видимо, разговор о чём-то был, спорили. Ты ведь постоянно спорил… Может, я и сказала что-то.

— Сказала и ушла, — ухмыльнулся он.

— А ты не пошёл за мной… Я выпью ещё? Проверка на прочность оказалась не очень удачной… Мне хочется напиться, если ты позволишь…

Лёва проследил за её тонкой рукой, как она потянулась к рюмке, как поднесла её к полураскрытому рту. И ощутил страх. Страх, что всё кончится. Этого страха он не почувствовал, когда врачи покинули квартиру и оставили его рядом с мёртвым телом. А теперь… Сейчас Таня выпьет, поговорит с ним и уйдёт, после чего наступит непоправимая пустота. Пропадёт «вчера». Пропадёт «сегодня». Пропадёт вся прошлая жизнь. Останется лишь завтра, которое ему абсолютно не нужно.

— Ты один? Никого не ждёшь? — она осторожно поставила рюмку на стол.

Он совершенно один и никого не ждет, потому что ждать некого.

— Помочь тебе убраться здесь? — спросила она.

— Я сам. Завтра. Сегодня не хочу.

Они неловко замолчали. Тихо тикали часы. Отсчитывались минуты. Очень важные минуты.

— Танька, — он напрягся, готовый получить удар, — а ты не можешь остаться у меня?

Удара в ответ не последовало, но Лёва сидел в напряжении. Таня молча поднялась и подошла к небольшой картине на стене. Песок, вода,

белый лебедь. Не притрагиваясь к картине, Таня провёла пальцем вдоль лебединой шеи и вздохнула.

— Хорошо нарисовано, — произнесла она тихо. — Красивая птица.

Лёва ждал. Он вдруг ясно понял, что не сможет сегодня остаться один в квартире, не сможет видёть груду тарелок и хлебных огрызков, не сможет лежать один в холодной кровати, не сможет выключить свет и провалиться в молчаливую тьму.

— Я столько лет молилась, чтобы тебя бросила жена, — Таня повернулась к нему и закусила губу. — И вот ты один. Я желала тебе несчастья, хотя очень не хотела, чтобы пожелание моё сбылось. — Она подняла лицо к потолку, и в карих глазах блеснули слезы. — А ведь я не хотела тебе зла.

Она приблизилась к нему и неумело погладила его по голове. Он сглотнул слюну и встал.

— Я просто хотела, чтобы я стала тебе нужна. Пусть даже это выглядело сказкой.

Её голова медленно, очень медленно, почти незаметно стала опускаться и легла ему на грудь. Лёва даже не почувствовал, как она прикоснулась к нему.

— И вот, боюсь даже думать об этом, — она перешла на шепот, — сказка моя становится явью.

— Сказка, — прошептал он в ответ. — Это только сказка. Это не может быть правдой. Слишком хорошо.

Они стояли неподвижно. Без объятий. Без поцелуев. Два осенних листка, оторванных от родного дерева и случайно сведенных вместе порывом ветра.

— Если бы ты знал… — Таня подняла голову.

— Если бы ты… — он прикрыл ей рот ладонью. — Если бы ты знала, как мне нужна такая сказка. — Лёва вздрогнул и неожиданно увидел свою комнату, люстру под потолком, посуду. — А где тебе стелить?

Таня странно хмыкнула, издала гортанный звук, родившийся глубоко в груди, и коротко засмеялась.

— А где и тебе, — она вдруг смутилась, отвела глаза, её вызывающая ухмылка, возникшая на секунду, мгновенно растаяла. Перед Лёвой стояла виноватая школьница, испуганная своим собственным неожиданно-смелым словом. Всё ещё школьница. Пока ещё.

А когда погас свет, Лёва улегся в кровать, и комната заполнилась

тёмно-синей густотой и тесной прохладой. Луна по-прежнему пялилась белым глазом в окно, но уже из другого угла, Лёва разглядел в белизне её непонятные узоры и в который раз за вечер ощутил холод и пустоту. Где Таня? Почему так долго? Он прислушался к шуму воды в ванной. Хорошо, подумал он, что он успел снять с зеркала чёрную тряпку. Не забыть бы утром и в коридоре снять. Он сильно потёр себя ладонями по замёрзшим плечам.

— В этой комнате спрятался сегодня смысл жизни, — пробормотал Лева. — Или обман...

В колыхании лунных пятен проскользнула Таня. Голая и почти невидимая. Леву поразило то, что его школьница была женщиной. Красивой женщиной. Спокойной. Взрослой. Сколько ей лет? Она же совсем девочка! Всего двадцать шесть. Как и ему... Дети. Взрослые дети. Или молодые взрослые? Или просто одинокие. Без возраста. Одиночество плюёт на возраст. Плевать на возраст! Где Таня?

Она лежала рядом. Лежала тихо, как мышка. Странно, что в школе у нее не было прозвища. У всех бывает прозвище. У него было целых два. А у неё ни одного. Она всегда была отдельна, хоть и со всеми. Всегда особенна, хоть ничем и не выделялась. И всегда рыжеволосая. Всегда слегка как бы обиженная.

Школьная любовь завертела их в хрустальном водовороте, обожгла, оглушила. Их поженили в тесном кругу друзей, но это была шутка, в которой не присутствовал даже свадебный поцелуй. Просто обвенчались «раба божья»... Таких свадеб в школе случалось великое множество. Всегда с поздравлениями, поцелуями. А у них как-то особенно произошло, смущенно. Они оказались нецелованными супругами... «Раба божья и раб божий». Похвастать в любви им было нечем. Школа ушла в прошлое, а в памяти остались только влюблённые глаза.

И вот теперь...

Теперь Танюша лежала тихо-тихо, боясь шевельнуться, боясь громко вздохнуть.

— Я... боюсь тебя, — послышался его голос. — Боюсь сделать что-нибудь не так.

— Я тоже.

Он поднялся на локтях, придвинулся к ней и в темноте разглядел её лицо. Бесконечные глаза, переполненные слезами и мольбой. Влажные

губы. Тонкие напряжённые ноздри.

И мир вдруг сместился. Превратился в глубокий синий пласт океана. Волна боли, страдания и прощания захлестнула маленькую квартиру на пятом этаже. Слёзы обожгли кожу, потому что всё происходившее было невозможно… Постель спуталась. Луна спряталась в облака, чтобы не смущать взором своим двух маленьких людей. В тот же миг белоснежно — яркая молния распорола тяжело дышащее небо. Хлынул дождь, шумно ударяя сильными каплями по стёклам.

Утром неожиданно выглянуло солнце. Яркое, но не греющее. Оно поплясало на мокром стекле и торопливо, будто устыдившись своей неуместности, спряталось за ползущие тучи.

Лёва стоял босиком на кухне и смотрел на кипящий чайник. За его спиной, в комнате, скрипнула кровать — Таня, наверное, собиралась подняться. Он заварил чай прямо в чашке и плеснул немного молока. Заклубились белые бурунчики. Привычным движением Лёва пригладил всклокоченные волосы и подтянул многолетние трусы, давно потерявшие форму и цвет, и при этом попал пальцем в дырку возле самой резинки.

— Чёрт, в таких трусах перед женщиной! — буркнул он и взял чашку.

Таня сидела на подушке, едва прикрытая одеялом. Губы слегка надуты. Такое привычное выражение, такое школьное, детское. Бука-капризуля. Кто бы мог подумать, что она уже не школьница? И кому бы пришло в голову, что она когда-то могла быть школьницей? Просто женщина. Настоящая женщина. И ничего нет в ней от Танюши с комсомольским значком на отвороте клетчатого пальто. А ночью она пыталась хорохориться, изображая знающую и опытную девицу, правда, получалось у неё это не очень складно. Школьница — теоретик. Но разве мог он подумать?..

Вылезая из постели, он краем глаза заметил на простыне маленькое пятнышко крови. У него перехватило дыхание. Она могла быть неопытной в двадцать шесть лет, такое иногда случается. Но она… Лёва сел рядом и закинул ногу за ногу, чтобы как-нибудь скрыть безобразие своих состарившихся трусов. Незаметным движением он подвинул одеяло и закрыл пятнышко на простыне. Зачем Тане знать, что он догадался?

— Пей, — сказал Лёва и протянул чашку.

— Спасибо. Мне уже пора собираться, — она поёжилась. — Сейчас

выпью и пойду.

Лёва молчал. За его спиной тянулся длинный стол с бутылками и тарелками. Похороны. Внезапное появление детской любви. Или не детской теперь? Зачем? Чтобы сказку сделать былью? Но сказка прекрасна именно тем, что сказочна, она не может иметь отношения к реальности. Теперь же будет у Тани в сказке грязная посуда, дырка на мужских трусах. И самое главное — бессмысленное восьмилетнее ожидание очень банальной вещи, может быть, даже очень болезненной для неё.

Лёва встал и, прихватив брюки, вышел в коридор. Проходя мимо зеркала, он сдёрнул с него чёрную тряпку. Не нужно, чтобы Таня знала. Пусть лучше у него была простая гулянка, пусть к рваным трусам прибавится ещё пьяная оргия. Пусть. Теперь уже нет сказки. Он вернулся в комнату. Таня торопливо одевалась. Опаздывала. Что-то говорила ему. А он даже не видел её лица. Только тёмный силуэт на фоне сонного утреннего окна. Солнце совсем скрылось.

— Вот и всё, — сказала она, надев синее пальто.

Она подошла к нему и спокойно поцеловала в губы.

— Вот и всё, — повторила она.

Он промолчал, потому что добавить было нечего.

— Я позвоню, — послышался её негромкий голос уже из-за двери, а когда дверь почти закрылась, Таня добавила, — может быть. Тут же щёлкнул замок. В подъезде раздались её быстрые шаги. Гулко хлопнула парадная дверь. Лёва стоял неподвижно и слушал. Едва уловимо тикали часы, оставляя время позади. На улице неохотно заводился автомобиль.

Школьница ушла навсегда, окружив Лёву трауром тесной комнаты.

14 октября 1989

Да, конечно!

Он — игрок. Он всегда был игроком и навсегда им останется, потому что мелкие и крупные проигрыши обращались для него только в крупные выигрыши.

Он играл во всё. Или правильнее было бы сказать, что всё вокруг становились предметами его игры. Более того, в отношениях с людьми важнее было играть в отношения с отношениями, чем с самими людьми.

Он играл с вещами, вызывая их на дуэль: кто кого — вы меня доконаете, закабалите, опутаете своей властью, или же я вас использую по своей надобности и вышвырну в мусорный бак… А то иногда подарит что-то женщине и вот крутит-вертит, так всё состряпает, что не поймёшь никогда, что женщине важнее, сама ли вещь, он ли, память ли о нем в подарке или вообще ничто из этого, а её игра с ним в отношениях с ним… А отношения!… Ох, какие отношения!…

Любовь, есть такое чувство, и как оно порой накатывает на человека, оплетает его, заглатывает, душит, заставляет говорить глупости и давать идиотские рабские обещания, оставляя человека в глубокой уверенности, что он говорит на полном серьезе и вполне сознательно. Чего только она не делает с людьми! А вот с ним, если заглянуть в корень, с ним ни хрена не делает и сделать не может. Одну из своих подруг он постоянно отправлял куда-то отдыхать и ещё в командировки. Специально отправлял, чтобы ощутить нехватку в ней, чтобы соскучиться. Она уезжает, он переживает, ждет. Обычно отправлял с ней кого-нибудь из своих добрых друзей, которые могли бы ей понравиться. Это тоже часть игры, тоже особенный ход: ведь его приятели могли её увлечь, отбить у него, и этот факт делал её отъезд весьма реальной возможностью её потерять. А иначе он не чувствовал бы разлуки, иначе не ощутить было радость возвращения.

— Гипертрофированная философия влюблённого мира, — смеялся он над этой игрой. — Мы любим то, что можем потерять.

Приятелей своих он постоянно вынуждал поступать таким образом, пристраивал их в такие ситуации, где они были вынуждены по стечению

обстоятельств подводить его. Он играл в обиженного, затем прощал их с удивлявшей всех лёгкостью. Он строил комбинации жизни с таким мастерством, что сам ни разу в жизни не заподозрил себя в том, что именно он — хозяин игры. Он не подозревал, что играет. Он вообще не догадывался, что есть такая игра, но врожденное чувство игрока заставляло его как бы случайно подходить к краю обрыва и выделывать там кренделя.

— Всё ерунда. Не в этом главное, — смеялся он.

Но в чём главное, он не догадывался. Для него главного не существовало. Для других оно принимало размытые формы смысла жизни, какие-то поставленные цели, высокие идеалы, а для него оно проявилось в ощущениях и их остроте. Он загребал их со всех сторон, разбивая губы, зарабатывая синяки и выговоры на работе, ласки в объятиях женщин, проклятия и сердечные благодарности.

— Смысл! Смысл! О чем вы твердите, ребята? Какой может быть смысл, если вы поделили мир на хорошее и плохое, если вы приняли что-то и тем самым начисто отвергли противоположное? Но противоположное-то всё равно есть и живёт себе! Какой уж тут смысл, раз вы лишили себя половины жизни? — кричал он, раскапывая древний сундук в полуразвалившемся лесном домике. Чей дом, давно ли он заброшен в глуши, кто зарыл там сундук со старыми монетами? — таких вопросов он не задавал. Важно было захлестнувшее чувство богатства, когда петли поддались настойчивым рукам искателя сокровищ! Важно чувство! Он его испытал, оценил, взвесил, насладился… А через два дня, изрядно измучившись, допёр сундук на спине до уступа и спихнул его вниз в пенящуюся горную реку. Важно чувство!

— Богатым побыл, теперь нужно вкусить и потерю богатства, — он вытер о рубашку потные руки и сплюнул налипшую на губах пыль. Богатство разлетелось на куски, щепками взметнулось над скользкими камнями, вспыхнуло на солнце вертящимися монетками и навсегда скрылось в бурном потоке.

Ну кто ещё, кроме этого во всём удачливого и счастливого человека, мог пожелать себе неудачу? Кто, кроме него, ежедневно ругаемого и осуждаемого за проделки, лепил свою радость из совершенно неподходящих материалов? Кто ещё мог испытывать счастье от того, что ничего нет?

— Какое это удивительное и прекрасное состояние, когда от чего-то отказываешься! Ты не качай головой, глупый самоед, ты попробуй! — он тормошил товарища за плечо. — Ну я понимаю, что тебе хочется эту бабёнку. Она-то не даётся? А ты откажись! Просто откажись, скажи сам себе: «Нет!», освободи себя от ненужного желания. Желание хорошо, когда оно воплотимо, только тогда оно может насытить. В противном случае оно только иссушит. Пожелай то, что возможно! Это ведь так просто!

— Как же ты живёшь, если ты ничего не хочешь?

— Ты спятил! Я всего хочу, я до всего жадный, но это можно только почувствовать, как ты сам понимаешь. Ведь я тебе кое-что сказал, а ты не допёр до сказанного! — он весело засмеялся.

— Ты просто несерьёзно смотришь на жизнь!

— Может быть…

— Ты играешь в детскую игру, забавляешься, балагуришь. Ты стоишь где-то в стороне от жизни и смотришь на неё, а сам не в жизни! — товарищ закурил.

— Может быть… Вам всем виднее, вы же философы… Может быть…

— Что может быть?

— Всё может быть! — он засмеялся. — Живём ведь!

И он раскручивал рулетку жизни с новой силой, ловко притормаживал вращающееся колесо при необходимости, чтобы нервно прыгающий шарик остановился именно на ему нужном номере.

— Вот ты всё вертишься, хватаешь всё подряд, хочешь распробовать схваченное, саму жизнь обыграть пытаешься, — заметил учительским голосом товарищ. — Но ведь придёт конец, друг мой. Придёт, не улыбайся так иронично. И испытать ты его сможешь только раз, один раз. Тут-то ты и проиграешь.

— Почему же, глупый ты самоед? — удивился он.

— Потому что ты всем успеваешь и огорчиться и порадоваться. А смерть испытать можно только один раз, иначе она не смерть, — скривился товарищ.

— Я знаю. Поэтому я обязательно сначала расстроюсь, огорчусь, посмотрю, как это так… Всплакну, может быть. А потом обрадуюсь ей, ведь всё надо заканчивать на хорошей ноте, правда? — он улыбнулся.

— Но это невозможно! Ты умрёшь один раз, как и всё! Поэтому ты успеешь только расстроиться смертью, дружище, — довольно заметил

друг.

— Может быть... — он потянулся и хрустнул пальцами. — Но ведь ты прекрасно знаешь, что я не живу, а лишь наблюдаю за жизнью со стороны. Так что я смогу и то, что не сможет ни один смертный. Я не только огорчусь, но и очень-очень порадуюсь собственной кончине, потому что я объективный человек и не могу позволить себе однобокости...

21 сентября 1987

Мгновение

Пропасть оказалась неожиданно глубокой, почти бездонной. Где-то очень далеко внизу маячили едва различимые в вечернем свете крыши домов.

Когда я прыгнул, я не ожидал такого вида перед собой. Я не думал, что воздух окажется столь дымным и голубым. И тело моё впервые за всю жизнь ощутилось таким тяжёлым и таким стремительным. Оно проявило вдруг поразительную прыть, оторвалось от меня, обогнало и помчалось вниз. Я же остался плавать в тихом ветерке, с удивлением разглядывая далёкий пейзаж подо мной и торопливо удаляющееся моё тело. Оно становилось всё меньше и меньше и, как мне казалось, тяжелей и тяжелей.

Позади меня с отвесной чёрной стены вспорхнула огромная тёмная птица и прошелестела широкими крыльями. Она нырнула вниз и зависла подо мной, плавно сдвигаясь куда-то вбок.

Воздух сгущался и темнел, и в далёкой долине начали дрожать огоньки.

Мне стало удивительно просторно. Но всё это длилось лишь одно мгновение, после которого я сорвался вслед за своим телом.

Луна

Луна потерялась — скрылась в тучах, и рыцарь остановился, не зная, куда путь держать, где Замок Смерти и Врата Жизни… Синий воздух густой слюной покрыл чей-то брошенный в траву меч, выписывая на нем пузырчатые узоры…

Кладбище королев. Кладбище королей. Раскинулись в темноте распятия могил. Мыши летучие мокрыми пятнами по воздуху черному и холодному скользят.

Поднял рыцарь забрало и увидел, как едва различимо качается вперёди многоногое Завтра, заглатывая жирным красным ртом умирающее Сегодня.

И вновь выкатилась белая луна.

Поэзия зверей

Семь душных дней назад здесь бились рыцари, круша все на своем пути, сметая тяжестью мечей и палиц тех, кого называли врагами. Пот и кровь брызгали при каждом ударе. Крики рвались наружу из перекошенных ртов. А когда сражённые тела рушились на землю, проломленные латы нехотя выпускали из себя освободившиеся души.

Семь душных дней назад пал последний рыцарь. Он был весь в чёрном, с плащом за плечами и пышным гребнем на шлеме. Тяжело дыша он оглянулся… Многие погибли давно, и запах гниющего мяса уже доносился из-под забрызганных кровью железных одежд. Некоторые только что получили смертельные раны и упали, пронзенные острыми лезвиями клинков. А этот в чёрном всё ещё держался на ногах. Но он знал, что кровь бежит у него по груди и спине, что горло проткнуто толстой стрелой, хоть и не видно стрелы, потому что сломал он её. И рыцарь медленно переступал через наваленные трупы, грузно наступая на топоры и копья, мечи и палицы, арбалеты и щиты. Лязгал холодный металл под ногами, хрустели стрелы, хлюпала кровь.

Но вот он упал. Устало опустился на колени, голову в огромном шлеме склонил и, не показывая из-под чёрного забрала лица своего, молча рухнул поверх других рыцарей.

После этого внезапно пошёл дождь, смывая кровь с доспехов и оружия, унося грязь и духоту, которая стояла над полем семь долгих дней.

Кабак

Мутные лампочки. Липкие точки надоедливых мух. Потемневшие от времени стены с остатками содранных объявлений и плакатов. И посреди этого сидит человек. Посетитель. Посетитель разбредшегося гулящего мира.

Он почти спит. Правый глаз слипся, сдавленный большим мозолистым кулаком, на который оперся человек. Левый глаз ещё приоткрыт, из него сочится слеза. Она неловко ползёт по морщинистой коже и достигает, наконец, небритой складки возле рта, где крупные мужские губы слиплись в самом уголке от недавно запёкшейся крови. Иногда рот нервно приоткрывается, выпускает сиплый утомлённый воздух, и кончик языка легонько ощупывает темнеющую болячку.

Пустая бутылка прозрачно заглатывает тусклый кабацкий свет, стараясь наполнить свое пустое стеклянное чрево. И случайная муха дрожит на горлышке бутылки, увязнув в липкой слюне.

Засыпает кабак.

Засыпает последний посетитель, но никто почему-то не гонит его из мутного помещения, где пахнет дымом и пролившимся вином. Никто не выгоняет человека в чёрную пасть ночной улицы.

18.07.89

Пейзаж

Море. Жёлтый пляж безлюдно растянулся песочным телом и неподвижно прислушивается к шуму воды. Море лениво скручивает волны, обрамляя их кружевной пеной, и видно под ними, как в солнечных лучах волны превращаются в жидкий изумруд.

Синее густое небо томно вздыхает и покачивается над зелёным морем. Жара.

Из-за жёлтых дюн появилась смуглая женская фигурка, совершенно раздетая, но с большой красной сумкой на плече. Покачивая мягко бёдрами, фигурка приблизилась к воде и остановилась неподвижно. Некоторое время море покорно, по-собачьи лизало ей стройные загорелые ноги.

Красная сумка вдруг соскочила с плеча, тяжело ударилась о песок, и из неё вдруг вылез заспанный львёнок с молоденькой щетиной на морде. Он устроился возле самых ног хозяйки и принялся с любопытством разглядывать пенящиеся кружева волн.

Женщина томно потянулась, подняла руки к небу, затем медленно опустила их, нежно погладив при этом груди и живот, присела на корточки и улыбнулась, показав белоснежные жемчужины зубов.

Она протянула руки вперёд и ловко ухватила очередную набегавшую волну. Вода послушно замерла в её длинных пальцах. Тогда женщина быстро потянула на себя глубоко дышащее полотно моря и стала скручивать его, словно покрывало.

Под ним оказался песок. Пустыня.

Море свернулось в небольшой рулон, и ловкие женские руки уложили его в красную сумку, из которой недавно выбрался львенок.

— Кис-кис, — сказала женщина, повесила сумку на плечо и неторопливо зашагала по жёлтой пустыне, заманчиво покачивая своим стройным смуглым телом.

18 июля 1989

Счастливчик

...А один из них остановился перед зеркалом и сказал своему отражению, когда все остальные прошли:

— А ведь от меня начинает пахнуть зверем, — он ткнул пальцем в зеркало, начертил на нём что-то плохо различимое и шикнул губами. — Я чувствую этот запах, но не пойму, хорошо это или плохо. Это я так высоко поднялся, что различил свое низменное? Или наоборот я провалился в самые глубины своего существа и поэтому ощутил этот дух?

— Зеркало, зеркало, — заговорило вдруг его отражение, пристально глядя на него. — Скажи мне всю правду! Что я увижу, если выверну тебя наизнанку?

Он ощутил странный холодок. Нет, это был не страх. Скорее, я бы сказал, что это было ожидание прыжка с огромной высоты. Он увидел, как отражение протянуло руки, а его собственные руки при этом неловко только поднялись, словно желая схватиться за невидимую опору, но не схватились. Зеркало искривилось, дотянулось до него, коснулось лица, превращаясь в холодные пухлые губы, потом свернулось в огромный глаз с зеркальным зрачком...

И внезапно всё на самом деле вывернулось, и он увидел собственную изнаночную сторону. До чего это было удивительно!

И до чего я обзавидовался тому парню...

Сентябрь 1987

Осень

«Унылая пора...»

Каждый год она дышит туманом и делает окна запотелыми стекляшками, в которых не различить даже рваные газеты на просторных мокрых газонах. Мутное молочное болото. Только слышится иногда тарахтенье машин на пустынных улицах, да листья шуршат под ногами редких прохожих. Прислонишься к окну, а за ним — ничего, бесцветная бездна пространства и времени. Одно лишь холодное прикосновение к наморщенному лбу.

«Унылая пора...»

Или это я сам? Сам я унылый, может, стал? Ведь всегда я в лицах людей себя только и вижу, мое собственное настроение, своей душой отражаюсь в их глазах... Унылая душа моя старыми ранами стонет, новые и новые сгребает в охапку, как осенние листья, и упивается их умирающей красой. Какое удивительное чувство — печаль. Сколь щемяще оно и вместе с тем мучительно приятно.

Подойдя к зеркалу, упираюсь в него головой и смотрю на себя из-под нахмуренных бровей. А в зеркале ничего нет. Бездна пустых глаз моих, пустота. Словно в туманное осеннее окно гляжу.

«Унылая пора...»

21 сентября 1987

Зарисовка

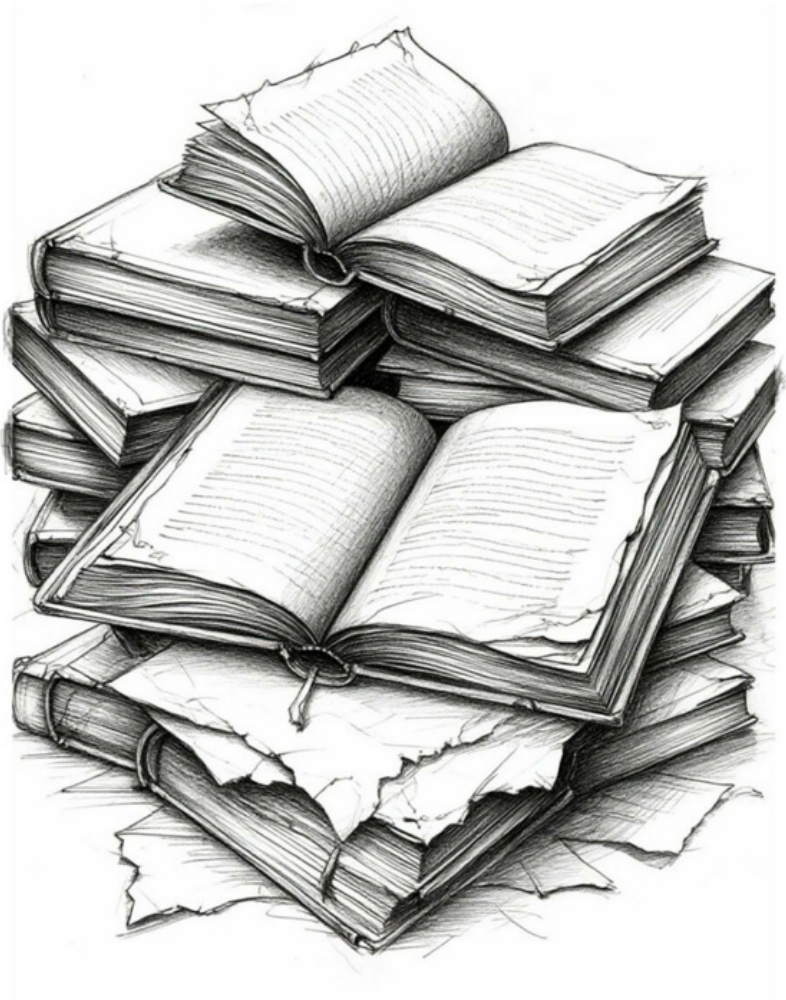
И вот случилось так, что я умер. Я видел это отчетливо, во всех подробностях, изучая каждую похолодевшую морщинку собственного лица.

Я умер, и мягко качающаяся карета белого цвета подкатила к моему изголовью. Промелькнула незаметная тень и красивою прозрачною рукою распахнула беззвучно изящную дверцу. Кто-то позвал меня изнутри, и я вошёл. В последний раз перед дорогой я обернулся и увидел туловище мое в накрахмаленной рубахе с хрустящими кружевами и расплывшимся пятном крови на груди. Деревья шумно качали тяжелыми желтеющими прическами, и несколько листьев, вздрагивая, переползали по влажной траве, повинуясь властному дыханию ветра.

Тонкая рука захлопнула за мной дверцу, и карета мягко тронулась. В окошке проплыли сгорбившиеся тела секундантов в чёрных плащах и высокое, прямое, холодное тело угрюмого победителя со шпагой в руках. Они покидали место дуэли, оставив умершего меня на измятой осенней траве.

А белая красивая карета уносила меня куда-то...

20 марта 1989



Опубликованные книги Андрея Ветра

«В поисках своего дома»
«Тропа»
«История Скалистых Гор»
«Под сводами высокой лжи»
«Время крови»
«Волки и волчицы»
«Святой Грааль»
«Белый Дух»
«Между тишиной и шумом»
«Голос бездны»
«Кино без правил»
«Сочинительство сказок»
«Родительский дом»
«Убить Стивена Кинга»
«Сочинения Фелимона Кучера»
«Организм»
«Случай в Кропоткинском переулке»
«Я, оперуполномоченный»
«Во власти мракобесия»
«Голоса»
«Гений атаки»
«Воспевающие битву»
«Следственные материалы. Резня возле форта Фил Кирни»
«Сны о Неистовой Лошади»